



Метели, декабрь

И. МЕЛЕЖ



ИВАН
МЕЛЕЖ

Метели, декабрь

Annotation

Роман И. Мележа «Метели, декабрь» — третья часть цикла «Полесская хроника». Первые два романа «Люди на болоте» и «Дыхание грозы» были удостоены Ленинской премии. Публикуемый роман остался незавершенным, но сохранились черновые наброски, отдельные главы, которые также вошли в данную книгу. В основе содержания романа — великая эпопея коллективизации. Автор сосредоточивает внимание на воссоздании мыслей, настроений, психологических состояний участников этих важнейших событий.

- [Мележ Иван Павлович](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Наброски, планы, записи неоконченных глав романа](#)
 - [Послесловие](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
-

Мележ Иван Павлович
МЕТЕЛИ, ДЕКАБРЬ

Часть первая

Глава первая

1

Снег попорошил немного и перестал. Ветер за день повымел белую муку, позагонял ее в щели, в закутки. Яркие белые полосы и заплатки только кое-где пестрили хмурую дворов и огородов.

А холод не только не отступил, а как бы даже усилился. И днями, и ночами все стыло на ровном стеклянном холодище. И днями, и ночами, не затихая, метался над землей сухой студеной ветер, ползли низкие серые тучи. Под неласковым небом, вылизанные ветром, тускло лоснились заледенелые лужи, болотные разливы, что подступали к голым зарослям. И неделю, и вторую держались холода да студеные ветры: на самом стыке осени и зимы будто сразу остановилось извечное движение природы; осень отошла, а зима не взялась еще как следует. Все жило, казалось, ожиданием снега. Ожидали поределье черные ольшаники на болоте, гладкая блестящая равнина разливов и луж, горбатые, кривые ряды изб и гумен, твердые, в окаменелых комьях и колеях дороги, бесцветная, неживая трава...

Задолго до позднего в эти дни рассвета вставала Ганна, ощупью выбиралась в узкую каморку — кухню, впотымах нащупывала спички, лампу. Чистила картошку, топила печь, растапливала две грубки^[1] в коридоре, которые должны были обогревать классы и комнату второй учительницы, начинала готовить завтрак. В хлопотах своих никогда не упускала ту минуту, когда на звонком заледенелом дворе раздавались первые голоса, потрескивало от первых шагов крыльцо. Под топот и гомон, что все усиливались, множились, веселее было управляться со своими делами, полнила беспричинная радость. Она уже без удивления и неловкости ходила по коридору среди толкотни детей, которым до самого звонка не сиделось в классе, да и дети уже привыкли к ней. Она теперь многих знала, из какого класса, как зовут, какой характером, с кем дружит. Почти со всеми обходилась как знакомая.

К тому времени, когда дети сходились все, грубки были натоплены, в классах уже тепло, уютно, завтрак для Параски приготовлен. Звенел звонок, и Параска с журналом, книжками и тетрадками, важная, строгая, шла в класс, а для Ганны наступал долгий час тишины, когда можно никуда не спешить: она чувствовала себя странно, непривычно свободной от

неусыпных обязанностей. Сколько времени надо было быстрой Ганне, чтобы, убрать в комнате, приготовить обед; она часто не знала, что бы еще сделать, куда деть себя. В таком настроении Ганна любила прислушиваться к голосам в классах, радовалась шумливому водовороту переменок, не понимала Галину Ивановну, которая морщилась от головной боли и кричала на детей, чтоб не шумели.

Ганна была довольна, что школа жила с утра до позднего вечера. Только под вечер часа два-три молчали пустые классы. Тогда вваливались парни, дядьки, тетки; втиснувшись в свитках и в кожухах за детские парты и длинные столы, раскрывали, как велела Параска, газеты и книжки, читали, отвечали ей; иногда собирались сами, на сход, говорили, кричали, иной раз до матюков, обсуждали свои артельные дела; дымили так, что в коридоре кашляли. Однажды собралась молодежь, двери закрыли на крючок из коридора — разучивали с Параской спектакль. Долговязый, нескладный парень Николай, запихнув под рубаху свернутый пиджак, изображал пузатого богатея, кулака; другой, немного шепелявый Апанас — попа. Злобный кулак с хитрым попом сговаривались, как устроить людей, чтоб они боялись идти в колхоз. Вдвоем они распускали сплетни, грозили божьей карой, и люди боялись колхоза и отказывались вступать в него, однако приходила Параска, смелая и разумная комсомолка из города, разоблачала сплетни кулака и попа, звала людей в колхоз, и люди дружно подымали руки за колхоз и пели «Интернационал»...



Параска, в красной косынке, завязанной сзади, в белой с короткими рукавами кофточке, не только с жаром говорила за комсомолку, но и показывала Николаю, Апанасу, всем другим, как надо им ходить, угрожать, испытывать страх. Пока дошли до конца пьесы, Параска устала, но была весела, подбадривала всех; закрыв тетрадь с пьесой, довольная, сказала, что будет хорошая постановка. Уже когда остались одни, подмигнув Ганне, пригрозила, что в новой пьесе и Ганне подберет роль!

Ганна с улыбкой же ответила, что ничего, наверно, у нее не выйдет! Не

способная она, Ганна, на такие штукарства.

Ганна и Параске, и всем, кто интересовался ее жизнью теперь, давала понять, что она счастлива и даже беспечна. Однако если и правда, что, как бы там ни было, ее радовала большая, такая неожиданная перемена в жизни, все же никакой беспечности она не знала.

Настороженно спрятанное от людских глаз беспокойство жило в ней, предостерегало, не давало полно, широко тешиться радостью освобождения. Как ни твердо стояла перед Евхимом, когда он добрался сюда, как ни смело, горделиво отвечала на его угрозы, обещание его — «Все равно без меня тебе не жить» — все время помнила, как предупреждение, которое обязывало быть наготове. Она нарочито посмеивалась над своей тревогой — и стены школы, и Параскино заступничество, и само новое положение, напоминала она себе, помогли ей чувствовать себя здесь все же в безопасности, — однако трезвый разум не дремал, напоминал непрерывно, что безопасность эта не очень надежная. Кто его сможет удержать, если он ворвется сюда расвирепевший, с ножом; или разве ж трудно ему подкараулить ее во дворе, на крыльце. Чуть ли не все время тянуло к окну на улицу, заставляло вслушиваться в шаги взрослых, в голоса.

С этим беспокойством жило в Ганне еще одно, ее тайное, о котором никто не только не знал, но и не мог догадаться, но к которому она все больше привыкала и которое все больше определяло, как ей быть, что делать дальше. Третий месяц в Ганне росло, набиралось сил, заявляло о себе дитя. Не сказав никому и слова о нем, Ганна, размышляя, как жить дальше, уже неизменно включала в свою жизнь и его. С ним в ее жизнь входило много неизвестного, много такого, что придавало мыслям о будущем неопределенность. Как ей одной с ним, когда и самой между небом и землей жить приходится? Тогда, конечно же, придется оставить это, пускай себе не очень надежное, а все же какое-никакое пристанище. Это ж понятно — не жить ей здесь, когда настанет пора рожать! Надо будет куда-то уйти. Куда-то деться с ребенком. Теперь, когда она и думать не может о том, чтобы вернуться в Курени...

В эти заботы неизменно вторгались горькие мысли, что вот суждено маленькому, который еще не родился, повстречаться с бедою. Появиться, быть без отца. Неизвестно, как быть. Не раз среди этих раздумий тяжело,

противоречиво вспоминала она Василя. Знала, что дитя не от Василя. От Евхима. Теперь, когда тот горячечный угар торопливых встреч, болезненной жажды счастья, лихорадочных надежд прошел, она думала трезво, что Василь, если б сошлись, стали жить вместе, пока не привык, может, недобро бы смотрел на ребенка. Злился на нее. Раньше, в том горячечном стремлении к нему, это не только не сдерживало ее, а будто не доходило до сознания; странно уверенно, легко надеялась: привыкнет скоро, согласится. Теперь, отрезвевшая, она не думала об этом с такою легкостью, знала, что не просто и не сразу примирился бы он с ребенком, но была и теперь уверена: привык бы все же. Могли бы жить хорошо, счастливо! Ребенок не помешал бы их счастью, как и его сын, если бы он взял его с собой! Потому-то и теперь, в путаных рассуждениях о сегодняшнем, о завтрашнем, не раз оживала, ныла обида за то, что он, Василь, мало любил ее, не захотел переступить через все. Не послушал ее, не согласился сразу. Вдвоем было бы все иначе.

В минуты спокойной рассудительности обида сменялась раздумьем: разве ж Василь виноват в том, что не может уйти? Можно ли винить человека, что он живет так, как умеет? Как душа велит? Что он не может иначе, что ему так тяжело менять? Что то, что одному легко, другому — так трудно, сил нет! Была пора, легко было им, свободным, само, кажется, счастье шло. Бери его, счастье, да благодари судьбу, так не взяла, дура! Потеряла из-за дурной своей головы! Навсегда потеряла! Не парень, не свободный теперь. Хозяйство сладил свое, столько силы вложил, столько горя принял. Прикипел душою, всю душу отдал. Если б и бросил все, пошел с нею, много бы там осталось. Не свободный. Не может. Своя дорога. Неохотно, принуждая себя, отступалась, отрывала его от своих надежд: нечего хвататься за то, что пропало. Надо жить тем, что дает судьба. Жить одной. Решать одной.

Думала не раз про Курени: что там говорят о ней? Стараясь разгадать, она почти слышала голоса: сочувствия, осуждения, одобрения. Среди других вспоминала настороженно мачеху, кротко, печально — отца: как он пережил это событие в незавидной доле своей дочки?

Дознались же, наверно, где она. Не могут не дознаться. Должны, видно, приехать скоро...

Они приехали на второй день после того, как заявился Евхим.

Ганна только помыла пол в Параскиной комнате, вышла с ведром грязной воды на крыльцо и увидела, как с улицы на широкий школьный двор въезжает телега. Сразу настороженно остановилась, узнала — в телегу запряжен сивый отцов конь. Она кинулась назад, ткнула ведро в угол

кухни, торопливо опустила подоткнутый подол юбки, быстро вытерла ноги и руки.

В Параскиной комнате по мокрому еще полу подошла к окну. С волнением, с беспокойством следила. Отец остановился посреди двора, неуверенно огляделся. Мачеха кивнула в сторону школы, что-то сказала, однако он, мотнув несогласно головой, слез с телеги, стал наматывать вожжи на ручку. Кинул коню сена. Мачеха тоже слезла с телеги, уставилась на школу. Ганна спохватилась, вышла на крыльцо. С крыльца ступенька за ступенькой спустилась вниз.



Мачеха обрадованно заспешила навстречу. Отец засуетился, взял с воза узел, тоже пошел, торопясь, будто боялся опоздать. Мачеха поздоровалась, поцеловала, отец от волнения только ласково, жалостливо заморгал глазами.

— Мы тут подушку да одеяло привезли, — сказала деловито мачеха. Она держалась ровно, с таким видом, будто ничего и не случилось особенного.

— Вот это добре, — спокойно ответила Ганна. Со спокойным же гостеприимством пригласила — Заходите, гостями будете!.. Дайте мне узел, тато!

— Да уж донесу, — не согласился отец.

Она первая вошла в коридор, в боковушку — кухню. В кухне заметила: мачеха, притихшая, внимательная, озирается, рассматривает все вокруг, отец стоит неловко, не шевельнется — держит в руках узел. Ганна взяла узел, вскинула на печь, чтоб не молчать, растолковала:

— Это кухня. Тут я готовлю...

Мачеха кивнула проворной головкой.

— Аге.

Подавала обоим табуретки. Отец сел осторожно, сидел напряженный, не сводил с Ганны внимательных, сочувственных глаз. В комнату вбежала веселая, с блеском в глазах Параска, мачеха сразу же востепенулась, сказала «добрый день». Встал, поклонился отец.

— Это батька с маткой приехали, — сказала Ганна.

— Проведать захотелось... — помогла мачеха.

— А-а! Я так и подумала! Как увидела, что идут, решила: не иначе как родители!.. Очень хорошо! — похвалила так, будто приехали к ней. — Родственники не должны забывать своих!

— Кто же так думает... — подхватила мачеха.

— Я и говорю, очень хорошо!.. Только что это вы сидите так? Почему это вас не просят раздеться? Не угощают почему? — Отец сказал, что ничего не надо, но Параска и слушать не хотела: — Ганночка, самовар гостям! Чаю с вареньем клубничным!.. — Прислушалась, из класса, который она оставила, доносился гомон, недовольно покачала головой. — На минуту бросить одних нельзя! — Выскочила из кухни.

Мачеха сказала, как бы не веря: хорошая какая. Ганна поддержала с восторгом: хорошая! Спихватилась, подбежала к самовару, достала из печи горячих углей, бросила в трубу. Пока крутилась у самовара, мачеха не удержалась, приоткрыла дверь в Параскину комнату, заглянула. Закрыв, сжала сухие губы, покачала головой.

— Чисто, как у панов!

Ей хотелось заглянуть и в другую комнату, Галины Ивановны, но неожиданно зазвенел звонок, и она испуганно отскочила от двери. Быстренько села на табуретку, мгновенно напустив на себя вид тихони. Тут же вошла Галина Ивановна, нелюбезно глянула на обоих, молча удалилась в свою комнату. Позже снова зашла Параска, стала спрашивать, как живется, хвалить Ганну за трудолюбие, за ум. В коридоре между тем

бушевали топот, крики, потом, было похоже, началась даже драка. Параска вскочила, кинулась туда...

После перемены, когда Галина Ивановна снова молча прошла через кухню и в коридоре стало тихо, они, раздевшись уже, осторожно наливали в блюдечки чай, прихлебывали и почти все время молчали. Мачеха пила расторопно и варенье пробовала от души и хвалила его, отец тянул чай из блюдца, не чувствуя вкуса, к варенью и не притронулся. Смотрел все жалостливыми, тревожными глазами, по глазам заметно было, что жалел, тревожился. Ганне даже успокоить его хотелось.

Напившись, вытирая еще потное, раскрасневшееся лицо, мачеха минуту сидела важная, серьезная. Как бы давая понять, что теперь пора начать о главном.

— Был уже?.. — не то спросила, не то заметила просто. Ганна поняла: про Евхима говорит.

— Был.

Мачеха сжала губы. Вздохнула.

— И к нам приходил. Грозил.

— Нехай грозит! — Ганна весело встала, закрыла банку с вареньем. — Тут тоже страшал! Да я остудила малость!

Отец не повеселел от ее слов. В лице появилось что-то даже такое, будто упрекнуть хотел.

— Ты осторожней будь, — попросил кротко. — Он поганый...

— Аге, он если пригрозил, дак что-то думает, — поучительно добавила мачеха. — Ты все-таки бойся!

— Не такой он и страшный, — рассудительно, чтоб не тревожить еще больше отца, промолвила Ганна.

— Страшный не страшный, но осторожней будь.

— Да уже ж сама не полезу на рожон.

Снова попили чаю из блюдечек и стали собираться. Уже у телеги, перед тем как расстаться, отец еще напомнил:

— Он поганый. Не отступится так... Ну, и то, береженого и бог бережет...

— Это правда, — кивнула мачеха.

Ганна не стала возражать. Отец вдруг болезненно скривился, чуть не заплакал. Но сдержался.

— Если что надо будет, передай.

— Передам.

После них было не по себе, тревожно думала про Евхима. Но вместе с тем пришло и облегчение: теперь знала, как они там после всего, что

сделала.

Под вечер того же дня заехал Миканор. Привязал коня у плетня, долго отряхивался около телеги, вытирал запыленные сапоги. На крыльце уже приостановился, осмотрел себя еще раз, одернул пиджак, из коридора громко, смело постучал. Ганна, хоть в окно видела его, спросила, кто там; а когда он браво вошел, окинув взглядом его напряженную фигуру, сказала радостно:

— О, Миканор сам! Не забывает своих куреневских!

— А чего ж забывать, — в тон ей ответил Миканор. — Это чтоб некоторые куреневские не зазнавались. Не забыли своих!..

Он сразу заметил, что Параски нет, прислушался, не слышать ли на кухне, в классах. Ганна перехватила его взгляд, с усмешечкой помогла:

— Параскевы Андреевны нет. Пошли на село. Совсем недавно.

Он будто не уловил усмешки, нарочно спокойно подошел, глянул в окно на коня.

— Ехал из Юровичей. Дай, думаю, погляжу, как живут...

— Живем ничего. Не жалуемся. — Поддела: — Если б чаще заезжали некоторые, дак, может, еще лучше б жили.

— На отчет в райком вызывали, — будто не понял ее шутки. — Как к зиме подготовились. — Миканор сел на стул около стола с тетрадками, взял одну, развернул. — Это ж сколько труда надо, чтобы научить человека уму-разуму!..

— Ну, и что там в районе? Похвалили?

— Всего было. Трохи покритиковали. Дали советы. Все как положено. — Миканор встал, сделал несколько шагов спокойно, медленно. Глянул на Ганну, что следила с усмешечкой. Будто не замечая, похвалил: — Все-таки набралась духу! Дала отставку Глушаку! Давно надо было!

— От не могла додуматься сама! А ты не подсказал!

— Сама думать должна б! Есть голова на плечах!.. — Прошелся еще немного, сказал тоном, в котором таилось нечто грозное: — Ничего. Скоро возьмемся так, что застонут Глушаки! Кончается их верх! Так что ты не бойся!.. Был, говорят, уже?

— Был...

— Не бойся!

— Спасибо за подмогу. Только я не боюсь.

— Вот и правильно!

Ганна подумала вдруг, что и ходит, и говорит он так, будто Параска видит и слушает его. И ей стало смешно. Миканор уловил иронический взгляд ее, недовольно нахмурился.

— Твой Дятлик все за ум не берется! — сказал строго, с упреком. — Плохо может кончиться!

Ганна перестала смеяться.

— А ты б помог ему. Подошел бы как надо!

— К нему подойдешь! Только заговоришь, морду отворачивает!

— Значит, говоришь так! Ты ж так говоришь, что часто и не поймешь, или ты советуешь, или ты приказываешь! Как командуешь все равно!

— Наговорился, аж во рту горько! Все время толчешь одно, а они хотя б шелохнулись!

— Так это просто — шелохнуться! Дал приказ — и сразу чтоб тащили все в коммуны! Чтоб бежали, подпрыгивали от радости!

Миканор разозлился. Не сдерживался уже:

— Ты все знаешь! Все подходы!

— Знаю, — сказала она, снова будто усмехнувшись. — А и тебе знать бы надо! Если за гуж взялся.

Он только рассерженно глянул. Скрывая злость, подошел к столу, снова раскрыл тетрадку, стал рассматривать.

— Ты это, может, пришел, чтоб указанье Параске дать, как учить?

— А что ж, думаешь, не могу? — Он опять говорил снисходительно. — Имею право на это!

— То-то я и вижу, пришел важный! Принарядился! — Хотела удержаться и не смогла, добавила и насмешливо и серьезно: — Есть уже у нее кому указывать!

— Мало кто есть...

— Ни мало ни много. А один.

Миканор минуту колебался. Глянул настороженно.

— Кто это?

— Он. Знаешь...

Миканор помрачнел. Знает. Невеселый, ссутулившийся, долго молчал. Листал, не видя, тетрадки. Наконец спохватился.

— Надо ехать. — Попытался улыбнуться. — Есть хочется. А землячки не угощают... Отцу тоже что передать?

— Был тут сам.

Подавал большую безразличную руку. Уже без усмешки, искренне она попросила:

— Заезжай. Хоть попутно...

— Будет время, заеду...

Она потом пожалела, зачем растревожила его. Но сразу же возразила себе: нехай не задирает нос слишком! И попусту пусть не тешится!..

Глава вторая

1

Следующим вечером неожиданно принесло Дубодела. Дюжий, жилистый, в шинели и в военной шапке, криворотый, сразу заметила, держался как-то непривычно, льстиво и одновременно официально. Это заинтересовало ее. Когда Параска, с любопытством глянув на него, пригласила сесть, он мягко намекнул, что рассиживаться особенно некогда — дела. Об этом говорил, казалось, не только весь его вид, но и парусиновый портфель, который Дубодел держал на коленях и по которому беспокойно бегали его пальцы.

— Ну, не все время одними делами заниматься? — хитровато глянула Параска, подымая голову от тетрадей, которые проверяла.

— Все не все, а гулять, можно сказать, некогда...

— Вам же не надо тетрадей проверять! И неграмотных вы грамоте не учите! Времени у вас должно быть с излишком!

— Дохнуть некогда! Как в район перешел!

Он после того, как не избрали в сельсовет, устроился районным уполномоченным. Не большое, однако все же начальство, с портфелем ходит! И поблажку дать, и прижать может, что ни говори — районный представитель! И недаром угощают чуть ли не всюду! Ганна заметила беспокойный блеск в его глазах, подумала: и теперь вот, не иначе, с угощения! Даже шрам около рта побагровел!

Дубодел перехватил ее взгляд, кивнул, чтоб вышла на крыльцо. Она повела плечами, будто не поняла. Он подумал, встал, строго официальным тоном велел:

— Ганна, прошу выйти.

— Это чего?

— Дело есть! Выяснить надо...

— Дак выясняй тут.

Он неловко помолчал. Искоса, настороженно глянул на Параску. Перевел взгляд на Ганну, недовольно покачал головой: недогадливая!

— При посторонних нельзя...

Параска сразу отозвалась:

— Дак я могу выйти!

— Нет, вы работайте! — Он сказал, нетерпеливо требуя: — Времени нет. Выйди!

Ну что ж. Ганна, не одеваясь, вышла в коридор. Он попросил выйти на крыльцо. Послушалась. На крыльце остановилась.

— Ну, выясняй.

— Пройдем немного еще, — добродушно взял за руку.

— Не хочу.

— От язва ж ты! — засмеялся одобрительно. — Все по-своему гнешь!

— Ну, что ты хотел выяснить?

Он выпустил ее руку, важно сказал:

— Ты это правильно сделала, что Глушака кинула.

— Дак для етого и позвал, чтоб похвалить?

— Ну, язык! — Он снова засмеялся, как бы одобряя. — Правильно.

Хватит гнуть шею на них!

Дубодел взял ее за руку. Ганна хотела сразу же отнять ее, но он не дал. Притянул к себе. Аж затошнило —дохнул водкой.

— Ты что это?! — удивилась будто.

— А ничего! — забулькал противный смех. — Поухаживать от хочу за тобою.

— Вон как! Дак для етого надо было тянуть сюда? На мороз. — Холод-таки пробирал ее. Особенно мерзла спина. — Поухаживал бы там. При Параске.

— Нравишься ты мне! — Как бы не заметив издевки, он все тянул ее к себе. Она твердо уперлась ему в грудь. — Ну, чего ты? Н-не нравлюсь?

— Не нравишься.

Руки его немного ослабли. Но он все ж не выпустил ее.

— Почему это?

— А не знаю. Просто гадкий.

Чувствовала, будто ударило его. Минуту растерянно молчал. Потом сказал злобно:

— Чего задираешь нос?

Она спокойно приказала:

— Пусти!

Дубодел отпустил.

— Нечего девку из себя строить! Не знаю, думаешь, как ты с етим Дятликом в гумне?..

— Знаешь?

— Знаю.

— Дак старайся не забыть.

Этот издевательский совет разъярил его.

— Чего задираешь нос, кулацкая подстилка!

Она сдержалась, проговорила с презрением:

— Это все, для чего позвал меня?

— Т-ты еще пожалеешь об этом! — выдавил он люто.

— Тогда-то и будет!

Ганна спокойно закрыла двери.

Когда вошла, Параска оторвалась от тетрадей, взглянула лукаво, подсмеиваясь.

— Ну что, поговорили?

— Поговорили, — Ганна сказала таким тоном, что улыбка на Параскиных губах замерла.

Она всмотрелась внимательно и не стала расспрашивать. Склонилась снова над тетрадями. На кухне, одна, Ганна дала волю гневу: «Ах ты гад, гад, как обозвал, аж вспомнить противно!» Старалась успокоить себя — хорошо припекла его, отскочил сразу, — но гнев не унимался. «Думает, раз одна, дак все можно. Приходи и бери, рада будет... Кинется сама! Ага, только тебя мне и не хватало... Ждала, не могла дождаться!.. Грозит еще: „Пожалеешь!“ Пожалую о другом. Что не плюнула в глаза!» Вскоре успокоила себя — есть из-за кого переживать!

Через день явился еще человек. Был вечер, поздний вечер, скоро должны были окончиться занятия со взрослыми, когда Ганна услышала, что в коридор кто-то вошел. Пошаркал в темноте лаптями, остановился, видимо, не зная, куда идти.

Она открыла дверь в коридор, глянула в темноту.

— Кто тут?

Он стоял поодаль, во тьме коридора чуть виднелась фигура. Она не то что узнала — догадалась.

— Ты?..

Голос ее дрожал. Она мгновенно заволновалась. Обрадовалась: пришел! Радость недавних встреч ожила вновь.

И он медленно, так же обрадованный, подался навстречу.

— Заходи!

Когда он опасливо зашел, почти зажмурился от света, еще в летней шапке, в расстегнутой свитке, она радостно припала к нему взглядом. На мгновение некстати заметила какую-то белую пыль на рукаве — снег, что ли? — и больше ничего, что бы удивило как-то. Все было такое знакомое, родное. Глядя на него, она не столько видела, сколько чувствовала, вернее

сказать, только чувствовала. Будто стояли, прислонясь...

Он, хмурясь, неловко, недоверчиво осмотрелся. Хмурился, может и от света, но ей подумалось, что не нравится ему тут. Спихватилась. Накинула на плечи платок. Решительно шагнула в коридор.

— Пойдем!

Вышли на крыльцо, в темноту, на ветер. Минуту казалось, будто ничего иного и не было, только их встречи. Все как тогда, перед гумном, под яблонею. Как в гумне.

Шли быстро, нетерпеливо. Наконец остановилась. В стороне от дороги, чтоб не помешал никто.

— Приехал! Не забыл! — голос ее прерывался.

— Не...

— Я думала, забыл!

— Скажешь!

— Не приезжал долго!

Он помолчал.

— Не так просто...

Она поняла недосказанное: не так просто вырваться. Маня, мать, соседи. Все следят. Обязанности перед своими. К радости примешался недобрый холодок. Не так просто. Не так просто!

— Ты пришел? — поинтересовалась сдержанно.

— Приехал...

— Из дому?

— Из Алешников... — Он добавил: — Муку молот...

Она спросила, лишь бы не молчать:

— А где телега?

— На улице.

Взяла дрожь. Почувствовала, какой знобкий ветер. Надо было хоть накинуть что-то. Выскочила сгоряча!

— Как ты тут?

Тоска, тревога, любовь слышались в голосе.

— А ничего. — Постаралась скрыть горечь. — Живу... Хорошо живу... А ты?

— Ат...

Много сказало ей это «ат»!

— Маня как? — не сдержала ревнивое.

— Что ей...

— А сын?

— Растет...

Нелегко было говорить: за тем, о чем говорили, вставало много другого, о чем и вспоминать не хочется, и забыть не забывается. Потому и молчали охотно.

Но и молчание было волнением.

— Землю отобрали! — как бы пожаловался он. Ей слышалось в голосе отчаяние. — Всю, что возле цагельни^[2].

— Мне говорили, — посочувствовала она.

— Посеянное перепахали. Миканор все...

Он, казалось, ждал, что она поддержит. Скажет недоброе про Миканора. Она не сказала. Зачем бередить лишний раз боль его.

— Не знаю, что будет, — снова слышалось отчаяние.

— Будет что-то. — Спокойно, утешая, сказала: — Хуже, чем было, не будет.

Он подумал над тем, что сказала.

— Может и хуже быть.

— Не будет.

Она была уверена в этом. Снова молчали. Разгуливал ветер, охлаждал шею, плечи. Пробирала дрожь.

— Ты не обижаешься на меня? — спросил он тихо. Как-то несмело и виновато. Насторожась, ожидал, что она скажет.

— Не-а, — ответила спокойно. Будто удивилась: — Чего обижаться?

Он обрадовался. Потянулся к ней, хотел вроде обнять. Но сдержался. Не осмелился.

— Черт его знает, запуталось все, — сказал.

— Запуталось.

— Что будет, один бог знает!..

Он будто оправдывался перед нею. Вину чувствовал свою, хоть она и виду не подала. Зачем он об этом, виноватый, не виноватый, что с того? Легче разве станет?

— Как ты будешь дальше? — ощутила снова тревожную озабоченность.

— А так и буду.

— Ты не обижайся, — попросил. — Если б можно было!..

Ну, зачем он это? Будто она его винит! Не винит она никого, каждый как может. Каждый сам за свою судьбу расплачивается.

— Не обижаюсь я.

Он все же осмелился. Обнял на прощание, робко, неловко. Будто не обнимал никогда. Она не развела его рук, но и не приникла к нему. Словно и не обрадовалась. Он сразу, почувствовала, понял это, сдержался. Сильные

нетерпеливые руки его ослабли. Обняв, словно не знал, что делать. Стояли молча, неподвижно. Было вроде и хорошо, но уже не так, как прежде. Чего-то уже не хватало. Холодноватость была какая-то.

Он поцеловал. Она ответила. Но так же спокойно — больше от воспоминания о том, что было.

— Дак бывай...

— Бывай...

Постояла, послушала, как стучит его телега в потемках. По мерзлой, окаменелой земле.

2

Когда Ганна бросила Евхима, жизнь, казалось ему, утратила всякий смысл. Как ни нескладно шла она до сих пор, все же был еще в жизни этой хоть какой-то привычный, заведенный людьми порядок, была хотя бы для людских глаз какая-то видимость хозяйства, семейного уклада. Была пускай ненадежная, плохая, но хозяйка, жена, было кому приказывать, кого упрекать, на ком срывать зло...

Он и не знал раньше, как много значила в неприглядной жизни его эта никудышная, даже ненавистная жена. Только теперь, когда она убежала, скрылась, Евхим почувствовал, злясь на себя и на нее, как удивительно, непоправимо опустело все в хате, во всей жизни его, каким стало бессмысленным, бестолковым. Злоба его на Ганну была тем сильнее, что в бешенство неизменно вливалась ненужная, горькая струйка обиды за то, что, поганая, не полюбила, не пожалела, бросила в такое время, выставила на срам перед всем селом; что из-за нее, паскуды, столько боли, досады ему, что, как ни старается, не может плюнуть на нее, вытравить из своей памяти; будто определено ему жить без нее.

«Сука! Гадина! — клял ее не раз. — Закаешься! Навек закаешься! Попомнишь!» — грозил он. Слоняясь по двору, мучаясь бессонницей, в лихорадке, обуреваемый мстью, рисовал себе картины расплаты, бил в сладком остервенении по ненавистному лицу, ломал упрямые руки. Были минуты, когда он, жаждущий сочувствия, готов был схватиться за топор, вспоминал спрятанный в застрехе обрез. Ни проклятия, ни угрозы не приносили облегчения: хоть и не сознавался в этом, любил ее, поганую и ненавистную, по-прежнему, любил дурной, как болезнь, неотвязной любовью.

С того дня, как Ганна убежала, опостылел ему родной двор. Нет,

Евхим не во всем походил на старого Глушак: жизнелюбивый, охочий до жизненных утех, он и раньше без большой радости тянул на себе тяжесть хозяйских забот, теперь же от этих забот стало совсем тошно. Он почти отстранился от хозяйствования. Если б не родители, которые держали хозяйство сына под зорким присмотром, конь, корова Евхима век были бы не поены и не кормлены, свиньи визжали бы от голода. Старик, который недовольно следил, как сын, заспанный, медлительный, вылезает из своей половины на крыльцо чуть ли не перед обедом, как слоняется по двору, по хате, будто делать нечего, не раз пробовал усювестить его, однако ничего не добился. Старуха жалела, уговаривала старика, чтоб не злился, но тот со дня на день распалялся все больше.

Особенно злило его то, что Евхим пьет. Чуть не каждый вечер исчезал он куда-то и возвращался домой только под утро, а то и вовсе днем. С гневом старик заметил, что пропали некоторые вещи Евхима, среди которых были дорогие хромовые сапоги и пиджак.

Глушак места себе не находил, обнаружив эту пропажу. Весь вечер и всю ночь не спал, все прислушивался, когда вернется Евхим. Тот зашаркал пьяно под окнами, заскрипел воротами только под утро. Старик едва удержал себя, чтоб не кинуться, не дать волю своему гневу, но внял голосу рассудка: все равно с пьяным о чем говорить. Слышал, как Евхим медленно протащился впотьмах по своей половине, как стукнул кружкой по ведру, долго пил воду, бревном свалился на кровать.

Весь день ждал Глушак момента, чтоб снова начать трудный разговор. Только после обеда, когда Евхим, прислонясь к косяку, закурил сигарку, безразлично пустил струйку синего дыма, старик почувствовал, что можно начать.



— Где сапоги хромовые? — спросил сдержанно, почти спокойно.
Впился глазами в сына.

Евхим и бровью не повел. Будто ждал. Пустил еще струйку дыма.

— Где были, там нет. Продал...

— Продал... Кому его?

— А не все равно, кому?

— Groши получил? — не отступал Глушак. Взгляд обострился в злобе.

— Получил.
— Сколько взял?
— Сколько можно было, столько взял...
— А все-таки сколько?
— Не много. Да и, сказать, не мало...
— Где они, твои гроши?
— Какие при мне, — Евхим говорил так, будто издевался, — а какие израсходовал...

Глушака затрясло от гнева.

— И пиджак израсходовал?!

Евхим перестал дымить. Выпрямился, сказал покладисто:

— Тато, не надо так...

Но старик не мог уже остановиться:

— Скоро все израсходуешь! Все на водкупустишь! Все добро!..

Евхим глянул на него невесело, с сожалением. Как на малого, что досаждает неразумно.

— Зачем это все, тато... Или вы ребенок, не видите ничего?

— Ты видишь! Залил глаза водкой!

— Оттого, тато, и залил, что вижу все...

Евхим говорил очень откровенно, с большим волнением, и старику это передалось. Почувствовал болезненную правду сыновних слов, растерянно, больше по обязанности попрекнул:

— Через какую-то голодранку света не видишь!

— Тато, не трогайте, — попросил Евхим незлобиво. Добавил доверительно: — Не в одном этом беда. — Глушак почувствовал зловещее, когда сын сказал: — Это мы переживем! — Он не закончил, однако в том недосказанном, старик чуял, есть большее, худшее! Евхим не дал старику вести спор дальше, попросил: — Поговорим про это потом. Что-то трудно сразу после обеда...

Он вышел, и вскоре старик услышал, как в соседней половине скрипнула кровать.

Вечером Евхим пришел снова. Когда хлебали борщ, ввалился Прокоп Лесун, буркнул «добрый вечер в хату»; поблагодарив, как заведено, за обязательное приглашение к столу, глыбой опустился на диван. Поужинав, Евхим не торопился, как обычно; опершись о косяк, задумчиво дымил сигаркой. Будто только что прервали дневной разговор, сказал отцу:

— Жить, тато, все равно не дадут...

Старик так же незлобиво, наставительно возразил. Дадут, не дадут, а держаться надо.

— А если я не могу! Характер у меня горячий, знаете ж!

— Характер сдерживать надо! Не распускать!

— А если не умею я?

Старик, с осторожностью поглядывая на Лесуна, сдержанно и твердо произнес:

— Надо уметь! При теперешнем положении надо всему научиться!

— А я вот не умею!

— Надо уметь!

Евхим не ответил. Дымил сигаркой, думал о чем-то. Докурил, кинул под ноги, растер опорком сильно, злобно. Потом заговорил с горячностью, как о наболевшем:

— Работаешь на кого-то, как батрак!.. Работаешь, а он, жаба, придет да вычистит под метлу! Будто это не твое, а его! Командуют всякие, а ты слова не скажи!.. Ей-бо, — с лютой откровенностью, с тем внезапным неудержимым упорством, которого всегда опасался старик, предсказал: — Не ручаюсь, стукну я когда-нибудь этого Даметикова! Стукну так, что свинячье попрет из него! Ей-бо! Руки давно чешутся!

Старик кинул взгляд на Прокопа, недовольно буркнул:

— Плетешь всякое!.. Человек и правда подумает...

— Правда, тато! — не хотел ничего понимать Евхим. — Стукну! Терпение уже лопнуло!

— Не болтай! Сдурел совсем!

Евхим будто и не слышал старика.

— Только вас от да матку жалко, дак и держусь. А так давно б!

— Сдурел совсем! — замотал Глушак головой, посматривая дружески на Лесуна, как бы прося не принимать всерьез.

Прокоп слушал Евхима угрюмо, обеспокоенно.

Евхим неожиданно весело дернул плечами, закинул руки за голову.

— Один выход: съехать куда-нибудь! Пока суд да дело!

Глушак посмотрел на Евхима. Не шутит.

— От побуду еще немного, — с веселой удалью сказал Евхим, — да плюну на все! Счастье, что ни женки, ни голопузых — никто не уцепится! Возьму свитку на плечи — да в белый свет! Куда душа поведет! На свете мест хороших немало! Быть того не может, чтоб и мне не нашлось!..

— Ждут там тебя! — с тревогой попрекнул старик.

— Найдется место. Теперь всюду такое строительство! Лишь бы руки!

В старике поднялась ревнивая злость. Серdito, с обидой засипел:

— А тут батько нехай один! Батько нехай один мучается! Дождался хороших сынов!..

— Не обязательно и вам оставаться!

— Не обязательно, — возмутился старик. — Не обязательно?! А добро на кого?! Черту лысому под хвост?.. Или, может, Миканору Даметикову? За ласку за всю его?

Старик так кипел, что Евхим не стал спорить. Помолчав, о чем-то думая, свернул снова папиросу, прикурил от уголька, что выкатил из печи. Дымил затаенно, упрямо сузив глаза.

— От, дождался помощи, — уже спокойнее пожаловался Лесуну старик. Будто просил сочувствия.

Лесун промолчал. Глушак видел, под нависью понурых бровей глаза блестят тревожно, упорно.

Когда Лесун тяжело встал, собрался идти, Глушак подался вслед, придержал в сенях гостя, тихо, предостерегающе попросил:

— Не помни, Прокопко, что мы тут плели... Все это он так — язык почесать!

— Евхим правду говорил! — прогремел Лесун. Глушак уловил в голосе отчаяние и решимость.

— Аг, — возразил на всякий случай. — И ты туда же... Не плети, Прокопко!..

Вернувшись в хату, глянул на Евхима, который все дымил, навалясь на косяк. Укорил от души:

— Болтаешь перед чужими что попало!

Евхим шевельнулся, перестал дымить.

— Тато, надоело мне! Надоело терпеть! Когда за глотку берут!

Он сказал о таком наболевшем и так нетерпеливо, что старику вдруг стало жалко его. Тревожно повел глазами на окно, не слышит ли кто. Вон как разбередило — чуть не кричит! Как маленькому, сдержанно и ласково посоветовал:

— Надо терпеть! Не обязательно знать каждому, что думаешь!..

Евхим нетерпеливо дернул плечами: есть о чем заботиться! Встал во весь рост, мрачно повел взглядом, будто не знал, куда податься.

— Скрутят скоро совсем! — сказал жестко, безжалостно.

Слова эти кольнули Глушака в самое больное. Однако не выдал слабости, не упрекнул сына, что не жалеет, точит отцову изболевшую душу. Не до того было.

— Скрутят, не скрутят, — сказал как мог спокойно, рассудительно, — а нечего самому искать гибели! Лезть самому в петлю!.. — Для пользы сыну с житейской мудростью добавил: — Коли голова будет на плечах, не обязательно скрутят!.. — Не дал возразить, посоветовал: — Ждать надо!

Сила у них!

— Дождались! — грубо, как бы обвиняя кого-то, отозвался Евхим.

— Была пора, — согласился отец. — Была да сплыла. Дак и остается одно — ждать. Есть же бог, не может не быть, услышит, милостивый, молитву нашу. Пришлет подмогу несчастным, придет!

— Аге, надейтесь на нее.

— Не смейся, — приказал строго старик. — Придет он, придет! Увидишь, вот увидишь! Придет пора!

— Долго, тато, ждать придется!

Старик будто не заметил насмешливого Евхимова сожаления, зная, что за каждым словом следят там, на небе, сказал горячо:

— Сколько ни придется, дождемся! Быть не может, чтоб не дождались! Есть бог на небе!

— Эх, тато...

— Дождемся!

Евхим сказал «доброй ночи», лениво поплелся в сени, к себе. Он долго не спал. Ворочаясь бессонно на кровати, думал. Дум было много, самых разных. Особенно врубалась, сверлила одна: куда податься? В ней виделось ему счастливое спасение, единственное спасение от всего, что так запутало его жизнь. Бросить все. Сразу. Не жалея ничего. И махнуть хоть куда. Попробовать еще раз. Жить тут все равно не дадут...

В ту ночь он был готов махнуть. В ту ночь это казалось самым простым и надежным. И кто знает, как сложилась бы его судьба, если бы махнул. Может, иначе, совсем иначе пошла бы его дорога.

Но не махнул он. Не так просто было махнуть...

Глава третья

1

Из-за своих тревог и забот Ганна, как о далеком и необязательном, слушала о том, чем живет село. Ее мало волновали разговоры, которые каждый раз доходили от разных людей: что в колхозе нелады, что чуть не все, кто вступил, недовольны и что колхоз еле скрипит и может со дня на день развалиться.

Без всякого волнения восприняла она и весть, что колхоз-таки скончался. Спокойно, с обычным любопытством слушала тревожный гомон на улице, смотрела, как торопливо проезжали одна за другой подводы, груженые разным скарбом, сопровождаемые говорливой толпой, что тянулась рядом.

Как самое важное, теперь касающееся и ее, отметила, что там, в толпе, среди взрослых дети и что в школу придут сегодня только немногие. Двор в это утро не бурлил, не звенел беззаботными голосами детей, в классах и в коридоре стало вроде бы просторнее, чем в другие дни. Дети собирались кучками, делились новостями, о чем-то рассуждали, лица у большинства взволнованные, не по-детски озабоченные. Озабоченность эта, однако, не была угрюмой: в глазах ребят больше искрилось любопытство, их волновала, собственно, не сама новость, а ее новые проявления.

Немного ребятишек набралось в коридоре и в классах и, когда подошла пора начинать занятия, Ганна с беспокойством посмотрела на часы над Параскиным столом. Большая стрелка приближалась к самому верху, к цифре «12», скоро давать звонок, а Параски нет дома. Она пропадала где-то на селе. Убежала затемно и не показывалась еще.

Стрелка подобралась к двенадцати и начала сползать вниз, надо давать звонок, но Ганна тянула. Она то копалась на кухне, то спокойно выходила в коридор, и вида не подавая, будто все идет своим чередом. Если нужно, она и не то сделала бы для своей Параски. Не такую мелочь. Только в комнате беспокойно поглядывала в окно — Параски не видать.



Появилась Параска, когда большая стрелка минула третью цифру. Она шла быстро, издали видно было, вбежала в комнату, с нетерпеливой досадой развязала платок, кудлатая, волосы во все стороны, опустилась на табуретку. Расстегнула пальто.

— Звонка не было? — спросила, но таким тоном, будто о чем-то необязательном.

— Не.

Тогда она взглянула на стену и, увидев часы, не удивилась. Невеселое,

притомленное лицо, милая Ганне заговорщицкая, хитровая улыбка. Похвалила улыбкой: хорошо сделала, сообразила!

Ганна подмигнула ей: можешь не сомневаться, не оплошаю! Обе захохотали, довольные друг другом. От этого смеха Параска будто ожила, с внезапной резвостью вскочила с табуретки, бросила платок на кровать, повесила пальто. Заспешила на кухню, начала шумливо плескаться над тазиком. Вытершись, подбежала к зеркальцу на столе, стала торопливо причесываться — всадила в черноту волос большой, с рыжеватыми прожилками гребешок.

— Давай звонок, — приказала, натягивая и вправляя в юбку кофточку.

Она не села завтракать. Только выпила полстакана молока, схватила большой школьный журнал, книжки, тетради и исчезла за дверью.

Ей было явно не до занятий: пока шел урок, она несколько раз выбегала из класса, возвращалась в комнату, беспокойно металась по ней, посматривала на улицу. Волнение не прошло и тогда, когда началась перемена, коридоры наполнили гул и детский гомон, да и после, когда в притихших классах начался второй урок.

Где-то в середине второго урока появился парень в черной поддевке, в сапогах. Пока он обметал веником сапоги, Параска вышла на крыльцо. Вернулась в комнату вместе с ним.

Парня Ганна знала, он уже не раз бывал у Параски. Глинищанский активист, комсомолец, Борис Казаченко. Глинищанский Миканор, в шутку называла его про себя Ганна.

Глинищанский Миканор только хмуро поздоровался и уже не замечал Ганну. Повернув продолговатое горбоносое лицо к Параске, смотрел тревожно и устало. Будто ждал от нее совета. Параска молчала, нарочно не смотрела на него. То ли обвиняла его в беспомощности, то ли виноватой чувствовала себя. Что не может ни помочь, ни посоветовать.

— Трудно теперь, конечно... — промолвила раздумчиво, должно быть, продолжая разговор, начатый на крыльце. — Если дошло до этого...

— Слушать ничего не хотят. Хоть ты кол на голове тещи! А некоторые так кинуться готовы. Вцепиться в тебя за одно слово... И все матюки да матюки... — Он говорил с присвистом, вместо «тещи» у него получалось «цяси», «матюки» похожи были на какие-то «масюки». — Особенно бабы ошалели!.. Того и гляди, вцепится когтями какая.

Ему было, видать, неловко признаваться Параске в своей неспособности убеждать. И как бы подсмеивался над собой.

— Трудно, конечно... — снова отозвалась Параска. — И все же нельзя опускать руки. И когтей бабьих бояться! — вдруг съязвила она. Вошла в

свою роль.

— Да я и не боюсь. У меня кожа толстая. Толку вот никакого! — повеселел Борис.

— Нам теперь так: либо пан, либо пропал! Выбирать нечего!

Параска постояла минуту, думая о чем-то, потом вдруг решительно приказала:

— Постой тут.

Твердым шагом направилась в класс. Почти сразу оттуда донеслись радостный крик, стук парт, шарканье и топот ног. Дети, как отара, выпущенная из загородки, с шумом, с гомоном повалили на крыльцо.

Параска бросила на стол журнал, книжки, тетради, сняла с гвоздя пальто. Быстро повязала платок, скомандовала Борису:

— Пойдем!

Борис двинулся за ней.

Снова увидела Ганна Параску уже под вечер. Она была не одна. За ней кроме Бориса шли по улице к школе Дубодел, Гайлис, Черноштан. Дубодел, в короткой поддевке, в галифе, с военной сумкой через плечо, резал рядом с Параской легко и весело. Гайлис шагал в застегнутой шинели, ветер рвал полы и, было видно, мешал идти. Но Гайлис не обращал внимания на ветер, шел ровно, терпеливо. Рядом с Гайлисом Борис. Ганна не обратила на него внимания. Черноштан ковылял позади всех, уткнувшись взглядом в землю, виновато горбясь...

Ганна хотела было уйти на кухню — враз вспомнилась омерзительная встреча с Дубоделом, однако именно омерзение это и боязнь сдержали ее. Она нарочно взяла на кухне ведро и пошла навстречу — не хватало только, чтоб удирала от него. Поглядим еще, как поведет себя!

Когда вышла из коридора, они как раз подымались на крыльцо. Ганна весело, словно невзначай встретив, поздоровалась, бросила острый взгляд на Дубодела. Тот важно поправил сумку, окинул глазами, будто незнакомую. Она строго скомандовала:

— Дайте дорогу.

Дубодел посторонился, пропустил.

Когда вернулась, еще из коридора слышала, разговаривали в классе. Не пошли в Параскину комнату. Может, потому, что не хотели натащить грязи, а может, потому, что разговор секретный. Двери в класс закрыты. И разговаривают не очень громко.

Секретное так секретное. Интересно, конечно, о чем они там толкуют, но, если нужно им закрываться, пускай закрываются. У нее полна голова своих «секретов». Не до чужих. Проходя и раз, и второй коридором,

невольно слышала за дверьми то спокойный разговор, то будто спор, но не прислушивалась. Не имела такой привычки. Не хотела унижать себя. Отметила одно: за дверью стемнело, они сидели впотьмах, не сразу зажгли лампу. Должно быть, нелегкий у них разговор.

Когда расходились, Дубодел неожиданно появился на кухню. Увидев ее, бесцеремонно потребовал воды. Она подала ковш. Дубодел зачерпнул из ведра, поинтересовался:

— Как живешь?

— А неплохо.

Он напился, вытер бороду. Мрачно уставился на нее.

— Не взялась за ум?

— А зачем? Мне его не занимать...

Он поставил ковш на стол. Произнес сдержанно, но с угрозой:

— Не с тем играешься!

Твердо застучал сапогами по коридору.

Параска проводила всех на крыльцо, постояла. Зашла в класс, погасила лампу, вернувшись в кухню, накинулась на еду.

— Проголодалась я!

— Неудивительно! Целых полстакана молока утром выпила!

— День такой! Вздохнуть некогда!.. Попадет нам, Ганночка, за этот день! И Гайлису, и Черноштану, и мне за компанию!

— А ты при чем?

— При том. При всем.

Ганна ожидала, что она расскажет о дневных приключениях, о тревогах своих, но Параске было сегодня не до разговоров. Уже когда ложились спать, Ганна не выдержала, будто в шутку поинтересовалась:

— О чем это секретничали так долго?

— Ат, о всяком. — Она, белая, в сорочке, с распущенными волосами, прикрутила лампу, дунула в стекло. Впотьмах добавила озабоченно: — Главный секрет — завтра будет собрание.

И в этот день много детей не пришло. Занятия начались вовремя, однако Параска шла в класс неохотно. За урок она несколько раз выходила из класса, будто не могла дождаться конца.

Почти сразу после того, как прозвенел звонок и в классах наступила тишина, по коридору застучали сапоги. Вскоре шаги затихли, слышно

было, как из класса вышла Параска. Она с кем-то обрадованно поздоровалась, вместе с ним вошла в свою комнату.

Когда Ганна появилась там, гость, не раздеваясь, в поддевке, сидел на табурете. Только снял каракулеву высокую шапку, вертел в руках. Блестела широкая, чуть прикрытая редкими белесыми волосами лысина. Ганна узнала его. Параскин дядька из Юровичей, Иван Анисимович. Приветливо поздоровалась.

Апейка встал, подал ей руку. Спросил, как живется.

— Живу... Грех жаловаться.

— Назад не думаешь тикать? — Иван Анисимович добродушно улыбнулся.

— Назад меня на аркане на зятнешь.

— Ого, значит, твердо.

— Твердо.

Он уже не только с улыбкой, а и с уважением смотрел на нее. Потом глянул на Параску, должно быть, вернулся к прерванному разговору:

— Ничего не скажешь, наделали хлопот... — В голосе его были недовольство и упрек, но незлобивые, снисходительные.

— Ой, не говорите... — Параска не скрывала огорчения.

Апейка покачал головой. С минуту о чем-то думал. Мысленно он был где-то далеко. Потом посмотрел, спросил деловито:

— Гайлиса здесь не было?

— Вчера был. И сегодня, конечно. Где-то на селе, не иначе.

— Ага! — Апейка кивнул, поднялся, собрался идти. Глянул на обеих, будто обдумывал, то ли прощаться, то ли нет.

А может, перекусите? — попробовала задержать его Параска.

— Потом. — Уже озабоченный, сосредоточенный, нахлобучив шапку, сообщил: — Ну, я к Черноштану!

На дворе сразу отвязал коня, вскочил в таратайку и помчал...

И сегодня Параска не выдержала, отпустила детей раньше времени. Наспех перекусив, она быстро надела пальто, завязала платок и скрылась на улице. За ней вскоре отпустила детей и Галина Ивановна. В школе наступила тишина. За весь день никто больше не показывался. Пришел только, как всегда, к Галине ее ухажер Петро. Как обычно, она, торопливая, веселая, сначала угощала его, потом они закрылись на защелку и из-за дверей доносились только тихие голоса. Потом и они смолкли.

Уже начинало темнеть, когда к крыльцу кто-то подъехал. Ганна думала, что вернулся Параскин дядька, однако коня привязывал кто-то незнакомый: молодой, чернявый, в кожаной фуражке, в аккуратной,

добротной шинели. Через минуту он, стройный, тонконогий, в хромовых сапогах, легко вбежал на крыльцо.

Постучал для приличия и, не ожидая ответа, открыл дверь. Ганна сделала вид, будто убирает со стола. Когда вошел, оторвалась от дела, посмотрела нарочно без интереса.

Незнакомый поздоровался, мельком глянул на нее. Его черные глаза, беспокойные и твердые, насторожили ее. Однако он тут же равнодушно отвел взгляд.

— Товарища Апейки не было? — Голос у него был простуженный, с хрипотцой.

— Был. С утра.

— Это я знаю. Потом не заезжал?

— Не.

Он говорил отрывисто, уверенно. Снова строго, даже неприязненно поглядел на нее. И снова заметила в его взгляде нетерпеливость и как бы недоверие.

— Вы кто? — в голосе его была жесткость.

В ней поднялось упрямство.

— А вы?

Он не ожидал, посмотрел, будто не понимая.

— Я? — Он пригляделся, недовольный, однако уже со вниманием. Будто хотел понять, что скрывается за ее вопросом. — Я Башлыков. — Он заметил в глазах ее замешательство. Она как бы ждала объяснения, и он добавил: — Секретарь райкома.

Ганна не скрыла удивления. Видела Башлыкова впервые, но фамилию его слышала не раз. Башлыкова слушались, побаивались, и ей казалось, что он высокий, плечистый, грозный с виду. А тут, оказывается, обыкновенный, ничем не примечательный человек. С виду даже зеленый хлопец.

— А я Ганна, — ответила она подчеркнуто спокойно, снисходительно.

Он хотел еще что-то спросить, но промолчал.

Снова с недовольством окинул взглядом комнату, сделал шаг, строго объявил:

— Я подожду здесь.

— Посидите. Табурета не просидите.

Однако он не сел. То стоял, то делал шаг-другой, возвращался назад. Двигался словно спутанный. И все думал о чем-то своем, неизвестном. Одно только видно было, думы его о неприятном, но важном. Это и угнетало его. Делало старше, не похожим на того, каким показался Ганне вначале. Не хлопцем зеленым, а рано постаревшим, необычным,

непонятным. Она невольно следила, как он досадливо ходит, далекий в своих мыслях, и старалась разгадать, что его гнетет так. Видать, только что был на селе, ходил, смотрел. И вот, должно быть, вспоминает об увиденном, услышанном. Городской же сам, сразу видно...

Городской. Не из наших болотных. Можно и не спрашивать. Присланный, наверно, колхозы делать. Учить темных нас разуму... Грамотный очень, не иначе. Грамотный. Конечно. Не нашего поля ягода... Что-то и далекое, что отделяет, и вместе интересное, притягивающее было в нем — городской, непонятный. И любопытное, и удивительно ревнивое, что вот он такой грамотный, городской. Потому, наверно, и поставили такого молодого над целым районом. Потому и слушаются все, молодые и старые. Не смотрят, что молодой... Апейке сколько пришлось испробовать всего, всякого, пока поднялся, заимел такое право, а этому все сразу. Городской, образованный...

Безусловно, она думает о нем не потому, что как-то бросился в глаза. Ничего в нем такого особенного, если присмотреться. И не очень видный и плечи, как у подростка. И характера, видать, нелегкого. Просто не похож на тех, кого знала раньше. Впервые видит такого. Поэтому...

А вообще пустое все это, спохватилась Ганна. Не интересуется ее никто. Нисколечко. Евхим, вот что интересуется ее. Да то, о чем никто не знает еще...

Где ж это Параска? Или хотя бы Апейка? Пускай бы сидели вдвоем, обсуждали свои дела.

То выходила на кухню, топила печь, то возвращалась в комнату, для приличия убирала. Давала понять: некогда ей сидеть сложа руки.

Заходя в комнату, она видела, что он все топчется и топчется, как на привязи. Чаще не замечал ее, будто и не было никого близко. Но изредка она ловила его взгляды. Посматривал недовольно, недоброжелательно, будто мешала ему. Или, может, так казалось, потому что думал о чем-то неприятном. Переживал.

Странно, она невольно ждала, что он заговорит, спросит о чем-то. Но он молчал. Топтался и топтался. Далекий, непонятный.

Наступал вечер. В комнате чем дальше, тем больше темнело. Но Ганна не зажигала лампы — по привычке берегла керосин.

Темь уже плотно легла, когда вбежала Параска. Но она сразу узнала

гостя, или, может, кто передал уже, что он тут, едва прикрыла дверь, заговорила удивленно, обрадованно:

— А я и не знала! Убежала из дому и не спешу назад!.. Давно вы здесь?

— Нет, — Башлыков говорил еще словно издалека.

Параска по-хозяйски сразу засуетилась.

— Что ж вы так! В темноте! Не раздеваетесь! — Она живо сбросила платок, пальто, подсказала гостю: — Вот тут гвоздик! — Крикнула Ганне весело, повелительно: — Сейчас же лампу! Свет! — Когда Ганна зажигала лампу, звонко — ну чисто артистка! — упрекнула: — Разве ж так, Ганночка, встречают гостей! Да еще таких!

Ганна нашлась:

— Гость о чем-то все думал. Не хотелось мешать...

Башлыков не ответил.

Только зажгли лампу, Параска спохватилась, кинулась к зеркалу. Торопливо пригладила волосы, поправила кофточку. Снова гостеприимной хозяйкой глянула на Башлыкова.

— Гость, наверно, голодный!

Башлыков, уже без шинели, тонкий, в синей гимнастерке, перетянутой широким блестящим ремнем, запустив пальцы под ремень, оттягивая назад складки, откликнулся неуверенно:

— Пообедал...

— Рассказывайте! — не поверила Параска. Подбодрила: — Ничего! Мы сейчас с Ганной организуем! Мигом!

Веселая, деятельная, потянула Ганну на кухню.

— Ты что ж это? — зашептала с упреком, дружески. — Так встретить! Самого Башлыкова.

— А что ж, листом перед ним стелиться?

Искренне призналась:

— Все смотрела, гадала, что в нем такое, такое особое?..

Параска не стала слушать, перебила. Сунулась головой в печь, отодвинула заслонку.

— Что тут у тебя? — В сковороде бабка. Из чугунка, чуть приподняла крышку, вырвался духовитый, аппетитный запах борща. Громко, чтоб наверняка слышал и он, сказала: — Вот хорошо! — Распорядилась щедро и непререкаемо — Все, что есть, на стол! — Добавила шепотом, заговорщицки, как бы объясняя: — Настроение у него, видишь, какое?

— Водки, может, достать? — посоветовала шепотом же Ганна, усердствуя уже у печи.

— Водки. — Параска покачала головой. — Придумала! — Шепотом, сдерживая смех, игриво подзадорила: — Поставь! Покажи ему! Увидишь, что скажет!.. — Серьезно уже растолковала: — В рот не берет! Хорошей даже, магазинной! Тем более в такой день!

— Смотрела я все, смотрела на него, — снова вернулась Ганна. — Ничего в нем такого, особого... — Она будто ждала, что Параска поддержит разговор. Ее почему-то так и подмывало говорить о нем. Параска, помогая ей, будто не слышала. — Почему хмурый, недовольный? Неужели ж из-за этого, из-за колхоза?

— Ничего ты не понимаешь! — только и отозвалась Параска. И тоном ответа, и самим ответом остановила Ганну: не до разговоров теперь. Приказала дружески: — Давай-ка живо все на стол!

Вбежала в комнату. Книги, тетради со стола — на подоконник. Стол — от стены. На стол — чистую скатерть.

— Вот так! Начало есть! — Побежала на кухню, принесла буханку хлеба, нож. Приказала уже Башлыкову: — Помогайте!

Он показал на руки, она спохватилась.

— Ганна! Гостю надо умыться! — Попросила: — На кухню, пожалуйста...



Башлыков вышел. Расстегнув пуговицы на рукавах, засучил их по локоть. Расстегнув воротник, оттянул его от шеи, склонился над тазиком, Ганна зачерпнула корцом из ведра, осторожно, чтобы не обрызгать, стала лить на его ладони. Они стояли неожиданно близко, головы их почти касались, и было в этом что-то несказанно домашнее, свойское. Ганна зарделась, сердце у нее екнуло, насторожилось. Ей бросилось в глаза, руки его с темными волосками были белые, нежные. Шея, аккуратно побритая, загоревшая выше ворота, ниже такая же белая и нежная. Совсем

юношеская. Что-то мягкое, трогательное непрошено вошло в ее душу.

Он то послушно вытягивал горсткой ладони, то старательно мылил руки, шею. Не подымал головы, не смотрел на нее, делал все молча, но и в нем, показалось ей, возникло вдруг то же ощущение близости. Без слов, без взглядов вдруг что-то протянулось между ними.

Подавая полотенце, она старалась не смотреть на него, старалась держаться безразлично. И все же, показалось, уловила непрстой, пристальный его взгляд.

— Благодарю, — сказал он, отдавая полотенце. И в том, как сказал, послышалось так же необычное.

— Ну, помылись? — ворвалась на кухню Параска.

— Как обновился, — он говорил спокойно, сдержанно, но Ганна отметила благодарную нотку в его голосе. — Вода хорошая, свежая. Должно быть, недавно из колодца.

— Недавно, — Ганна затаилась.

Вернулись в комнату Параски. Башлыков, застегнутый на все пуговицы, стройный, причесанный, стоял, как будто свой здесь. Параска готова была уже пригласить за стол, когда вспомнила:

— Огурцы у нас, капуста — объеденье! Может, любите?

— Люблю.

— Тогда достанем! Они тут, в погребе!

Параска с Башлыковым вдвоем подняли за кольца крышку в полу на кухне. Ганна спустилась в пропахшую землей, холодную темь, подала Параске одну тарелку, другую: огурцы и капусту шинкованную. Когда поднялась по лесенке, Башлыков протянул руку, помог выйти. Рука была сильная, горячая.

Сели за стол, и тут Параска изо всей мочи стукнула рукой по столу. Глянула на гостя отчаянно.

— Придется грех на душу взять! Карайте, не карайте!

Встала и, вернувшись из кухни, отважно, с пристуком поставила на середину стола бутылку наливки.

— Вот он, мой грех!

Она тут же хитро сменила направление разговора:

— Вода, закрашенная вишнями! Для детей разве!

Опередила Башлыкова, который хотел что-то сказать, но неуверенно промолчал. Молча, не одобряя, но и не переча, наверно, из-за деликатности положения гостя, следил, как поставили рюмки, как налили, по обязанности чокнулся. Однако выпил до дна. И даже позволил себе похвалить наливку.

Ужин удался. Башлыков, видать, основательно-таки проголодался за день; а огурцы, и капуста, и борщ — все было вкусно. Наливка оказалась прямо украшением стола, еще трижды бутылка в проворных руках Параски обходила рюмки, пока Башлыков твердо не накрыл свою ладонью. Дал понять, что хватит. Опьянеть от этой наливки не опьянели и женщины, однако все же она сделала свое. Хмель на время даже разгладил лицо Башлыкова, который здесь, за столом, среди повеселевших, добродушно насмешливых женщин, уже не так уныло смотрел на свет.

Он помнил свое положение и теперь, никаких шуток особенных не позволял себе. Параску расспрашивал о том, как приходится ей работать, хватит ли дров, помогает ли сельсовет и как посещают школу дети. Параска отвечала то серьезно, то шуткой, и он время от времени, хоть и неохотно, посмеивался вместе с нею. Тогда казался еще красивее, еще ближе.

Ганну он ни о чем не спрашивал, наверно, потому, думала она, что считал, дескать, не о чем ее расспрашивать. И верно, о чем он может ее спросить? О том, как она стряпает, пол метет? От этого в ней подымались, бередили гордую душу ревность и злость: городские, грамотеи оба! Усиливалось, жгло раздражение: окунулась в чужое счастье, служанка, уборщица! Росла неприязнь к обоим. Подымалась в душе дерзость, рвалась наружу.

— А вы, какие у вас планы! — глянул наконец Башлыков на нее.

— Большие! У меня каждый день большие планы! — Она едва сдерживала себя. — Пойло приготовить. Коров накормить. Подоить. Печку протопить. Грубки. Помыть полы...

Он почувствовал ее настроение. Смутился немного, хотел поправиться:

— Мне кажется, вы на большее способны...

— Мало что может показаться! — язвительно перебила она. Тише, уже стараясь вернуть спокойную насмешливость, добавила: — Это с виду я такая. Будто умная. А по правде...

— Ганна! — весело упрекнула Параска, которая с удивлением всматривалась в нее. Сдержанно засмеялась — Вот выдумала!

— Чего выдумала! Разве ж не такая я?

— Вы грамотная? — постарался пригасить спор Башлыков.

— Где там! Наука не по мне. Голова не та.

— А вы учились?

— А неужели нет?

— Врет она, врет! — возмутилась Параска. — Ума у нее — на пятерых. Судьба у нее вот не сложилась...

— Ах, Параскева Андреевна! Ну зачем вы это! Судьба! Разве судьба — горб от бога? Судьба — от человека! От ума!.. — Сдержанно, насмешливо упрекнула — Зачем лгать товарищу секретарю. — Она вдруг приветливо, радушно взглянула на гостя. — Ешьте бабку! Не обижайтесь!

Башлыков больше не расспрашивал ее. Она хоть тем была довольна, не хватало, чтобы полез в ее судьбу, учить стал, что надо было делать, а чего не надо! Параска, улучив момент, когда Башлыков отвернулся, покачала сердито головой: что это выдумала? Но Ганна делала вид, что не понимает Параскиных знаков, старалась скрыть волнение. Сказала то, что надо было. Дошло там до них или не дошло, а хоть себя поставила как следует.

Спор этот, внезапная злость, которая еще жила в ней, отдалили снова Башлыкова. Теперь уже и следа не осталось того удивительного понимания, которое было там, на кухне, и сначала здесь, за столом. То настораживающее, что появилось вдруг здесь, было совсем иным, оно сразу отъединило, сделало их чужими.

На минуту Параска куда-то вышла, и, когда они остались один на один, это настороженное отчуждение ощутилось еще острее. Недоброе, напряженное было молчание...

Ганна была довольна, когда Параска вернулась. А та мгновенно все поняла.

Когда поужинали, Ганна стала прибирать со стола. Параска весело помогала ей: собрала то, что Ганна не могла забрать, следом за ней вынесла на кухню.

Она почти сразу же вернулась к гостю, а Ганна осталась на кухне: мыла, вытирала посуду, складывала на полочку над лавкой. Быстро закончив, остановилась в раздумье: что же теперь делать? Можно бы и вернуться в комнату, но она сдержала себя. Чего ей торчать там с ними? У них свой интерес, свой разговор.

Как ни старалась она не слушать, слышала, в комнате говорили. В ровную, скупую на слово речь гостя вплетался звонкий, наигранно веселый и уверенный Параскин голосок. Гость, заметила, говорил мало, разговор шел все время с перерывами, но эти молчанки, что наступали там, волновали Ганну больше, чем сам разговор. Возможно, не так просто они там молчали.

Каждый раз после такого молчания голосок Параски, казалось, пел все

веселее. «Только им меня там не хватает», — насмешливо подумала Ганна.

Однако сидеть на кухне одной мало радости. Не зная, как поступить, она пожалела, что в школе тихо, пусто, что люди так долго собираются. Не торопятся на сход. И вообще не торопятся. А сегодня так особенно.

Она прошла в темный коридор, мимо Параскиных дверей, откуда сквозь щель внизу прорезывалась веселая полоска света. Остановилась на крыльце. В темноте чернели хаты и сараи, молчаливые, затаенные. Ни одного голоса на улице. Если бы не редкие тусклые огоньки, можно было бы подумать, что село заснуло. Что никто на сход не придет.

С болота, с севера, густо шел холодный, леденящий ветер. На свету из Параскиного окна время от времени мелькали крохотные, еле различимые снежинки. Как бы дразнили, обещая давно ожидаемый снег. Раздетая, в ситцевой кофте без платка, Ганна охотно терпела холод, который забирался за воротник, полз по спине, сжимал с боков. Сдерживая дрожь, что пробирала все сильнее, она чувствовала, как утихает печаль, одиночество, нелепая зависть чужому счастью.

«Надо ж, дурная, позавидовала!.. Как будто мало испытала етой радости! Закаяться навеки надо, кажется, если б немного ума поболее!.. Дак нет, не забыла еще вкуса той „радости“, как уже зависть берет на чужую!.. И на чью?» До нее снова донесся веселый голосок из-за окна, и Ганна подумала: «Рада... И пускай радуется! Пускай тешится, если удастся!.. Не у всех же так нескладно должно быть, как у меня!.. Должно же быть у кого-то счастье! А если должно, то прежде всего у таких, как она. Как Параска. Такая каждого сделает счастливым».

Она вспомнила, как Башлыков появился, как ходил по комнате, погруженный во что-то свое. Молчаливый, скрытный, недовольный, он не очень изменился и тогда, когда вбежала Параска. Не очень обрадовался. Принесет ли он ей счастье? Счастье делает не один человек... Она вспомнила, соседка их, Галина Ивановна, говорила, что Башлыков не раз когда-то заезжал к Параске. Чего ж теперь так долго не навещался? Занят был? Да разве долго ему свернуть с дороги? Заглянуть хоть на минутку? К тому же этот сегодняшней приезд можно и не считать. Неизвестно, к кому он прежде всего приехал. Появился вон только теперь, когда обошел село...

«Как поглядишь, так и не знаешь, любит ли он ее», — мелькнуло в голове, и она не почувствовала, что жалеет Параску. Показалось даже, довольна, что у них, может быть, не все гладко. Ей стало неловко, гадко за себя, будто рада беде Параски, своей избавительницы, и она обозлилась на себя. «Любит, не любит, не знаешь! А тебе что до того?! Любит! Любит обязательно! Коли не дурак!»

Мысли ее вцепились в него. Будто увидела снова, как стояла рядом, поливая водой из корца. Почувствовала силу его руки, когда помогал вылезти ей из погреба. Посидев с ним за столом, послушав его скупые твердые слова, она мало что узнала о нем. Углубленный в себя, скрытный, он будто нарочно прятал в себе то, что у него на душе. Только одна Ганна хорошо поняла; ей это особенно бросилось в глаза и сразу подняло, возвысило Башлыкова среди других.

«Этот знает, куда идти и что делать. И сделает, что бы там ни было», — подумала она теперь особенно ясно. И оттого, что в теперешней ее жизни это было самым важным, что от этого зависело все в ее судьбе, почувствовала большое уважение к нему. «Не нам ровня», — признала она его превосходство. А то, что так мало знала его, что он был непонятен, еще больше придавало ему значения.

«Не нашего поля ягода...» Кто-то скрипнул дверьми, вышел на крыльцо, и она оглянулась. Параска.

— Ты чего здесь? — удивилась та.

— А от постоять захотелось... — Параска была в пальто, в платке. — А ты куда?

— В село. Чтоб не сорвали сход, чего доброго.

В голосе ее Ганна уловила скрытую грусть. Почувствовала вину за недавние мысли, пожалела Параску.

— Иди в хату. Простудишься. — Параска сошла с крыльца, пропала в темени.

Вернувшись в хату, на кухню, Ганна долго не могла согреться. Прислонилась спиной к теплой печке, вжимала ладони в теплынь оштукатуренного кирпича, сдерживая дрожь, слышала за дверьми мерные непрерывные шаги. Раз-другой шаги приближались к самым дверям, приостанавливались, и она невольно ждала, что Башлыков войдет. Но шаги отдалялись. Она подумала, что скажет, когда Башлыков заговорит с нею. Скажет, что он черствый и нелюдимый, если плохо обошелся с таким человеком, как Параска. Даст ему хороший урок.

Потом она перестала ждать, поняла, что не зайдет. У него свое на уме. Своя забота. Совсем иная. Подумала привычно, может, зажечь уже лампы в классах, но удержалась — рано еще. Зачем освещать пустые комнаты. Тем более что сходка будет, наверно, долгой. Сколько еще керосина сгорит...

Ганна обрадовалась, когда услышала шаги на крыльце. Схватила спички, кинулась в коридор. Пришли Борис Казаченко и Дубодел.

— Почему без света? — не столько спросил, сколько пригрозил Дубодел.

— Нема для кого светить, — спокойно ответила Ганна.

— Потому и нема никого, что темно — повысил голос Дубодел. — Кто пойдет, если темно в окнах!

— Кто захочет, придет.

Открылась дверь из Параскиной комнаты, и в светлом проеме появилась фигура Башлыкова. Оттого, что свет был сзади, фигура виднелась темной и лицо едва было различимо. Башлыков повел головою, оглядывая всех, должно быть стараясь понять, о чем шла речь.

— Ну что? — спросил он через мгновение Дубодела строго и требовательно.

Дубодел стоял, вытянувшись, всем своим видом подчеркивая уважение и преданность. Будто и не он только что грубил Ганне.

— Объявили, — отрапортовал четко.

— Всем? — Голос Башлыкова звучал по-прежнему требовательно.

— Всем. Некоторым по два и три раза.

— Всем, — помог Дубоделу Борис.

— Света вот нет, — Дубодел как бы позвал Башлыкова на помощь, снова угрожающе посмотрел на Ганну.

— Да будет свет! — Ганна засмеялась не без издевки.

Не торопясь, с достоинством вошла в темень класса, засветила лампу в одном, в другом помещении. Двери между ними были раскрыты на одну половину, она сняла крючок и распахнула двери во всю ширину. Распахнула двери и в коридор.

Башлыков, а за ним Дубодел и Борис вошли в класс. Башлыков придирчиво осмотрел помещение: парты, проходы между ними, плакаты на стене. Все молча, неизвестно что подразумевая. Не сказал ничего, легкими, твердыми шагами пошел в другой класс, осмотрел и его также. Ганна с интересом следила за ним, теперь он предстал перед нею еще более непонятным, загадочным.

Вернувшись в первое помещение, он остановился у дверей, повернулся к Дубоделу и Борису, сказал весомо:

— Надо обеспечить стопроцентную явку колхозников. Все до одного должны быть.

Он говорил и смотрел так, будто хотел внушить, как все это важно. И как бы предупреждая, что вся ответственность за неявку ляжет на них. Вместе с ответственностью за то, что уже случилось.

— Мы объявили уже по два, по три раза, — начал было Дубодел, будто успокаивая и вместе с тем показывая свое старание. Но Башлыков так глянул, что он умолк. Оправдываясь и стараясь подкрепить впечатление

деловитости своей, прибавил осторожно: — Не только актив, и школьников мобилизовали, чтоб проследили за явкой!

— Оно и видно, как вы мобилизовали! Так что выправлять положение надо!..

Башлыков, недовольный, пошел в Параскину комнату. Дубодел и Борис стояли, должно быть раздумывая, что делать, потом Дубодел решительно закинул военную сумку за спину, бросил Борису:

— Пошли! — и они исчезли в коридоре.

Ганна осталась в классе. Стараясь не слышать шагов Башлыкова в комнате и вместе с тем странно ловя все, что оттуда шло, остро чувствуя, что он там, беспокойный, тревожный, она нетерпеливо ждала, когда же это послышатся голоса на дворе, когда же это начнут сходиться. Она обрадовалась, когда на крыльце послышались топот и возня за дверьми: сразу догадалась, что дети, охотно открыла двери и весело приказала входить.

Ввалилась сразу целая орава мальчишек и девчонок — школьников. Выглядывая из коридора на свет, все вдруг сбились около дверей, притихли, посматривая настороженно на Ганну, стали подталкивать друг друга, шмыгать носами. Ганна попросила их пройти, они с минуту колебались, несмело двинулись к партам, расселись.

«Первые посетители. Активисты!» — невольно пошутила про себя Ганна.

— Что ж это вы родителей не привели? — упрекнула она уже серьезно детей.

Ей ответил разноголосый гомон:

— Придут еще...

— Собираются...

— Угу, послушается он меня!..

— Возьются где-то!..

Она скоро почувствовала себя здесь лишней и вышла на кухню. Попробовала заняться делами, хоть сдерживала себя, но невольно прислушивалась к тому, что происходит за дверьми, в Параскиной комнате, пыталась догадаться, о чем думает, что чувствует этот необычный, непонятный ей человек. «Тьфу, прилипло!» — озлилась она вскоре на себя и направилась в класс, куда, слышала, зашли несколько человек. В классе были женщины, среди них Ганне сразу бросилась в глаза давняя знакомая Годля, глинищанская швея, и рослая, дюжая тетка Маня, о которой тоже слыхала в Куренях, но с которой познакомилась только недавно. Про тетку Маню шли слухи, видно, далеко, говорили: как-то в Алешниках, около

мельницы, где собралась большая толпа мужиков, сцепилась она с ними. С одним, с другим, с пятым — и всех положила. С той поры по селам шла молва, что нету такого мужика, которого она не поборола бы. Дымила сигаркой еще одна недавняя знакомая, сухая и злая с виду, как ведьма, старуха, которую почему-то звали Гечиха. Из мужчин был один Годлин муж Эля; втиснув под парту длинные ноги, курил с Гечихой, держал сигарку деликатно, но неумело. Курил, видно, чтоб не уронить свое мужское достоинство.

Почти сразу за Ганной с улицы заявился Апейка с Миканором и Гайлисом. Стянув с головы высокую шапку, расстегивая ворот поддевки, Апейка окинул взглядом класс, громко и весело заметил:

— Самые смелые уже пришли!

— Аге! Можно и начинать! — откликнулась хриплым басом Гечиха.

— Начнем! — бодро заверил Апейка. — Только вот немного подождем других, чтоб не попрекали потом, что без них.

Он прошел к партам, стал здороваться за руку: с тем, кто помоложе или равным ему по годам, как равный, как товарищ, с женщинами и старшими — более сдержанно, учтиво. Почти все время шутил. Гайлис стоял у дверей, тонкий, в застегнутой шинели, смотрел строгими голубыми глазами, ждал. Костистое, со сжатыми губами лицо было сосредоточено, не улыбочиво.

Они пошли затем в Параскину комнату. Почти сразу после этого с улицы вернулся снова Борис Казаченко. Озабоченно окинув взглядом класс, он заглянул в соседний, сказал иронично:

— Куда ж ето мужчины все поделись? Или мужчин уже не стало в Глинищах?

— Жалеем!.. Бережем!.. — ответила вызывающе-задиристо одна из женщин.

— Мы что, не люди?

— Аге! Только бы вам мужчин!

— Тетка Агапа, а где ж ето ваш Петро? — не уступал, насмешливо подкалывал Борис. — Чего ето он вас прислал за себя?

— Занедужил что-то, Бориско...

— И ваш Апанас занемог? — так же ядовито поинтересовался Борис уже у другой женщины.

Не стал слушать, покачал головой с упреком, с возмущением.

— Эх, люди!..

Он собрал детей, разослал по селу — звать мужчин, и сам снова сразу же вышел вслед за ними.

Подоспели еще несколько мужчин. По два, по одному. В свитках, в кожихах. Высунувшись из темени на свет, хмуро щурились, настороженно оглядывались и, втянув голову в плечи, старались пробиться между женщинами, укрыться за спинами передних. Несколько мужчин в класс не зашли, толпились в полутьме коридора, нервно дымили сигарками. В полумраке около дверей дымил сигаркою и Черноштан Павел — председатель бывшего колхоза. Дымил, и, заметила Ганна, было ему не по себе...

Время от времени то там, то здесь завязывался разговор, но он почти сразу же обрывался. И в коридоре, и в классах нависло молчание, недоброе, настороженное. Сосредоточенное ожидание, чувствовалось, наполнило людей. Эта сосредоточенность все усиливалась.

В молчании и сосредоточенности особенно выделялись двое мужчин, что сидели у стены, как будто нарочно на самом виду. Один — багроволицый, удивительно беспечный, должно быть, пьяный, а другой — худой, иссушенный работой, в кепочке на макушке. Багровый, покладистый и говорливый что-то рассказывал, наверно, непристойное, ибо мужчины, хоть и невесело, посмеивались, а женщины отворачивались, плевались. Сухой, в кепочке, не смеялся, усевшись на край парты, озирался вокруг бесстрашно и задиристо, будто только и ждал, чтобы сцепиться.

Глава четвертая

1

Было очень поздно, но все не начинали. Все собирали людей. В классах густо висел дым и все чаще слышались недовольные голоса:

— Докуда ж его ждать? До утра, что ли?

Наконец двери Параскиной комнаты открылись, и в них появились озабоченный Борис, за ним Дубодел, важный, весьма энергичный. Следом вышли сдержанный, с твердой походкой Башлыков, спокойный, казалось, беззаботный Апейка, собранный, напряженный Гайлис, застенчивый Миканор. Последним, виновато сутулясь, ступал Черноштан.

Гомон, что пробивался то там то тут, сразу опал, но в соседнем классе кто-то не умолкал. На него зашикали:

— Тихо вы там! Начинается уже!

Борис подошел к столу.

— Дак есть предложение избрать президиум, — объявил он в тишине.

Прочитал по бумаге список. Возражений не последовало, проголосовали. В том, как сдержанно подымали руки, как настороженно молчали, ожидая дальнейшего, чувствовалось, что обстановка обострилась. Молча же, с настороженностью следили, как усаживались за столом Гайлис, Апейка, Башлыков. Даже на своих односельчан, что шли в президиум, смотрели недоверчиво.

— А вы, тетка Марья, почему не идете? — заглянул Борис в класс.

— А чего я там не видала? — ответила прокуренным голосом Гечиха.

— Избрали. Значит, надо идти.

Гечиха отрезала:

— А я не хочу!

Взметнулся и сразу утих смех. Борис готов был вступить в спор, но Апейка предупредил: не надо! Начинай собрание.

Борис сдержался. Помолчал, настроился на иной лад.

— Вот что мы наделали с вами, дядьки и тетки, — начал он таким удрученным тоном, будто просил всех разделить общую большую беду. — Наделали такого, что на весь район шум пошел. Все районное руководство бросило другие дела и сразу прибыло к нам в Глинищи. На все Глинищи мы положили пятно, на целый район. Просто стыдно глядеть в глаза людям

оттого, что про наши Глиници идет такая слава. Что у нас такой несознательный народ... Надо одуматься, пока не поздно! Кто еще хочет сказать? — обвел он глазами зал.

— Дай мне! — встал с подоконника Дубодел. Еще до того, как Борис дал согласие, Дубодел двинулся к столу президиума.

Мгновение стоял молча среди сосредоточенной тишины. Вытянул шею, вскинул голову, решительный, неколебимый.

— Граждане, а также гражданки села Глиници! И особенно колхозники, которые разобрали свое имущество и тем самым вышли из колхоза «Рассвет»! — голос его звучал настойчиво и призывно. Нервно подтянув замусоленный хлопчатобумажный пиджачок, Дубодел, остроплечий, с костистым лицом, на котором кривился, дергался синеватый шрам, стремительно бросился в наступление — Тут уже Борис Казаченко, который передо мной говорил, в своем выступлении правильно сказал, что вы своим вчерашним поступком положили пятно на все село, но он не сказал, что это пятно легло не только на ваше село, а и легло на весь сельсовет, Алешницкий сельсовет, а также и на весь Юровичский район. Потому что своим поступком, всем тем, что вы сделали, а именно — тем, что вы самовольно расхватили в прошлом частных коней и коров, а также свои, в прошлом частные телеги, плуги, бороны и весь другой обобществленный инвентарь, вы показали всему народу, какое у вас еще мужицкое, неколхозное нутро. Вы думаете только про свою выгоду, и вам наплевать на то, что делается в передовом нашем районе и в нашем округе, а также в нашем Советском Союзе, который в данный момент окружен разной буржуазией, которая из всех сил старается задушить наш Советский Союз, а именно — старается сорвать нашу пятилетку, нашу индустриализацию и коллективизацию, нанести ей смертельный удар!



Дубодел говорил почти без передышки, высоким голосом, обвинял, призывал. По тому, как он говорил, чувствовалось, что для него не так важны сами слова, мысли, которые часто беспорядочно повторялись, сколько тон выступления, тот запал, которому он не давал затухать ни на секунду.

— Во режет! Как репу грызет! — сказал кто-то около Ганны в полутьме коридора. Она уловила в голосе неприязнь.

Старается! — откликнулся кто-то другой, хрипатый, простуженный. —

Пропился, полетел из сельсовета, дак теперь из кожи лезет!

— Начальство ж вон рядом сидит! Заметит, можа?

— Аж охрип! И затылок взмок!

Затылок действительно взмок от пота, Дубодел то и дело лихорадочно вытирал его ладонью. Голос его все больше оседал, хрипел, он все чаще вынужден был останавливаться, прокашливаться. Однако и не думал кончать свою речь. Ганна не впервые удивлялась настойчивости и упорству его. Удивление и ее, и тех, что смолили сигарки рядом в полутьме, не только не вызвано было каким-либо сочувствием, а наоборот, было резко неприязненным, за всем тем, что говорил Дубодел, она все время чувствовала его, уже давно и неприятно знакомого ей. «Дал же бог силу человеку и упорство!» — насмешливо думала она, терпеливо ожидая, когда он обессилеет. Обводя острым взглядом лица сидевших в классе людей, видела, многие из них тоже не слушали и ждали того же самого. Очень уж хорошо была известна всем его особа, этого горячего оратора! Ганне захотелось узнать, как слушает Дубодела Башлыков, но из коридора ей видна была только его спина. Все же она утешила себя: «Етого не проведет, наверно! Видал уже таких, не иначе!..»

2

Гайлис после Дубодела заговорил, показалось, необычайно спокойно, тихо. Подтянутый, в военном кителе, с аккуратно зачесанными назад русыми волосами, стоял он за столом и неторопливо, старательно выговаривая каждое слово, выразительно подчеркивал каждую мысль.

— Были недостатки в работе. Это верно. Были. И недостатки немалые. Большие... — Люди и в коридоре, и в комнатах смотрели молча, внимательно, выжидали. Он же спокойно, весомо укладывал, будто кирпичи: — Честные люди работали, а получали мало. Двести граммов за день. Это не получка. Килограмм картошки — тоже не получка!..

— Не получка! — выдохнул кто-то рядом с Ганной.

— Правильно!

В коридоре и в комнатах забурлили горячие голоса, поднялся шум. Гайлис неподвижно, будто не замечая, постоял, переждал его.

— Мало кормов заготовлено, — продолжал он ровным голосом. — Скотину весной нечем будет кормить. Соломой придется кормить. Значит, скотина будет голодать... это уже видно... — Каждое слово латыша отзывалось среди слушателей беспокойным гулом. В коридоре так гудели,

что Ганне трудно было слушать. Кто-то из мужчин не выдержал, крикнул:

— Тише вы!

Слушая, как слово за словом Гайлис рисовал невеселое положение в колхозе, как нарастал недобрый гул, Башлыков, отметила Ганна, нетерпеливо повернулся к нему. Видать, был недоволен его выступлением. Однако Гайлис не заметил — или не хотел замечать — башлыковского взгляда; вел и вел разговор про беды и неудачи колхоза. Только обрисовав положение, остановился.

— Конечно, тут дыма без огня не бывает, — будто вслух подумал он. — Есть всякие причины. Вина есть... Виновато руководство колхоза. Правление, председатель товарищ Черноштан. Это правильно... Но, — голос Гайлиса помощнел, набрал силу, — виноваты не только они. Не одно руководство. Виноваты вы сами! Колхозники. — Он переждал гомон неудовольствия. — Какой урожай собрали?!

Он смотрел в зал, как судья, ждал ответа. Ответил Борис Казаченко:

— Жита — четыре с половиной центнера с гектара, картошки — двести тридцать пудов...

— Вот! Это не урожай!.. — строго отчеканил Гайлис. — Почему так получилось? — Он оглядел притихший класс, потребовал ответа. Все молчали. Ответил сам: — Так получилось потому, что плохо пахали. Плохо сеяли. Плохо убирали... Работали не так, как на себя. А как на панов! — В темноте коридора завязался какой-то спор, в классе снова нарастал шум, однако Гайлис не обращал на него внимания, упорно вел свое. — Много добра расхитили. А никого не поймали. — Гайлис судил непримиримо: — В колхозе не было порядка, дисциплины. А без порядка, дисциплины нету работы. Или есть плохая работа... — Он говорил убежденно: в колхозе должна быть хорошая дисциплина. И надо трудиться, как на себя, а не как на панов! Закончил, как распорядился: надо вернуться в колхоз! Укреплять его!

Когда он сел, в обоих помещениях волнами заходил галдеж. Говорили, спорили и в коридоре, и около Ганны, торопливо затягиваясь сигарками. Больше было, слышала Ганна, недовольных, однако Гайлис хоть бы шевельнулся за столом.

Поднялся Борис.

— Кажется, много охотников выступить появилось? — в голосе его была издевочка. — Дак кто хочет сказать слово?

Гул начал быстро стихать. Почти все глаза уставились на Бориса, однако никто не просил слова.

— Неужели нет охотников?! — не без насмешки удивился Борис. —

Столько ж вон гудело!..

— Нехай начальство говорит! — крикнул задиристо худой, с кепочкой на макушке.

— Начальство уже говорило! Хорошо было бы послушать и народ!

— Послухаете вы! — врезался злобный голосок.

— Аге!

2

Снова пошел недобрый гомон. Борне объявил, что выступит Миканор, секретарь Алешницкой партячейки. Миканор стоял смущенный, ссутулившийся, пока Борис просил стихнуть, послушать.

— Уже и куреневцы учить будут! — зло выкрикнул кто-то в полутьме.

— Не говори! Все лезут!

Ганна от неожиданного выпада замерла, покраснела. Затаив обиду, особенно ревниво следила за Миканором: будто ему надо было защитить честь не только свою, но и ее, и всех куреневцев. Почувствовала его вдруг самым близким себе — один он был здесь из ее родного уголка, из ее молодости.

Миканор начал также с укора. Все смотрели на Глиници как на передовую деревню, как на пример для других, на который надо всем равняться. А вышло так, что именно Глиници показывают теперь пример того, как не надо делать.

— От ты и покажи! — перебили его насмешливым окриком.

Борис громко застучал по столу, попросил не перебивать. Миканор переждал шум. Не захотел ввязываться в спор. Колхоз распался, сдержанно продолжал развивать ту мысль, которую перебили, и это в такое время, когда Алешницкий сельсовет в целом повернул на новую дорогу. Когда у нас, не секрет, есть немалые успехи, особенно в колхозе «Коммунар» и других. Перебарывая шум, что стал расти, Миканор тут же отметил рассудительно: конечно, у нас есть и колдобины, и у других, бывает, не гладко все идет. Он долго говорил о том, как тяжело было сначала налаживать колхоз в Куренях и как не ладилось раньше в «Коммунаре». Затем стал рассказывать про то, что надо сельсовету сделать в этом году. Говорил обо всем, что приходило в голову, разбросанно и на редкость для него неуверенно. Слушая, Ганна чувствовала, что история с глинищанским колхозом угнетает его, что он не верит, будто сход может поправить дело. И

говорит только потому, что надо говорить, по обязанности. Ганне понравилось, что он почувствовал настроение людей и не задибался, как обычно в Куренях, говорил сдержанно, скромно.

За ним Борис звонким, довольным голосом объявил:

— А сейчас выступит наша учительница Параскева Андреевна Дорошка.

Параска пошла к столу своей легкой, пружинистой походкой, чуть поводя привычно плечами, с задорно поднятой головой. Уверенно положила руку на край стола, окинула взглядом сход. Ганна видела, прямо на глазах произошло необычное — хмурые, недоверчивые лица в зале яснили. Глаза глинищанцев смотрели доверчиво, заинтересованно...

— Вот здесь Борис сказал, — весело кивнула она ему, — сейчас выступит учительница!.. Я учительница. Я человек, которому по закону надо учить. Меня для этого готовили. Мне для этого дали много разных советов. — Параска все держалась того же доверительного, непосредственного тона. — Конечно, могут найтись такие умные люди, которые скажут, что я не вообще учительница, а школьная учительница! Что моя задача одна — учить школьников! Да еще школьников начальных классов! Самых малых! Но так могут сказать только люди, которые носа не высовывали из города. Не знают, кто такой учитель в деревне!.. Учитель в деревне, — в голосе послышалось озорство, — и кум, и сват, и черту брат! Обязан уметь научить всему и малого и старого! Он не может сидеть только в школе и не видеть того, что творится на улице!.. И вот я также, на столе каждый вечер гора тетрадей, стараюсь не сидеть только в школе. Откладываю тетради на ночь, выхожу в село! Поглядеть, кто чем занимается! И что вообще у нас делается!.. Вот я и теперь гляжу, стараюсь разобраться, что ж это у нас происходит! — Ганну не удивляли ни бойкость, ни нарочитая Параскина искренность — хорошо знала Параску. Видела, что недаром она старалась подступиться. По коридору, по классу шел согласный, одобрителный гул. Женщины вздыхали, кивали головами: правду говорит, ходила, глядела, помочь старалась. — Видела я, как говорили, беседовали все. И дядька Змитро, и тетка Марья, и тетка Гечиха, и все другие... Видела я, как горевали, и думала себе: ничего! Теперь тяжело — потом легче будет! Наладится!.. Быть не может, чтоб не наладилось! У других же идет на лад, почему ж у наших не наладится?.. Разве ж наши хуже, чем другие? Разве у наших руки хуже или работать они не приучены? Или не такие умные?.. — Параска горько пожалела: — А вот же не вышло у нас!.. Почему?! — Ганна с нетерпением ждала, что она дальше скажет, куда поведет дальше. Параска не ответила сразу. Только искренне, от души

сказала: — Я знаю, каждому из вас больно. И мне тоже больно, очень больно... А если болит, то хочется кричать, а не думать!.. Но не надо и горячиться очень! — осторожно посоветовала она. — Надо подумать хорошенько. Подумать, как сделать, поправить все, что не так!..

— Думай не думай — одна лихоманка! — перебил ее чей-то безнадежный басок, видать, Гечихи.

— Поломалось все, сам черт не разберет!..

— Нема чего поправлять!..

— Не сбивай хоть ты, Параска!

— Я разве говорю, что легко... Больно, говорю, и мне... Трудно это... Только не надо горячиться. Подумать трезво надо...

Она говорила и теперь искренне, с сочувствием, с опытной осведомленностью, но ее уже, как и Миканора, не раз перебивали, слушали несогласно. Спорили, правда, мягче — сдерживали, видать, давнее уважение к Параске и ее деликатность сочувственная. Все ж она, хоть и скрывала это, но, было видно Ганне, держалась неуверенно, терялась. Сбивалась в разговоре, нелегко подыскивала доказательства. Она, всегда такая находчивая, быстрая...

Апейку встретили настороженным вниманием. Он же поднялся с ленцой, с какой-то небрежностью клонил голову. Во всей фигуре была странная расслабленность.

— Была у нас когда-то история... — мирно, покладисто заговорил он. Заговорил так, будто колебался, говорить или не говорить. — Я был тогда еще сопляком. Чужие огороды проверял... Поженились у нас парень с девкой. Он был наш, через две хаты жил, Иваном, конечно, звали. А девка из-за реки, из Барбарова, Алена... — Он пальцем равнодушно почесал макушку. Вспомнилось, вот и говорит. Глаза смотрели на него в большинстве спокойно. Кое-кто с интересом. — Девка как девка. И парень как парень... Но вот поженились, отделили их. Хатку родня склепала. Стали жить себе. Сами по себе... Не лежебоки. Старательный парень он. И она тоже. Как муравьи. С утра до вечера в поле, в сарае. Стараются оба... Не лежебоки... А вот что вышло... Посеяли. Низинка у них была. Так весной все вымокло. Сена накосили. Дождь. Погнило... Зимой у нас около реки ночи длинные. И лучины мало. Да дело молодое — летом она уже рожать собралась. А времени нету. Все на бегу. На бегу, в борозде и

родила!.. Мертвое!.. Как накаркал кто, то одно, то другое. Как напасть какая! Не там — так тут!.. Правда, если разобраться, так и сами кое в чем виноваты. Молодые, неопытные... Оно, может, и ничего бы все, мало у кого не бывает! Только ж они ко всему были и горячие. Как вот некоторые у вас, в Глинищах! — поддел вдруг Апейка. Борис засмеялся. Засмеялись еще некоторые из тех, что смотрели в упор. — Она, что не так, — на него, он — на нее. Такая-сякая! А бывало, и с кулаками!.. Она стоила его. Он ей слово, она — два! Век на их дворе крик! Как на Юровичском базаре в воскресенье! — опять пошел смешок. Апейка же спокойно повел дальше: — Дрались, дрались. Не выдержала она — сбежала! Муж ее сначала: ну и ладно! Может, и к лучшему! А потом жалко стало. Да и гонор мужской, наверно, заговорил!.. Одно — когда ты бросаешь, а когда тебя — это совсем другое!

— Аге! — сочувственно отозвалось несколько голосов. Больше женщины.

— Защемило в Ивановом сердце! — посочувствовал Апейка. — А тут мать с отцом уговаривать: «Где это видано такое! Позови!..» Уговорили. Сели на паром — и через реку. Что там было, не слыхал. Не скажу. А только привозят ее... Важная приехала!.. Но все-таки уже не кричит! Про него и говорить нечего — тише воды. Обходительный, не узнать! Людям уже скучно стало — спектакля нету!.. Зимой он — на заработки в лес. Весной хорошо унавозил землю, посеял в пору. Лето удачное. Хорошо поспело все. К хлебам — сено хорошее... Порядок пошел... Давно это было, — задумался, стал строже голос Апейки. — Когда я еще телят не гонял. Давно уже оба постарели. А живут все вместе. Живут не хуже, чем люди... Всяко, правда, и теперь порою бывает — заговорит вдруг горячая кровь. А не дерутся, как бывало. И не разбегаются в разные стороны. Знают, жизнь прожить — всякого повидать. Не надо сразу в панику!.. — Не понять было сначала, то ли он просто рассуждал, то ли советовал. — Всякое хозяйство трудно складывается. Не сразу, бывает, все складно выходит. Надо порою притереться, как говорят. Это что касается семьи, двух человек. А что говорить уже о большом хозяйстве. О колхозе.

Он помолчал. Как бы давал подумать о том, что сказал, или собирался с мыслями.

— Вот тут я и хотел бы объяснить, что думаю о вашем колхозе... — Он говорил по-прежнему буднично, но очень серьезно, значительно. — Вы можете сказать, что, дескать, поздно. Однако я думаю, что осмотреться с толком никогда не поздно. Надо разобраться, выяснить все. Надо понять: что ж такое случилось? В чем причина, что так случилось? Я согласен с

тем, что сказал товарищ Гайлис об урожае и о дисциплине. Я считаю, что товарищ Гайлис особенно правильно подчеркнул большую вину всего руководства. В том числе и нашу вину, что не поправили вовремя, не предупредили... Мы из этой неудачи сделаем выводы. Мы поправим ошибки. — Он окинул взглядом всех, кто был в президиуме, как бы показывая: то, о чем он говорит, все готовы взять на себя. Черноштан смотрел исподлобья на стол, вид был такой, будто эта вина угнетала его больше других. Как на суде подсудимый. Гайлис тоже, казалось, готов был признать свою долю вины. Башлыков, похоже, вины за собой не видел. Апейка будто не заметил этого, кивнул в зал: вот, признаем вину свою. — Но и вы должны признать свою! — Он, однако, не стал ворошить особенно: зачем перебирать то, что было, оно и так хорошо известно. Виноваты все. Лучше подумать вместе, как сделать, чтобы не повторилось такое. — Вот я и хотел бы посоветовать на будущее... Что надо учесть вам?.. Первое, — сказал он, — не кормить больше бездельников и трутней! Кормить только тех, кто приносит пользу. В зависимости от пользы, которую каждый дает. Кто больше — тому больше, кто меньше — тому меньше. А тому, кто бока пролеживал, дулю!.. — Беспокойный гул одобрил его. — Надо наладить хороший учет. Все учитывать: работу, прибыль, получку. Каждую копейку, каждый грамм — на учет. А всем, у кого руки очень длинные, по рукам... Одним словом, контроль во всем. Строгий контроль. Если не установите контроль, все пропадет. Никакого добра не хватит!..

«Вот хитрый, — подумала Ганна. — Говорит так, будто они в колхозе еще! На колхозное настраивает!..» Заметила, речь Апейки растревожила людей; переговаривались, шумели, доносились крики с мест, но то были уже деловые выкрики, упрекали — кормили трутней, разбазаривали добро!..

— Кто работал, кто не работал — все одно! Каждому палочка!

— Кто урвал, тот и съел!..

— Какая тут охота стараться! Шею гнуть!..

— Все по ветру пошло!..

Когда Борис встал, шум, возгласы стали быстро стихать. Он дождался полной тишины, торжественно объявил:

— А сейчас выступит секретарь райкома товарищ Башлыков!

Глаза всех, множество глаз смотрело только на него. Перестали

дымить в коридоре, подступили к дверям. Столпились так, что нельзя было шевельнуться. У Ганны сдавливало дыхание.

Видя, как смотрят на него, как ждут, что он скажет, понимая, как трудно будет ему разбить настороженность, Ганна вдруг начала волноваться за него. Ее не успокоило и то, что он, заметила, держался независимо, уверенно...

И тон, и вид его показывали, что то, о чем он должен будет сказать, очень важное и не очень-то доброе и отнестись к этому всему надлежало серьезно.

Он начал с международного положения. Главная особенность международного положения СССР, сказал он, в том, что Советский Союз — единственная рабоче-крестьянская держава — со всех сторон окружен капиталистическими государствами, которые ведут яростную борьбу с нами. С той же строгостью на лице, с жесткими волевыми складками у рта Башлыков стал гневно рассказывать о разных диверсиях и вредительствах, которые организывают капиталистические государства и их приспешники для того, чтобы сорвать строительство социализма в СССР и наконец уничтожить Советский Союз. Отнять заводы у рабочих, у крестьян землю. В своей звериной ненависти к Советскому Союзу, видя, что Советский Союз не только не гибнет, а становится все сильнее, они упорно вынашивают планы кровавой войны против нас. И тон, которым все говорилось, и то, что рисовалось за словами, особенно угрожающее — отнимут землю, пойдут войной, принесут уничтожение, смерть, — это сильно подействовало на всех, кто слушал. Легла тишина — тревожная, тяжелая.

Война в любой момент, продолжал Башлыков, готова ворваться в наши города и села. В наши хаты. Жечь наше добро, принудить ютиться по лесам наших детей, наши семьи. Война все время стоит у границ Советского Союза. Враг готов использовать любую нашу промашку, любой удобный момент. Это обязывает нас быть все время наготове, держать порох сухим. Не допускать никакой слабости в наших рядах.

Ганна ловила каждое его слово. Его озабоченность, тревога и его гнев волновали Ганну, вводили ее в мир, которого она не знала и который, оказывается, так угрожал ей, всем людям, и этим, и многим другим на свете, что живут беззаботно, слепо. Его беспокойство за все это, и среди всего также и о ней, снова незаметно сближало ее с ним, объединяло. Возбужденная, захваченная тем, что он говорит, она снова и снова удивлялась, как он много знает. Знает, что делается во всем мире. «Было за что поставить над районом! — подумала с гордостью и неотступной

ревностью. — Есть же такие образованные!..»

Ей нравилось и то, что он иногда говорит не так, как другие, непонятно, по-ученому: до того образованный, дотянуться непросто.

Строгим, взволнованным был Башлыков и тогда, когда начал рассказывать, что происходит в нашей стране. В СССР большевистское наступление, открыто сообщил он, идет в непрерывной борьбе с самыми разными вражескими силами, которые всеми способами стремятся подорвать нашу страну изнутри... Несмотря на то, что большевистская партия ведет бой с врагами всех мастей, это сопротивление не только не затихает, а все обостряется и создает еще большие трудности на нашем пути. И если мы все же добились огромных успехов в строительстве социализма, то это только говорит о непобедимой силе Советского Союза... Голос Башлыкова подобрел, даже повеселел, когда он с восхищением, со многими примерами начал рассказывать, как преобразует Советскую страну индустриализация, что разворачивается по плану пятилетки. Далекое Магнитогорск, Челябинск, Харьков вдруг оказались совсем близкими родственниками и помощниками их Глинищам, их надежными защитниками. Правда, Ганна заметила, что тут внимание к Башлыкову и его влияние на людей заметно ослабели. Люди гудели, рассеивалось внимание, в глазах появилось недоверие. Будто говорил о необязательном и о том, о чем можно гадать по-разному. В этот момент речь Башлыкова во многом утратила свою силу, свою значительность.

— Что мы имеем в сельском хозяйстве? — Башлыков сделал паузу, как бы давая время подготовиться к новому, очень важному. В голосе его были тревога и твердое мужество, когда он начал говорить, что наступление в деревне особенно обострило бешеное сопротивление вражеских элементов, которые, предчувствуя свою близкую гибель, не останавливаются ни перед чем. Тут Ганна почувствовала, как зал снова пронзила внимательная, настороженная тишина. Все снова смотрели на него, ждали. — По всей стране кулаки и их пособники в бессильной злобе идут повсеместно на открытые выступления. Жгут колхозные постройки, дома сельских активистов, стреляют из обрезов в селькоры... Они думают, что этим звериным террором запугают нас, сорвут коллективизацию. — Голос Башлыкова набрал силу. Башлыков заявил твердо: напрасно они рассчитывают на это! Большевики не из робкого десятка! Борьба еще более сплачивает наши ряды. Ряды большевиков и передового крестьянства!..

Сила его слов, почувствовала Ганна, была не так в самих словах, как в том, что есть за этими словами, в том чувстве, с каким они слиты. За всем ощущалась искренняя непоколебимая убежденность, преданность, которая

заставляла утихать недоверие многих, а Ганну просто увлекала, захватывала. Такой горячей убежденности она еще не видела ни в ком. И от этого ко всему примешивалась все та же ревнивая печаль...

— По всей стране, — заговорил он ровней, однако все с той же убежденностью, — неслыханными темпами разворачивается массовая коллективизация... По всему Советскому Союзу есть уже не только такие районы, где коллективизировано более пятидесяти процентов, а есть и районы сплошной коллективизации!.. Такие районы есть в Поволжье, на Кубани, на Украине, в важнейших зерновых областях. Есть такие районы и у нас, в Белоруссии. Например, Климовичский район... Идет дело к сплошной коллективизации. Мы поставили вопрос о том, — голос Башлыкова снова приобрел особенную значительность и твердость, — чтобы и наш Юровичский район включили в высшую группу по коллективизации, и в ЦК поддержали нас. Мы поставили перед собой ударную, большевистскую задачу: к весне следующего, 1930 года коллективизировать район на все сто процентов!.. Мы поставили эту задачу, — заговорил Башлыков еще более уверенно, будто выделяя, — и мы ее выполним! Несмотря ни на что!

В классах, в коридоре стояла тишина. Была минута, показалось, всех охватило оцепенение. Перестали вдруг дымить сигарками, сопеть. С уважением, ревниво Ганна почувствовала: этот сделает! Что захочет, сделает! Вот сила!..

— В этом свете всем должно быть ясно, — голос его стал тише, деловито сдержаннее, — какое значение придает райком тому, что произошло в вашем колхозе. Это удар по всему району. Товарищ Дубодел правильно сказал... Поэтому мы должны принципиально вскрыть причины, которые довели до всего этого. Тут товарищи, которые выступали, называли разные причины, чтоб объяснить случившееся. Почему развалился колхоз... Они называли много причин, — в голосе Башлыкова послышалась сдержанная усмешка. — Но не назвали главной... Главная причина — не будем закрывать глаза, назовем вещи своими именами — серьезная, политическая. Колхоз распался, — заговорил Башлыков, подчеркивая каждое слово, — в результате вражеской деятельности! Колхоз подорвали — явными и скрытыми методами — кулацкие элементы!.. Поэтому то, что произошло здесь, райком рассматривает как политическое явление, которое требует политических выводов и мер. Беспощадных мер. Вражеские силы всех мастей, — он говорил твердо, сильно, — действуют широким фронтом. Они действуют в международном масштабе и на внутреннем фронте. Они не брезгуют

ничем, чтобы подорвать нас. Они вредят нам и в больших государственных делах, и в малых. В любом селе, в любом колхозе...

Классовый враг действует. И мы тоже, — голос Башлыкова твердел, — будем действовать! Мы будем беспощадно бить по врагу и его пособникам! Откуда б они ни вылезали!

В свете всего того, что я сказал, — Башлыков, было видно, заканчивал, — райком призывает всех колхозников деревни Глинищи вернуться в колхоз, возродить его. Ударить по врагу нашей объединенной силой — колхозом!

Он сел. Тишина сковала зал. Хоть бы кто кашлянул. Хоть бы кто пошевелился. Была растерянность перед ним. Перед силой и правдой, которую донес он. И которую вдруг почувствовали так сильно. Потом Ганна заметила, как из коридора перестали нажимать, начали отступать от дверей в темноту. Зашевелились в зале, задымили, кто-то закашлял.

Спохватился, поднялся Борис.

— Кто еще хочет сказать?

Он оглядывал класс. Люди отводили взгляд, опускали глаза, смолили сигарки. Подождал. Никто не отозвался.

— Нету охотников?

— Хватит уже! — поднялась, спокойно и тяжело вздыхая, тетка Маня. — И так поздно!

Как бы ждали этого, сразу нетерпеливо подхватили.

— Аге! Развиднеется уж скоро!.. День вон!..

— Поговорили уже!.. Сколько ж говорить!

— Хватит!

Борис наклонился к Башлыкову. Тот что-то шепнул ему.

— Ну, если нет охотников, — сказал Борис, соглашаясь, — надо принять решение.

— Какое еще решение? — остро нацелилась Гечиха. Опять засосала сигарку, однако глаз не отвела. В зале все глядели на Бориса, ждали.

— Ну, решение, что мы, — сдержанно, с достоинством сказал Борис, — возобновляем колхоз. И все, которые вышли, возвращаются назад... И будем работать, как раньше...

Минуту снова была тишина. Тишина напряженная и настороженная. Глаза то беспокойно бегали по лицам ближних, что сидели за столами, на столах, то впивались в Бориса, в Башлыкова.

— А зачем это? — осторожно запротестовал кто-то позади.

— Не надо! — откликнулся более уверенно другой голос.

— Не надо! — загудело по рядам.

Борис начал сильно стучать ладонью, пока не утихли. Как непременно заявил снова:

— Нужно решение! — Словно для того, чтобы не было сомнений, добавил: — Это обязательно.

— Обойдемся! — отрезал громко, с вызовом худой, в кепочке.

По залу пошло:

— Послушали — и хватит!..

— Хватит!..

Встал Башлыков. Уверенно ждал, когда все затихнет. Однако шум не стихал, даже усилился. Галдели, спорили, бросали на него беспокойные взгляды.

Он не шевельнулся, пока не наступила мертвая тишина.

6

— Товарищи! Здесь, видимо, некоторые думают, — в ровном, размеренном голосе Башлыкова Ганна уловила злое упорство, — что мы собрались сюда шуточки шутить. И хотят собрание наше превратить в говорильню. В пустопорожнюю болтовню! — Голос его становился все строже, все набирал жесткость. — Так, чтоб не было сомнения, объявляю: мы прибыли сюда не для веселых забав, не для пустой болтовни. И мы выступали, убеждали вас не для того, чтобы позволить некоторым, что так же пришли сюда со своими целями, сорвать собрание! Мы прибыли для того, чтобы сделать важное дело — поправить положение, в котором вы оказались! Поправить ваши необдуманные действия, которые вредят всему району. Мы надеемся, что вы поняли вашу тяжкую ошибку и исправите ее!.. Я предлагаю принять такое решение: «Мы, колхозники колхоза „Рассвет“, осознали свою ошибку и единогласно решили возобновить колхоз. Для чего возвращаем в колхоз все обобщественное имущество и обязуемся трудиться по-большевистски!» Вот так!

Ганна слушала с двойственным чувством: уважения к смелости, решимости его и тревоги за него. Очень уж неосторожно, напролом лез он, как бы не озлобил людей, не испортил все. «Без подхода... Не знает наших. Не знает, наши не любят такого... Да еще теперь, когда все так жжет...» Она окинула вокруг взглядом — лица были недовольные, затаенные. Глаза острые, злые. Не нравилось, не одобряли...

Но молчали. Решительность Башлыкова, его серьезные предупреждения тревожили. Тревожили, озлобляли и сдерживали. Угроза

Башлыкова — не шуточки... Нехорошее, опасное было молчание...

И вдруг прорвалось:

— А если я не хочу?!

Сказал тот худой, в кепочке, что торчал на виду. Сказал громко, как бы даже задиристо. Во взгляде, во вскинутой, с побритыми острыми скулами головке был вызов. Глаза шальные, колкие, усмешечка из-под усов: «А ну попробуй! Не хочу, вот и не хочу!..»

— Чего? — не понял сразу Башлыков. Или не ждал такого.

Глинищанец с тем же вызовом бросил:

— Возвращаться не хочу! В колхоз!..

Башлыкову не дали сказать. Сначала нерешительно, а потом все более свободно, со злостью ринулись:

— Нет такого права!.. Заставлять!..

— Это так надо?! Силой?!

— Попробовали уже! Хватило!..

— Не хотим! Не вернемся!

— Пускай другие попробуют!

— Аге! Которые не были!

— Не обязательно нам одним!

— По очереди!..

Напрасно Борис призывал, стучал что есть силы по столу — не слушали. Шумели, кричали в классах, в коридоре. Мужские прокуренные, женские пронзительные, звонкие молодые, хриплые старческие голоса — разноголосье, собранное со всего села, гневалось, угрожало, кляло. Ганна смотрела на Башлыкова, который стоял терпеливо рядом с Борисом, и от души жалела его: «Нелегко, должно быть, ему это видеть, начальнику! Такое непослушание...» Будто молча успокаивала: не переживай, гляди спокойно! Чего ж ожидать другого, когда людям еще так больно! Неужто не предвидел все до схода! Предвидел, конечно, но надо ж было попробовать! Ведь и так оставлять нельзя было!

В ту минуту она особенно, всем сердцем и всем разумом почувствовала, что и его обязанность нелегкая. Трудный и его хлеб. Почувствовала и прониклась состраданием к нему, как бы приблизила к себе. Стала рядом с ним...

Только когда утолили жажду высказаться, начали постепенно униматься.

— Тут раздавались голоса, — снова услышала она жесткость в голосе Башлыкова, — которые нельзя иначе расценить, как вражеские. Как кулацкие, антисоветские заявления. — Он с особым ударением произнес

последние слова. — Кулацкие элементы, что пробрались на собрание, и их подпевалы — видно за версту — поставили себе цель: сорвать собрание, любыми способами не допустить возобновления колхоза!.. Но я призываю всех честных жителей деревни не поддаваться этой кулацкой и подкулацкой вылазке, дать достойный большевистский отпор и вернуться снова на колхозные рельсы. Возродить колхоз.

— А если кто не хочет? — будто думала вслух, настойчиво повторила тетка Маня.

— Вам говорили уже, — резковато ответил Башлыков. Он, почувствовала Ганна, терял терпение. Кончалась выдержка. Четко, с нескрываемой злостью произнес: — Тому, кто не хочет возвратиться в колхоз, надо будет вернуть туда имущество!

— Это почему? — скорее не спросил, а возразил недовольный мужской голос из задних рядов. Его сразу поддержали многие голоса.

— Вы знаете, — Башлыков и тоном, и видом своим показывал, что не желает говорить впустую.

— Знать-то знаем. Да не понимаем! — Дядька закричал зло: — Уже и своим не распоряжайся!

— И наше уже не наше.

Башлыков пересилил шум:

— Вы обобществили его. Оно принадлежит колхозу.

Кто-то возразил злорадно:

— Нет уже колхоза!

Башлыков коротко, неколебимо отрезал:

— Это колхозное имущество!

— Колхозное! Аге! — Кто-то выматерился на весь зал. Горячие голоса перебил наглый свист.

— Не вернем!! — послышался крик.

— Не отдадим!

— Наше!..

Башлыков не выдержал. Поддаваясь общему крику, одолевая его, полный гнева, распорядился:

— Имущество все необходимо вернуть! — Видно, почувствовал, что это не подействовало. Подкрепляя сказанное, пригрозил: — Все, кто не вернет, будут отвечать! Привлечем к строгой ответственности!

Его угроза подлила масла в огонь.

— Засудите? За наше же добро?

— Арестуете? За что?

— За то, что вступили!

— Всех не арестуют! — крикнул нахально передний, в кепочке. Башлыков, разгневанный сопротивлением, услышал этот крик. Только Борис поутих, Башлыков накинулся на того, что в кепочке:

— Это вражеский голос! Кулацкий голос! Вы кто?..

— Я Свердел^[3], — ответил тот. В усах притаилась усмешка.

— Это что, фамилия? — Башлыков притих, вдруг утратил уверенность.

— Так кличут. — Дядька почувствовал внимание к себе, еще осмелел. Как бы издевался. — Свердел. Значит, Свердел...

— Прозвали так, — помог Башлыкову Борис. — Фамилия его Черняк Змитро.

Башлыков секунду колебался. Неприятная вышла ситуация. Стараясь держаться по-прежнему уверенно, объявил:

— Я лишаю вас голоса!

Ганна покраснела. Зачем он так? Растерялся вконец. «Не надо! Не так!» — прямо хотелось крикнуть ему. Поправить, помочь. И так вдруг остро почувствовала: молодой, зеленый еще! И городской, совсем наших не знает!..

Свердел оглянулся, все смотрели на него, ждали. Он вдруг открыто засмеялся прямо в лицо Башлыкову:

— А может, мне домой надо? А то ж терпенья уже никакого!

Башлыков жестко сощурил глаза.

— Идите! — Пообещал угрожающе: — А посмеетесь потом!

Свердел потоптался, не пошел сразу. Понравилась роль. Попробовал еще:

— А может, и других отпустите? Утомились, поди...

— Идите! — приказал Гайлис Сверделу.

Когда Свердел вышел, встал Апейка. Попробовал помочь Башлыкову вывести собрание из тупика. Сказал, что сразу тяжело все решить, что он и его товарищи надеются, что колхозники обдумают все спокойно, рассудительно. И вернуться в колхоз...

Однако и его не хотели слушать.

— Подумали уже! Хватит!..

Когда Апейка, Башлыков и другие выходили из класса, в коридоре молча пропустили их. В Параскиной комнате было слышно, как еще долго уныло топали, шаркали сапоги и лапти. В комнате молчали, будто слушали этот топот и шарканье.

Башлыков стоял обособленно от других, сосредоточенный,

замкнувшийся, с неведомыми недобрыми мыслями. Он был так углублен в себя, что не сразу понял, что ему говорит Черноштан, который несмело подошел к нему.

— Что? — нахмурился Башлыков.

— Я хочу пойти в Туманы, в колхоз, — осторожно пояснил бывший председатель. — Счетоводом могут взять. Так можно ли?

— Идите кем хотите, — Башлыков впервые поднял глаза на Черноштана. Взгляд был тяжелый, не обещал доброго. — Только сначала отчитаетесь за свою «деятельность» комиссии из района...

Он повернулся, обвел взглядом комнату. Тяжелой походкой направился к Миканору и Гайлису.

— А вам придется объяснить историю с колхозом «Рассвет» на бюро райкома...

Он прислушался и вдруг начал быстро собираться. Ганна приготовила ему и Апейке перекусить, попросила на минуту задержаться. Апейка готов был согласиться — проголодался, однако Башлыков не захотел.

За ним поспешил и Апейка.

— В другой раз, — извинился он. — В лучшем настроении...

Глава пятая

1

На крыльце сразу навалилась, обступила холодная, с ветром темь. После света в первое мгновение почти ничего не было видно. Башлыков остановился.

— Метет! Холодина! — очутилась рядом Параска. — Сама природа за то, чтоб переждали!

— Правда, заночуйте... — помог ей Борис.

Башлыков твердо отрезал:

— Нет! — придерживаясь за перила, стал решительно сходить по ступенькам.

Теперь глаза привыкли к темени, не так уж и темно. В серой полумгле зимней ночи четко вырисовывались силуэты коней, фигуры возниц, два возка. Башлыков окликнул своего возницу, двинулся на голос. Вышли из школы и остальные, молча смотрели, как он усаживается на заднем сиденье. Похоже, что ждали еще чего-то.

Он молчал. Возница оглянулся, дернул вожжами, и все, кто стоял рядом — Дорошка, Казаченко, Гайлис, Глушак, — скрылись в темноте.

Вдоль школьного двора зимняя дорога к шляху. На самом выезде возок нагнал нескольких участников сходки, которые неохотно сошли с дороги в снег. Когда промчался мимо, показалось, спину пронизывают недобрые взгляды, невольно насторожился. Настороженность росла, когда, словно преследуя его, полезли в глаза убогие, враждебно притаившиеся очертания: справа — недавней улицы с хатами, хлевами, гумнами, а слева — загуменья той, старой части деревни.

Проехал между ними — как из плена вырвался. Вольно, просторно разлеглась впереди сероватая ширь. Чувствуя, что не утихает в нем ярость, злость, гонит — скорее, дальше отсюда, Башлыков хотел подхлестнуть коней. Он едва сдерживал в себе это желание: видел, что возница понимает его, старается гнать и без понукания. Не впервые едут, знает седока. Поэтому, когда в поле возок вдруг остановился, Башлыков недовольно, с раздражением бросил:

— Ну, что такое!

— Ивана Анисимовича не видно!.. — ответил возница, оглядываясь

назад.



А, черт! Башлыкова в его нервном беспокойстве разозлило не только то, что пришлось остановиться, но и внимание, мягкость, с которой произнес возница это «Ивана Анисимовича»! Будто упрекнул, что Иван Анисимович вот задержались, прощаются по-людски. Тоже мне советчик, указчик нашелся. Дурно подумал про Апейку: задержался, разводит благодущие, задобрить, нажить себе авторитет хочет; выставить себя

демократом, это рядом с башлыковской резкостью.

Где-то щемила неловкость. Не было уверенности, что поступил правильно. С кем, с кем, а с Дорошкой, с Казаченкой можно было; обойтись и лучше. Особенно с Дорошкой, с женщиной. Но он не дал себе расчувствоваться. Все это мелочи, ерунда в сравнении с тем главным, что произошло и значение чего он не будет прикрывать никакой деликатностью, как некоторые демократы... Он показывал и будет показывать, как недоволен. Головоотяпы! Слов нет таких, какие заслужили!..

И, не оглядываясь, почувствовал, подъехал Апейка. Возок подошел почти впритык — Апейкины кони сопели в затылок.

Возок взвизгнул и снова помчал. Вскоре он, однако, затормозил так резко, что кони сзади чуть не наскочили на него, под полозьями тяжело заскребло — потянулась голая, выметенная ветром дорога. Преодолев этот отрезок, кони снова было перешли на легкий бег, но вскорости внимательный возница попридержал их. Снова шаркало внизу и нудно тянулось почти голое поле. Ехали медленно, и Башлыкову хотелось соскочить на землю и побежать самому.

Все время налетал ветер, заносил снегом лицо, все силился насыпать за ворот. Космы снега раз за разом перебежали через дорогу, носились в воздухе, металась перед глазами, от этого все выглядело шевелящимся, беспокойным и словно бы нереальным. Чувство беспокойства и неуверенности еще усиливала тусклая серость, что плотно окутала, сровняла все поле, позволяя более-менее прилично видеть только в двух-трех шагах. Беспокойство было и в беге коней, и в непрерывном резком шорохе бильняка по обеим сторонам дороги, на межах, и в самих порывистых бросках ветра...

Слева, чуть поодаль, что-то зачернело. Башлыков не столько разглядел, сколько заметил небольшой лесок в поле. Когда темное пятно немного приблизилось и стало обрисовываться, сквозь мечущийся снег Башлыков вдруг заметил там, под покровом темноты, странные фигуры. Он присмотрелся, и рассудок подсказал: то, что, казалось ему, привиделось, жило, шевелилось, готовилось. Чувствуя, как холодеет спина, он нервным движением полез в карман, стиснул теплую твердую рукоятку нагана. Повернулся назад, чтобы крикнуть Апейке, предупредить, но его возок, как нарочно, тащился далеко.

«Не послушался!.. Не остался!!! Глупая нетерпеливость!.. Доказать хотел!.. Что?! — быстро, болезненно, горячо билось в голове. Обожгло обидное: как это мог не видеть то, что и слепой увидел бы! Алчные, злобные взгляды. В которых открыто горело: рассчитаться! Кончить!.. И

горькое, бессильное: — Так по-глупому влипнуть! Так кончить! Не управившись ни с чем!..»

Пальцем отвел курок, другой положил на спусковой крючок и все всматривался в темноту леска, до рези в глазах. От напряжения глаза заволокло, он торопливо вытер их, не моргая, следил. «Из обреза или из винтовки ожгут, — прошло в сознании. — Пожалуй, из винтовки. Из винтовки точнее!» Как это томительно было — ехать, чувствуя себя под прицелом винтовки, наведенной на тебя опытной рукой. Ехать и ждать, когда же прогремит выстрел, который кончит все. «Так рано! Когда только начал!.. И так по-глупому!..»

Выстрела не было. Уже отъехали порядочно, а сердце все еще гулко стучало. Успокоение приходило медленно и неполно, тревога по-прежнему сжимала грудь. Был там кто или не был? Неужели померещилось?.. Не может быть, что показалось!.. Он же хорошо видел: фигуры, движение даже!.. Почему не выстрелили? Побоялись в последний момент?..

С радостью, что жив, успокоившись — не выстрелили, обошлось пока, — заметил себе: обязательно сказать Харчеву, приказать, чтоб присмотрелся, выяснил. Непрошеное взяло сомнение: а может, не стоит говорить, старый, грубый рубака может не доверять. Посчитает, что все это причуды необузданной фантазии. Страха. Да, возможно. И Апейке не говорить, пожалуй. Этот мог проспать и сказать, что ничего не было. Попробуй докажи. Осилит досадную неловкость, сбросил с себя. А пренеприятная была минутка! Аж в пот, будь оно неладно, вогнало!..

За белой лощиной дорога вывела к шляху. По сторонам в сухом шероховатом шуме одна за другой пошли старые березы. Уши снова остро ловили звуки, среди которых успокаивали только топот и фыркание Апейкиных коней позади. Глаза подстерегающе следили за теньями, за малейшим движением. Березы за березами, с одной стороны и с другой, и за каждой может подстерегать опасность. А тут с левой стороны надвинулся черной стеной впритык лес. Лес до бесконечности и дальше, до Припяты. На многие километры болото и лес. Райское убежище для бандитов.

Пока тянулся лес, Башлыков продолжал зорко всматриваться в его темноту. За равниной шлях начал сходиться вниз, втиснулся в крутые берега. С одной стороны берег и с другой — все закрыли. Снизу не увидишь, что за гребнем. А оттуда все как на ладони. Берега близко — каких-то три шага по сторонам. Сжали так, что и развернуться с возком непросто. Вот где пальнуть удобно!.. Хорошо одно, что кони, как бы понимая опасность, с горки прибавили бегу. Неприятное, тянущееся ожидание. Внимание

одновременно в ту и в другую сторону. Рука даже немеет, сжимая наган.

Наконец берега стали раздвигаться и раздвинулись совсем. Ни леса, ни берез по сторонам, серая мутная ширь. Ширь болота. Шлях побежал по гати, что приподнялась над заснеженной низиной. Башлыков впивался глазами во мглу впереди, силился разглядеть темный широкий берег. Коммунарский берег. Вот уже мосток над Турьей, копыта коней, как в бубен, гулко застучали по доскам. За мостком — совсем рядом — горка, на ней темные коммунарсские постройки.

Кони в гору чуть замедлили бег, пошли спокойнее. Будто чувствовали, что опасность позади. Слева плыл плетень, плыли яблони за плетнем. Справа — несколько хат без единого огонька. Уткнулись в небо, растаяли во мраке тополя, и снова разлеглось, поползло по сторонам мутное поле. Башлыков больше не сжимал наган. Втянул шею, уткнул подбородок в воротник, прикрыл глаза. Сидел расслабленно, слушал вольный шум ветра, ощущал холодный запах снега. Откуда-то издали доносилось поскрипывание полозьев, которые время от времени цепляли за голую землю. Горячо посапывали сзади Апейкины кони. Все это успокаивало.

Недавнее возбуждение постепенно унималось. Тревога жила внутри уже не только как реальность, но и как воспоминание о пережитом. Воспоминание это бередило: теперь, когда приходил в себя, неприятно стало, что так горячился, нервничал. Даже будто испугался. Нет, не испугался, нечего клепать на себя. Просто был наготове, как надо. Смотрел открыто в глаза правде. Готов был ответить в любой момент. И ответил бы как надлежит!.. Все же скверно было на душе, как ни финти, спокойствия, выдержки настоящей не хватило. Не так держался, сердце билось, как у новобранца. Мальчишка! Едва не призвал на помощь Апейку!..

Снова охватило сомнение: было там, в кустах, что или не было? Не желая обманывать себя, он чувствовал теперь, что, вполне могло стать, и не было ничего. Показалось. Привиделось. От волнения. От разыгравшейся фантазии... Он выругался вслух:

— Ч-черт!.. Дошел! — Упрекнул себя: — Проклятые нервы!..

Горькое волнение, что не хотело отпускать, напомнило о другом. В памяти ожило: духота, густой, едкий дым самокруток. Тяжелый запах пота, овчин и свиток. Темные, с беспокойными тенями лица. Потные, неподатливые, злобно ощеренные рты. «Нема такого права! Ето не по закону!..» Вспомнилось дневное: как ходил по пустому колхозному двору и сиротливая пустота конюшни и амбара. Печальное одиночество заржавевшей жатки. Как бродил с Черноштаном, с Гайлисом по хатам, пробовал каждого уговорить одуматься, вернуться. Вспомнил, как чуть ли

не каждый, заметив его во дворе, настораживался, пытался спрятаться. Женщины, злые их глаза. И злые, враждебные крики.

Чем больше ходил, тем больше чувствовал, напрасно это. И теперь обожгло ощущение глухоты их, враждебности, даже ненависти. И вместе — своей слабости, униженности. Отвратительное ощущение. Никогда, кажется, не было такого...

Он вспомнил, что такая же глухота и враждебность встали перед ним, когда заговорил на собрании. Воспоминание об этом особенно взволновало, потому что он вышел из себя: израсходовался за день, растравил всю душу. Странно, перебирая в памяти то, о чем говорил, не усматривал ошибки, и все же его угнетала неудовлетворенность собой. Будто все-таки говорил не то, что надо, и не так, как надо. С досадой думал, что не выдержал под конец, раскипятился. И еще больше испортил все... Затем стал припоминать поведение, выступления других ораторов. От Дубодела нельзя было ожидать большего, старался, насколько хватило. А вот Глушаку можно было и лучше выступить. Говорил, будто отбывал повинность. И Дорошка разделикатничалась. Однако наиболее интересное все же — речь председателя исполкома. Байка про какого-то Ивана — прямо анекдотический пример сермяжной философии. Подделка под мужичка. А фактически образец аполитичности, оппортунизма. Которых дальше уже прямо-таки нельзя прощать. Которые уже черт знает куда ведут.

И он вспомнил, что Апейка с самого начала не скрывал, что не верит в успех этого собрания. И хоть теперь неудачный опыт вроде бы показал, что у него был резон, Башлыкову не хотелось с ним соглашаться. Все-таки собрание надо было провести, как это ни неприятно. Надо было испробовать все средства. Выяснить все до конца. Теперь совесть может быть чиста. Все, что могли, сделали...

А что не удалось ничего изменить, не его, Башлыкова, вина. Ничего нельзя было сделать. Теперь видно как на ладони, свито вражеское гнездо. Все заражено поганым кулацким душком. Даже бедняцкая часть заражена. Или запутана кулачьем... «Вылезли в открытую, — пришла, как ясный результат, мысль. — Сбросили маску!.. Война в открытую!.. Что ж, тем лучше! Ударом на удар!.. Тройным ударом на мерзкий удар!..»

От злобы, что подымалась в нем, крепло ощущение силы, уверенности в себе, в своей власти. Тройным ударом! Он не уточняет, как это будет — тройным ударом; думать тяжело. Давно уже чувствует, все сильнее наваливается, обременяет усталость. Но он уверен, это будет тройным ударом!..

Думать ему мешает не только усталость. Он нарочно сдерживает себя, смутно чувствует: со злобой грозит еще больше усилиться беспокойство. Беда. Катастрофа. Отгоняя мысли об этом, хватается за прежнее: тройным ударом!

Нарочно прислушивается к своей усталости: ах, как он устал! Скорей бы добраться домой, упасть на кровать. Или хоть на пол. Не раздеваясь даже. Передохнуть немного от всего...

Еще он чувствовал, как пронизывает, сжимает мороз. Он мерзнет все сильнее, однако терпит, не шелохнется. «Зима берет свое... Берет», — думает он странно обрадованно.

2

Когда спустились вниз, в тишину юровичской улицы, возница повернулся к нему.

— Куда везти?

Башлыков опустил воротник, пожал плечами.

— В райком...

Замерзшие губы шевельнулись непослушно, вышло вроде «вайком».

Можно было и не спрашивать: каждый раз, возвращаясь, ехали прежде всего в райком. А вдруг, пока ездил, произошло что-нибудь важное, надо неотложно распорядиться. Да и вообще узнать о положении, быть в курсе последних событий. Знать все... Должность такая и время такое, что надо всегда быть наготове...

Из окна райкома приветил его желтый огонек. Враз пересилив одеревенелость, сжимавшую его, Башлыков быстро выскочил из возка. Левая нога чуть не подогнулась, он постоял, одолел окаменение в ноге и, прихрамывая, подался в райкомовский двор, взошел на крыльцо. Попробовал открыть дверь, но она была заперта изнутри. Снял рукавицу, теплой рукой энергично постучал по доскам.

Открыли не скоро. Дежурный, русский парень, увидев его, моргал глазами сонно, растерянно. Задремал. Торопливо пригладил волосы.

Башлыков с той легкостью, которая всегда появлялась при людях, решительно прошел мимо. Не сказав ничего, упрекнул молчанием. Уже в приемной остановился, спросил:

— Звонил кто?

— Звонили!.. — поймал его взгляд дежурный. В голосе была радость. Оттого, наверно, что может исправиться.

— Давно?

— Да за полночь. За полночь изрядно.

— Откуда?

— Из Мозыря. Из округа. Товарищ Голубович...

— Говорил что?

— Говорил. Спросил, где вы. «Где товарищ Башлыков?» Я сказал: в районе. Коллективизацию проводит...

— Не спрашивал ничего?

— Спрашивал: «Как дела?» Я сказал: «Идут». Тогда он попросил прочитать сводку. Я прочитал. Миша мне оставил...

— Больше ничего не говорил?

— Сказал: «Благодарю. Всего хорошего».

Башлыков отомкнул дверь в кабинет. Впотьмах нашел в углу вешалку, повесил пальто. Подошел к столу, где должна была стоять лампа. Чиркнул спичкой, поднял под зеленым абажуром стекло, зажег обгорелый краешек фитиля. Зеленый абажур на лампе вызвал раздражение: ч-черт побрал бы это мещанство! Раздражение было вызвано помощником, который где-то выкопал дурацкий этот абажур и не выполнил приказа снять его.

Не хватало еще, чтобы в кабинете секретаря райкома разводили мещанский уют! «Для глаз удобнее, успокаивает зрение!» — вспомнил он язвительно слова помощника. Самое время успокаивать зрение, когда только гляди да гляди! Не первый раз встревожило: где он достал это, не у нэпмана ли какого? Конечно же, не у бедняка. Подумал строго: надо присмотреться лучше, взяться как следует за помощника. Времени все не найдешь, крутишься как черт. Да и парень разворотливый, толковый...

Снял абажур, сунул в угол под вешалку. Завтра же приказать, чтоб и следа нэпманского этого не было.

На столе на обычном месте белел листок. Сводка за сутки. Башлыков, зайдя за стол, привычно протянул руку и вдруг тяжело придержал ее. Сводка! Устарела, поломалась сводка! Сдерживая неприятное чувство, что сразу ожило, взял два конверта, которые лежали рядом со сводкой. На первом он сразу узнал почерк Нинки — сестры. Письмо из дому. Почерк на другом тоже знакомый, писал гомельский приятель Леня Мандрыка. Об этом свидетельствовала и подпись внизу конверта — несколько букв с замысловатыми крючками. Подпись, пригодная, как смеялся Леня, для того, чтобы подписывать деньги. Письмо было надписано почтительно, официально: «Секретарю Юровичского райкома товарищу...» Даже за подписью этой виднелся веселый характер приятеля.

Башлыков оторвал край конверта — захотелось услышать шуточный

голос. Только развернул синий, шершавый, в линейчку листок, в глаза кинулось: «Алешка, чертяка!» От озорного, товарищеского сразу потеплело, будто вдруг оказался в милом ему Гомеле, среди друзей или где-нибудь в парке над Сожем. Впился взглядом в письмо: «Как ты там воюешь? Как перепахиваешь там старые собственнические границы? Круши там кулацкую и всякую прочую нечисть, чтоб все чувствовали твою твердую рабоче-пролетарскую руку!.. Алешка, я читаю про тебя в газетах и горжусь! И прямо не верю, что это с тобой лазил через забор, в дырку, на стадион. Помнишь, чертяка?.. А теперь я горжусь, ты наша слава!..» За всем этим Башлыков слышал задиристый, озорной голос Ленки, которого он когда-то любил, с которым так легко было смотреть на мир. Но сейчас голос этот не только не веселил, а пробуждал неприятное в душе, то, что не хотелось трогать. «Гордимся!.. Ты наша слава!.. Читаем!..» Слова эти сегодня будто бесцеремонно дразнили.

Он уже хотел бросить читать, когда взгляд его вдруг выхватил среди строк — Лена. Чувствуя, как часто стало биться сердце, пробежал по строчкам: «Завидую и горжусь, между прочим, не только я. Я сейчас напишу тебе такое, что ты заикой станешь! Подготовься, чертяка, и держись! Не падай на пол! Видел я тут на днях, кого б, ты думаешь? Вовек не угадаешь! Лену!.. Иду по Советской прямо лицом к лицу! Я даже глазам не поверил!» Как бы сквозь туман, сквозь горячий звон пронизывало: Лена в Гомеле. Приехала от мужа. Не очень счастлива, «мягко говоря»! Хоть и вида не подает. Долго, «даже захватывало у нее дыхание», расспрашивала о нем. «Об Алешке». Сказала, что он далеко пойдет и что она «рада за него». А о себе рассказывать не стала. «Ничего особенного. Живу, и все...» Каждое слово отзывалось звоном, ударяло, а последнее сильнее всего: «Через день, сказала, поедет обратно! Невесело сказала!.. Понимаешь, ты, чертяка, что делается на свете?!» — спрашивал некстати весело Леня.

Затем Леня писал о гомельских новостях, о том, какая это беспокойная и веселая служба — его клуб. Догадываясь, что растревожит напоминанием о Лене, заметил, что в Гомеле много появилось девчат хороших, и советовал: на свете есть и другие важные вещи, кроме дел. Вырвись на день-два — жалеть не будешь!

Башлыкову не понравились пошловатая игривость последних строк письма и приглашение с намеками, особенно неуместными после всего, что было сказано о Лене. Однако это отметилось мимоходом в душе, все его существо заполнило одно — Лена! Или оттого, что он был утомлен, или оттого, что эта новость обрушилась так неожиданно, Башлыков не мог думать, жил только горячим и тяжелым чувством: Лена была в Гомеле,

несчастлива, любит. Любит все же Лена, Лена — звенело на разные голоса.

Он с усилием наклонился к столу, взял письмо от Нины. Каждый раз, когда он получал письмо из дому или просто думал о доме, о родных, его неизменно захватывал тот сложный мир. Возвращалось голодное, в непосильном труде детство, темный сырой барак в залинейном районе. Входила в комнату, становилась рядом, век в заботе, в страхе за кусок хлеба, за детей мать. Ласковая и несчастная на всю жизнь сестричка Нина, здоровый, выпестованный матерью Борис. Оживала в памяти давняя обида, неприязнь: мучились одни при живом отце, который где-то, были уверены, процветал с другой женщиной. Пеструю, полную жажды деятельности и широких, на весь мир, надежд, комсомольскую юность едва не все время омрачали неодолимые противоречия с тем, что было дома. Старые беды не все остались в бараке, многие переехали в светлый каменный дом около парка, где дали комнату Башлыкову. Нежность к матери, что растила троих, смешивалась с жалостью: не уберегла, передала на память ему и Нине чахотку. Нину сделала калекой. Нина, милая умная Нина с острыми плечами, с несчастьем — горбом...

В противоречивый мир памяти всегда вплеталось, тревожило чувство вины — помогает мало. Правда, деньги посылает каждый месяц, все, что может. Но разве достаточно им одних денег? Нине, которую надо было бы отвезти к хорошему специалисту, попробовать избавиться от беды. Борису, которого надо было бы направить твердой рукой. Матери, которая одна разрывается между обоими...

Сегодня ко всему этому беспокойству примешалась и свежая, неожиданная тоска о Лене. Лена, Лена...

Нинино письмо, как всегда, начиналось ласково: «Добрый день, любимый наш Алешка!» Вопросы, как живет, сожаление, что, вероятно, много работы. Не бережет себя, недосыпает и голодает. Все в дороге, на холоде. А она учится, и учится хорошо. Очень хорошо. И здоровая, и веселая. «И девчата, и парни у нас — как один. Дружные и находчивые. На переменке к нам приходят из других групп, чтоб попохотать! Знают, у нас скучать не умеют!»

Мать тоже здорова. Только все переживает за него, за Алешу. И наказывала даже, чтоб написала: пускай бережет себя! «Одним словом, все у нас по-прежнему», — успокаивала, утешала Башлыкова сестра. Кажется, сегодня она излишне уж старалась успокоить его, и у Башлыкова, уставшего, появилось предчувствие, что у них там что-то случилось. И правда, после шло осторожное: «Только о Борисе важные новости. Борисик наш, кажется, серьезно собрался стать взрослым! Прибьется наконец к

берегу и начать самостоятельную жизнь!.. О том, как это серьезно, можно судить уже по тому, что он теперь все дни у одной пристани... Пристань эта — Лиза Шепель!.. Все дни, всюду вместе! Прямо голубки!.. Все свободное время — в ее комнате. Судя по всему, у них далеко зашло. Ходят слухи, что может появиться наследник... Так что у нас, Алешка, новый родственник — товарищ Шепель!..»

Каким бы ни был усталым, переполненным прежними событиями, Башлыков несколько минут не находил места от волнения. Встал, закурил, затянулся, аж зашелся кашлем. Нетерпеливо, раздраженно заходил по комнате. «Родственник товарищ Шепель!» Товарищ Шепель! Пан Шепель! Хозяин некогда большой аптеки. И модного парфюмерного магазина! Нэпман, торгаш, известный всему городу!

Всего, кажется, можно было ожидать от этого балбеса, от Бориса. А такого не ждал. Додуматься не додумался б! «Родственник товарища Шепеля! Товарищ Шепель!» Секретарь райкома — родственник Шепеля, нэпмана, пройдохи!

С ума он спятил, что ли, дурак этот? Додумался — из тысяч девчат, хороших, дочерей рабочих, выбрать такую спутницу! Как нарочно! Да и нарочно, если б хотел, не додумался бы! Если б раньше, года два-три!.. Понять еще как-то можно было бы! А теперь, теперь!.. Понять можно, он видел Лизу Шепель, знал эту красотку. Но делать такую глупость в теперешнее время, когда идет такое наступление! Поставить себя и его, брата, в такое положение!

Он подумал, как отзовутся на все это друзья там, в Гомеле. Загодя представил, что чуть не каждый будет обвинять его, Башлыкова. Не воспитал как следует. Своего младшего брата не смог воспитать! Руководитель!.. Будут обвинять — и справедливо! Не воспитал! Не смог!

Пришло в голову: теперь каждый раз, рассказывая о себе, он должен будет сообщать об этом. Объяснять в анкетах, в автобиографиях. Вписывать в свою жизнь! Которую он хотел прожить чисто! И был чистым до сих пор!..

Все так спуталось, что его вдруг взяло отчаяние. Черт знает что за ночь! Злобные лица на собрании. Полный провал в Глинищах. Боль от вести про Лену. И, наконец, это: родственник пана Шепеля! Все вместе сошлось отовсюду!

Не было уже сил ни думать, ни терпеть это. Он вдруг перестал мерить шагами кабинет, бросил окуроч. Ткнул в чернильницу. Решительно оборвал себя: хватит на сегодня!

Достал из шкафа подшивку газеты, свернул, положил под голову. Снял

с вешалки пальто, шапку, подошел к столу. Прикрутил фитиль, дунул в лампу.

Часть вторая

Глава первая

1

Встал рано. Жесткий деревянный топчан не давал залеживаться. Да и услышал, что местечко пробудилось, надо было начинать день.

Оттого, что спал мало, в голове нехорошо звенело, во всем теле чувствовалась расслабленность. Однако он нащупал шапку под подушкой, натянул на себя пальто. Шатаясь, нетвердой походкой вышел на крыльцо.

Рассветная синеватая мгла встретила крепким, острым холодком. Грузно поскрипывая сапогами по снегу, Башлыков вышел со двора, пошел по улице. Дома уже часто желтели окнами, на дворах всюду виднелись люди, навстречу проехали сани с двумя седоками. Движение это, заботы настраивали его на деловой лад. С хлопотами живой реальности приходило привычное чувство неизменной обязанности действовать. Проходила сонливость, чувствовал себя бодрее.

Начинался день. Нелегкий день.

Башлыков питался в столовой, которую называли райисполкомовской. Столовая эта была для всех государственных работников районного центра, разных командировочных, участников пленумов и совещаний. Неприметная с виду, довольно старая деревянная изба эта, труба которой дымила с утра до вечера, была важным, необходимым заведением, значение которого особенно возрастало, когда в центре собирались делегаты или участники.

Хозяйка, где Башлыков квартировал, предлагала ему столоваться дома, уговаривала, что так, как она, там не приготовят, но он вежливо, но твердо отказывался. Кроме того, в душе считал заботу о том, где поесть повкуснее, недостойной делового человека, да еще партийца, руководителя. Было тут и другое соображение. Что там ни говори, столоваться у хозяйки в некоторой степени мещанство, уступка старому быту. Столовая же — это вместе с тем и особое общественное место, и новый быт, который надо поддерживать и вниманием к которому надлежит показывать пример другим.

В столовой завтракали несколько человек, среди которых Башлыкову бросился в глаза Зубрич, строгий, озабоченный, он уже рассчитывался с официанткой. Башлыков с тем подъемом, который обычно в нем появлялся на людях, бодро поздоровался, разделся у вешалки, по-домашнему

наклонился возле умывальника. Вода холодная, видно, недавно со двора, и он с наслаждением испытывал ее студеную свежесть. Непринужденно направился в свой уголок, где обычно привык обедать. Официантка, полнотелая, дебелая полька Лиза, из местечковых, ждала, когда он сядет. Сразу подошла.

Знала, секретарь райкома — человек очень занятой, сидеть без дела, ждать ему некогда.

— Перекусить чего-нибудь, Лиза. — В голосе его были одновременно и приветливость и деловитая собранность.

— Сегодня рагу и чай.

— Давай рагу и чай, — сказал он сговорчиво.

Ему всегда приятно было видеть ее, однако теперь, глянув вслед, он вдруг испытал противоположное чувство. Не сразу понял: неприязнь связывалась с именем Лиза. В письме была тоже Лиза... Он отмахнулся от воспоминания. Настоящее имя этой не Лиза, а Элоиза. Элоиза Янковская.

Элоиза Янковская не заставила долго ждать. Будто увидела, что он, обычно равнодушный к еде, сегодня голодный. Голодный как зверь.

За те две-три минуты, пока она отсутствовала, Башлыков действительно ощутил, как сильно проголодался. Ожидая, он вспомнил, что вчера не ужинал. Случай не исключительный, раньше тоже такое случалось не раз, но сейчас он готов был упрекнуть себя за нетерпеливость. Однако голод не слушался.

Усердствуя над рагу, он вспомнил, что его приглашали вчера поужинать. Ночью. Потом, как сквозь туман, но с наслаждением вспомнил обед в школе. Будто заново увидел, как рядом стоит Ганна, поливает из ковша ему на руки. Почувствовал твердую ладонь, когда помогал вылезти из погреба. И услышал голос, что просил остаться поужинать... Удивительный голос. И удивительная рука. И вся удивительная. Кто она?.. Но одновременно с этим в нем ожило глухое, недоброе — собрание, злые взгляды и крик. И позорное чувство беспомощности. Он сжал зубы.

Быстро доел рагу, не чувствуя вкуса, выпил стакан фруктового чая. Забыв рассчитаться, решительно натянул пальто и вышел во двор.

Надо было переодеться с дороги. Он не был франтом, одеваться стремился скромно, что также считал обязательной партийной, секретарской принадлежностью. У него было два уже не новых, кое-где аккуратно залатанных костюма, которые он носил с той бережливостью, что осталась в наследство от бедности, познанной в заливнейном бараке. По привычке, привитой матерью, Башлыков одевался всегда опрятно. Не выносил нечистоплотности. Чистыми должны были быть не только белье,

но и гимнастерка, и брюки, которые он нередко под аханья и укоры хозяйки стирал и гладил сам...

Хозяйка — Циля Савуловна, или, как ее чаще называли, Савельевна — увидела его в окно, еще когда он входил на крыльцо. Но, когда появился в доме, не призналась, будто неприлично было признаться, что увидела его раньше, поразилась так, точно явился сын из Ленинграда, материнская печаль и гордость.

— Ох, кто пришел!.. Папа, Лева, — позвала хозяйка разделить свою радость.

Сын Лева, завтракавший тут же за столом, видимо, собираясь в школу, скорей дожевал что-то, проглотил, встал и, покрасневший, довольный, поздоровался. Тогда же из приоткрытых дверей, ссутуленный, в неизменной черной ермолке, выпачканной мелом, высунулся старый Савул. Уткнув острую бородку в грудь, посмотрел на Башлыкова из-под очков, молча кивнул. Будто подумал что-то, но не сказал, и повернул назад. Спокойствием своим показал этой суетливой ненормальной женщине, что не обязательно подымать крик на все местечко оттого, что вернулся человек.

Радость женщины, как всегда, сразу сменилась трезвым любопытством:

— Опять на собрании ночевали? — В тоне, как обычно, слышались сразу укор и насмешечка старшей. И добродушная бесцеремонность.

— На собрании, — также усмешливо подтвердил Башлыков.

— И ужинали на собрании?

— После.

— А может, и не ужинали?

— Ужинал. Даже позавтракал уже...

Башлыков заметил, как покраснел из-за материнской назойливости, но сдержался Лева, низко склонив голову над тарелкой. Циля же, не обращая внимания на него, присматривалась, совсем как старый Савул, и вдруг заявила:

— У вас что-то случилось неприятное!

Как ни знал ее Башлыков, немного растерялся. Вот же глазастая.

— Нет... Ничего особенного...

Прошел, наконец, в свою комнату.

Комната небольшая, узкая, но Башлыков был доволен ею. Зачем ему, одинокому, партийцу, к тому же очень занятому, хоромы. Да и какой всем пример показывал бы он, секретарь райкома партии, если бы поддался соблазнам мещанской роскоши, которые только отрывали бы от дела,

засасывали в болото. Все здесь, в комнате, есть, и ничего лишнего. Окошко на улицу с форточкой. Железная кровать, стол у стены с книгами, с двумя гнутыми креслами. Чистый отглаженный костюм висел на стене на плечиках, прикрытый простынею. Под кроватью плетеная корзина с бельем, с разными необходимыми мелочами. Пол вымыт, чистота. Что еще надо деловому человеку?

Переодеваясь, Башлыков слышал из-за двери, как Циля рассуждала:

— Неприятность опять!.. Одни неприятности!.. Какая радость так жить!.. Днем собрание, вечером собрание! Поесть некогда!..

— Мама, ты ничего не понимаешь, — перебил ее Лева. Он так говорил, что чувствовалось, ему очень неловко за нее перед секретарем райкома партии, который все слышит. Лева — комсомолец, член бюро комсомольской ячейки школы.

— Ты понимаешь! Рано стал умным, Лева! Такой умный, что уже мать учишь! — Циля не столько возмущалась, сколько посмеивалась над сыном. — Человек должен спать? Должен есть? Пускай он и большевик... Большевики должны есть или нет?

— Мама!..

— Что мама! Я уже скоро семнадцать лет тебе мама!.. Я не понимаю! Вы слышали, папа, я уже не понимаю ничего?! — Она, конечно, не ожидает ответа, знает, что старый Савул промолчит. Вопрос просто так, по привычке. Она снова придает разговору практическое направление: — Ты тоже, если мать не напомним, не поешь. И спать не ляжешь вовремя! До утра будешь сохнуть над книгой! Я уже не говорю про твои бесконечные собрания!..

— Мама! — голос у Левы уже решительный, угрожающий.

— Ну, хорошо, не буду трогать собрания! Вы жить без них не можете! Как без хлеба! Ну, хорошо, хорошо! Не буду! Ходи на собрания, если уж так надо! Будь активистом!.. — Она умолкла, но только на мгновение. Потом снова завелась — для Левы и Башлыкова: — Если вы не будете спать и есть, вас хватит ненадолго... У человека главное что? Здоровье! Что хорошего от науки и должности, если нету здоровья? Ноль...

Тут Башлыков, уже одетый и застегнутый, вышел из боковушки, и она повернулась к нему.

— Может, чаю выпили б?

Башлыков не остановился.

— Некогда.

Через несколько минут он был у райкома. Деловитым, твердым шагом прошел по коридору, отметил, в кабинетах еще почти тихо. Утренняя несобранность. Будто нарочно, тут же застучала пишущая машинка. Бася начала работу.

Секретарша была на месте, что-то торопливо прятала в стол. Зеркальце, не иначе. Он поздоровался, попросил позвать помощника. Но звать не пришлось — не был бы Миша Мишей. Наготове уже стоял рядом со всегдашней папкой в руке. Вошел в кабинет вслед за Башлыковым.

Костлявый, во френчевом френче и галифе с крагами, по-военному вытянулся, вручил папку. Письмо, телефонограмма. Сообщил, что должны звонить из окружка, товарищ Голубович. Башлыков прочитал письмо, телефонограмму — ничего особенного. Поднял голову.

— Больше ничего нового?

В хитрых, плутовских Мишиных глазах вспыхнули озорные огоньки.

Но он сразу же осекся, по одному мимолетному движению бровей Башлыкова перехватил — секретарю райкома сегодня не до шуток. Сразу посерьезнел, напустил на себя важность, тихо и с достоинством направился к двери.

Башлыков посидел минуту неподвижно. Сгорбившийся, усталый, озабоченный с виду и расслабленный. Будто отдыхал, набирался сил перед дорогой, что должна была начаться.

Услышал снова звон в ушах, почувствовал нудную ломоту в спине, в плечах. Не выспался. Утомился. Надо бы прилечь на каких-нибудь десять минут. На десяток минут, и все пройдет. Он с трудом преодолел усталость — чего жаловаться, холить себя. Решительно встряхнулся, протянул руку к газетам, положенным на стол.

Выбрал «Правду» и минский «Рабочий»: узнать об общих и республиканских новостях. Газеты были для него ежедневной, неизменной потребностью, читать их было так же необходимо, как смотреть, чтобы видеть.

Строка за строкой втягивали его в беспокойный необъятный мир, отзывались разными чувствами: радостью, гневом, нетерпением. Он внимательно вчитывался в то, чем живет мир, ловил заинтересованно новости из Гомеля, вести об округе. Искал, нет ли чего о районе, невольно волнуясь: а вдруг критика. Ни похвал, ни критики не было... Район не вспоминали. Но это не успокоило. За всем, что он читал о других районах,

чувствовал свой. Все, что там, близко ли, далеко, происходило, воспринималось им так, будто касалось его лично.

Каждый раз, когда читал газеты, Башлыков особенно сильно чувствовал единство всего, что делается в деревнях и районах страны. Вся страна виделась ему как одно необъятное, великое поле, где идет тяжелое коллективное наступление. Где по всему полю кулацкие звериные выстрелы, поджоги, смерть активистов и пожары. Где идет лютая, кровавая классовая борьба. Он чувствовал, что наступление предстоит на самом большом накале, что именно теперь надо напрячь все силы, чтобы сломить противника, двинуться дальше. Каждый шаг теперь берется с боем, но его надо брать. Каждый район берет, и он должен взять.

Среди всех этих мыслей одна представлялась Башлыкову особенно важной. Он всегда помнил, что наступление это, каким бы тяжелым ни было, должно идти самыми быстрыми темпами. Темпы — это цель, к которой надо стремиться всеми силами, которой необходимо отдать все. Темпы — это не просто успех, это жизнь. Он видел, что движение на поле наступления неровное: одни вырываются вперед, другие отстают. Тем, кто впереди, почет и слава, тех, кто позади, бьют. И справедливо.

Сегодня в отстающих будет плестись он. Его район.

Башлыков нервно свернул газету, отложил. Снял трубку телефона, приказал соединить с Апейкой.

— Поговорить надо. Зайди.

Начал мерить беспокойными шагами кабинет из угла в угол.

В новом еще здании старого местечка, что вытянулось вдоль низины по Припяти, мерил и мерил кабинет чернявый человек в синей гимнастерке. Он своей озабоченностью, настроением был похож на многих других, которые на полях, в местечках, городах жили, проводили совещания, спешили куда-то через заснеженные просторы. Тысячи людей, большинство которых не знали лично друг друга, не думая друг о друге, были объединены одними хлопотами, одними стремлениями.

При всем том это были очень разные люди, и в разных обстоятельствах начинали они этот день. Башлыков — в обычной обстановке. Вокруг него были нехитрые, артельной, юровичской работы стол, диван, шкаф. Привычные стены, блеклые, с блеклым «серебром» обои, что опускались из-под потолка неровными волнами — обои наклеены прямо на бревна. Дом не штукатурили, потому что штукатурки не было. Внизу кое-где протертые спинами обои были порваны. На стене ярко-красный, с большущими буквами и заводскими трубами плакат: «Пятилетку — в четыре года!» И две карты — Советского Союза и обоих полушарий. На

самом почетном месте, над столом, висели портреты: черно-белый — Ленина и цветной — Сталина. Ленин стоял в рост, рука в кармане, смотрел куда-то ласково, сосредоточенно. Сталин в желтоватом военного покроя френче, косточками согнутых пальцев легко дотрагивался до стола. Башлыкова покорила скромность, которая чувствовалась и в простом френче, и самой осанке, и в складке рта под коротко подстриженными усами. Уважение его было особенно прочным, потому что за скромностью Сталина помнилась такая необычная, большая жизнь: ссылки, побеги, революция, гражданская война.

Более всего волновал Башлыкова взгляд орехового цвета глаз из-под смоляной, без единой сединки, жесткой шевелюры. Внимательные глаза эти, казалось Башлыкову, всегда смотрели прямо на него. Казалось, спрашивали: как ты тут? Когда дела ладилась и было хорошее настроение, взгляд этот не только не волновал, а радовал. Будто было кому показать свой труд. Доложить, что не подвел. Сегодня Башлыков, сам не замечая того, не подымал глаз...

Как только вошел Апейка, Башлыков перестал шагать. Пожал руку и озабоченно направился к столу. Не надо терять времени. Он сел и только собрался начать разговор, как резко, требовательно зазвенел телефон.

Башлыков невольно повернулся, однако трубку не взял. Минуту медлил, настороженный, сосредоточенный. Не скрывал тревоги. Потом превозмог себя.

— Башлыков слушает, — сказал уверенно, с достоинством. По имени, которое он назвал, отвечая на приветствие, Апейка догадался: на другом конце провода трубку держит секретарь окружка Голубович. Апейка заинтересованно прислушался.

Башлыков говорил:

— Был в отъезде. Собрание проводил... Не могу похвалиться, — сказал Башлыков, как бы вынужденный признаться в неудаче. — Нечем хвалиться... Тридцать семь хозяйств... Да, за неделю... Да, меньше процента... Да, топчемся... — Башлыков не возражал, самокритично судил себя. Он соглашался, терпел те жесткие слова, которые слушал, заметил Апейка, с непривычной выдержкой, даже спокойно. Видно, потому, что Апейка хорошо знал: то, что пока сообщил Башлыков, не самое худшее. Он понял причину сдержанности, которая сквозила в словах секретаря райкома. Чего тут горевать, если есть худшее.

Потому, что это худшее было еще впереди, Апейка ждал дальнейшего беспокойно. Скажет или не скажет, теперь или на другой раз отложит?

Башлыков, видимо, колебался. Апейка понял это по тому волнению,

даже отчаянию, которое появилось в глазах Башлыкова. Башлыков окинул взглядом комнату, остановился на мгновение на Апейке, но не увидел его. Он полностью отключился.

Вдруг на лице Башлыкова появилась решимость. А, что будет, то будет!

— Дмитрий Андреевич! — заговорил он твердо. — Я обязан доложить вам: у нас прорыв! Распался колхоз «Рассвет». Я как раз там и был! Разобрался в причинах, провел собрание! Надеялся выправить положение, но не смог!.. — какое-то время Башлыков молчал, ждал, что там скажут. Однако там тоже молчали. Потом спросили, он ответил: — Двадцать девять хозяйств.

С этой минуты Башлыков понуро, терпеливо внимал тому, что говорил Голубович. Сказав самое тяжкое, он сначала принимал то, что слышал, с непривычным спокойствием. Чувствовал, было заметно, даже облегчение — не утаил ничего. Почти безразлично, как осужденный, готовый ко всему, ответил:

— Секите.

Согласившись еще раньше с тем, что виноват, даже не пытаюсь оправдываться, как бы ожил, загорелся только тогда, когда пообещал:

— Сделаем сегодня же, Дмитрий Андреевич!

3

Положив трубку, покачав головою, шумно выдохнул:

— Уф! — Минуту сидел молча, будто не мог опомниться. Потом глянул на Апейку, сообщил оптимистично: — Сказал, головы снимут!

Апейка согласился:

— Да, придется положить их...

— Положить не страшно, — промолвил недовольно Башлыков. — Если б было за что...

Апейка сказал раздумчиво:

— Боюсь, надо ждать худшего.

Башлыков бросил на него быстрый, беспокойный взгляд.

— Дождемся! Если будем сидеть, как божки! Сложив руки...

Он не выдержал, резко поднялся, нервно заходил. Что-то обдумывал неприятное. Потом подошел к Апейке, стал напротив. Уставил узкие колкие зрачки.

— Мне не понравилось твое поведение на собрании. — Он говорил

горячо, запальчиво. Уточнил — Твое выступление. Твое и Гайлиса.

— Почему?

— Почему? — Башлыков переспросил так, будто не верил, что непонятно. — Потому, что так не делают! В такой момент!

Апейка, не понимая, повел глазами.

— Ясней говори.

— Ясней? — Апейкино спокойствие разозлило Башлыкова. Твердо, тоном обвинителя стал резать пункт за пунктом: — Спасовали в решительный момент! Вместо того, чтоб вперед, прижиматься к земле стали! Лавировать! Подлаживаться!

Апейка возмутился:

— Кто подлаживался? Кто лавировал? Ты знаешь, что говоришь?

Губы Башлыкова дернулись на миг в ухмылке.

— Рассказывай... басни!..

— Басня — присказка! Намек!.. — Апейка сдержался, скрыл волнение за насмешкой: — Ты ставишь меня в трудное положение. Чтобы оправдываться перед тобой, я должен хвалить себя. А я не люблю этого...

— Оправдываться нечего. Учесть надо. — Башлыков пропустил мимо ушей несогласие, даже иронию, которая была в словах Апейки, сказал твердо, уже спокойно: — Обязан вообще, как товарищ, заметить тебе, чтоб ты серьезно учел — не первый раз увиливаешь от политических оценок. Избегаешь их.

Это неправда.

— Ты учти, — настойчиво повторил Башлыков. — Не один раз уже вместо четкой политической оценки отдаешь предпочтение старосветским мудростям. Крестьянской «философии». Я понимаю, каждому хочется понравиться. Но это, смотри, может далеко завести.

Апейка сдержал себя.

— Благодарю за предупреждение. Только, думаю, оно мне не понадобится.

— Смотри. Всякое забвение политики — опасная штука. И не заметишь...

— Замечу! — перебил его Апейка. Не мог выносить больше эти советы. — Тем более что никакого «забвения политики» никогда у меня не было. Просто политика — такая штука, что надо еще варить и собственной головой. — Ему не хотелось в этот момент вести общий, вряд ли кому полезный спор. Подмывало сказать другое. — А ты знаешь, — сказал он, воинственно подаваясь к Башлыкову лицом, — я тоже не в восхищении от твоей речи!

Башлыков глянул недоверчиво.

— Чем же она была плоха?

— Она была просто отличная. Но у нее был один недостаток. Это пустой выстрел. Выстрел в небо. Лишь бы куда.

Башлыков не понял.

— По-моему, если я что-нибудь соображаю, каждое слово имеет значение только тогда, когда оно... как бы сказать, отвечает людям... помогает им разобраться в том, что их беспокоит... и доходит до них. До их души... Твое не ответило им, не дошло.

Башлыков на минуту задумался. Похоже, хотел поспорить, но сдержался.

— Надо людей подымать, — изрек как окончательное. — А не плестись в хвосте.

Он пошел к столу и, показывая, что дискуссия закончена, заговорил о том, для чего вызвал.

— Обсудить надо, что делать. Давай подумаем.

Апейка молча кивнул. Надо обсудить. Он готов.

— Мы в прорыве. Надо сейчас же сделать серьезные выводы. И принять неотложные меры. Прежде всего выводы о себе, о нашей деятельности. Надо открыто посмотреть на все, назвать вещи своими именами. Мы играли в либерализм, миндальничали. В обстановке, где надо было действовать решительно. Проявили непростительное головотяпство. — Башлыков, видать, почувствовал, что Апейка может понять это как упрек себе, добавил строго: — В этом в первую очередь виноват я как секретарь райкома. — Он сказал, видел Апейка, не ради приличия. Да Апейку это и не удивило — Башлыков всегда строг к себе! Но сейчас не был настроен долго затягивать, критиковать себя. Надо действовать. Резко, решительно продолжал: — Результаты нашего головотяпства — на каждом шагу. Самый главный — активизация кулацких элементов. Пользуясь нашей сердобольностью, кулачье подняло головы! Идет открытой войной! Собрание вчерашнее показало это со всей очевидностью!.. — Он сдерживал досаду. Стройный, в обтянутой под поясом гимнастерке, тяжело опустил руку на стол. — Первая задача — ударить по кулачью!

Апейка кивнул головой. Согласен.

— Я думаю сейчас же вызвать Харчева и дать указание. Выехать в «Рассвет», расследовать причины. Принять неотложные меры. Наиболее злобных привлечь к судебной ответственности. Я считаю, что кроме кулачья надо ударить и по их союзникам всех мастей. По всем, кто

сомкнулся с ними, действует как их пособник. По всем подпевалам. Независимо от соцкатегории.

— Харчев — человек горячий, — деловито перебил его Апейка. Рассудительно подумал вслух: — Надо, чтобы разобрался трезво. Чтобы под горячую руку не перехватил. Списки, меры надо пересмотреть вместе. Обязательно.

Башлыкову не понравилось ни то, что Апейка перебил его, ни то, что он говорил. Неохотно согласился.

— Просмотрим... Серьезные партийные выводы, — заговорил он прежним решительным тоном, — надо сделать относительно Алешницкой ячейки. Я считаю, что деятельность Гайлиса и Черноштана надо обсудить на бюро и дать надлежащую оценку. Воздать по заслугам. Решение бюро широко обсудить в других ячейках района.

Ему надоело стоять. Он беспокойно дернулся, прошелся шаг, другой туда-назад. По тому, какая напряженность, стремительность чувствовалась в прямой стройной фигуре, было видно, что будет еще говорить. И очень важное.

— Я вообще считаю, то, что открылось в Глинищах, послужит нам сигналом, надо сделать серьезные выводы. Мы должны принять неотложные меры по отношению к кулачью по всему району. Все наиболее злобные элементы необходимо изолировать. Принять меры в отношении всяческих их пособников, подстрекателей. Явных и тайных кулацких агитаторов. Одним словом, действовать решительно и немедленно.

Глава вторая

1

Закончив, Башлыков ощутил в себе возбуждение и подъем. Решительность, с которой говорил, будто подняла самого, прибавила силы. Он готов был действовать.

Башлыков с Апейкой, человеком очень упрямым, и раньше на многое смотрели по-разному, но теперь то, что высказал Башлыков, он считал настолько насущно необходимым, что ожидал лишь неперемного Апейкиного согласия. Если же Апейка начнет снова гнуть свое — Башлыков готов был и к этому, — придется дать бой, серьезный и принципиальный. Предупредить как следует.

Он хотел только одного, чтоб спор не был долгим — нельзя тратить время попусту. Засунув руки в карманы брюк, он проницательно смотрел на Апейку.

— Я согласен, — сказал Апейка, — надо действовать. И действовать сейчас же... И еще согласен, что нужны выводы по всему району... Ты правильно говоришь: случай в «Рассвете» — сигнал. Сигнал опасности... А вот выводы, которые ты сделал, — в Апейкином голосе послышалась твердость, — я считаю однобокими.

— Какие же твои выводы? — Башлыков спросил так, будто показывал, что ничуть не удивлен. У Апейки всегда свои выводы.

— Выводы мои такие, — повысил голос Апейка, — что во всем виноваты прежде всего мы сами. Давай смотреть правде в глаза! И не кивать на кого-то. Если уж сказал, что виноват...

Упрек Апейки, будто он, Башлыков, не смотрит правде в глаза и взял вину на себя только для вида, Башлыкову не понравился. Чувствуя себя несправедливо обиженным, он все же большее внимание обратил на удивившее его «...не кивать на кого-то».

— Как это понимать: не кивать на кого-то?

— Так и понимать! — Апейка смотрел прямо, решительно. — Взять вину прежде всего на себя. Не искать чертей там, где их нету. А серьезно разобраться в истинных причинах.

— Ты понимаешь, что твой намек дурно пахнет? — В тоне Башлыкова ясно чувствовалось, что он предупреждает, запах этот очень опасный.

— Понимаю, — сказал Апейка твердо, — что никакого миндальничанья у нас не было. Вообще! Тем более к кулацким элементам! А вот ты понимать не хочешь: силой не всего можно добиться!

— Либеральничанье в такой момент, как теперь, вообще...

— Либеральничанье! — неколебимо перебил его Апейка. — Какое либеральничанье?.. Те люди, которых мы вчера уговаривали, пришли сами в колхоз. Среди первых... Значит, они не худшие. Не противники наши, во всяком случае. Не противники. — Апейка поднял глаза на Башлыкова, взгляды их встретились. Башлыков заметил, взгляд Апейки был настойчивый, требовательный. — А вот побыли, попробовали обещанного и чуть не в один голос: «Не хотим!» И уговоров новых не послушались. И уговоров и угроз!.. Вот что получилось! Вот что должно тревожить!.. Люди поверили нам, пошли, куда мы звали. Побыли и разочаровались и в артели, а вместе и в нас... А теперь мы решили, — в Апейкином голосе звучала насмешливость, — «правильный вывод», «принять меры!», «отомстить им!». За что? За то, что они поверили нам? За то, в чем мы сами виноваты?

Башлыков чем дальше, тем больше слушал его нетерпеливо. Не только потому, что разговор был не вовремя и путал мысли, но потому, что услышал в Апейкиных словах ненужную, прямо вредную теперь жалостливость. Жалость ко всему, еще и фальшивую: то, что Апейка так чувствительно обрисовал — он, Башлыков, сам видел, — выглядело немного иначе. Хотел остановить Апейку, но тот сухо сказал, опередив:

— Подожди! Чтобы все было ясно, слушай, еще раз повторю: кулацкие элементы, разных крикунов и злобствующих надо прижать!.. Но пойми же, — голос его стал тише, — там были не одни кулацкие элементы...

— Что там были не одни кулацкие элементы, я сам хорошо знаю, — прервал Башлыков с раздражением. — А вот ты говоришь так, будто их не было. Будто мы выдумали «чертей», как ты выразился. Ты фактически смазываешь, а идет жестокая классовая борьба...

— Ничего я не смазываю! Я только считаю, что довольно нам кивать на эту борьбу. Надо начать, наконец, серьезно работать с людьми. Прислушиваться к ним, стараться понять. И помогать им. Пора наконец взяться за колхозы как хозяевам. Рачительным хозяевам. Разобраться во всем. Навести порядок.

— Я это уже слышал вчера.

— Я скажу это и сегодня. И добавить могу. Вот мы зашевелились — беда в «Рассвете». А о беде этой предупреждал Черноштан два или еще три месяца назад. В этом самом кабинете. Тебя. И меня, потому что я был тоже здесь. Говорил: «Недовольны люди. Кто работает, кто не работает —

каждому палочка!» За то, что отбыл день. Что ты, что я сделали?.. А такие разговоры, настроения такие не только в «Рассвете»!..

— Ты опять об этом! — Башлыков раздраженно заходил по кабинету. — Неужели неясно, что не всяким настроениям мы должны потакать! Что потакание такое — чистейший оппортунизм! Привычки старого — это сорняки, которые крепко держатся. И мы им не кланяться должны, а вырывать их. Борьба с ними.

— Я не думаю, что это «сорняки старого». И не вижу ничего предосудительного в том, что люди получают по труду: больше сделал, больше получил.

— Ты многого не видишь! — Башлыков не скрывал своего превосходства над этим путаником, которому все неясно. — Берешься только судить обо всем. Дай тебе волю, опять новых кулаков разведешь! На колхозной основе!

Апейка, распаленный своими мыслями, не мог остановиться.

— Мы развернули хозяйство, а нередко тычемся, как слепые. Щупаем дорогу палочкой. Туда ступим — пощупаем, в другую сторону ступим. Развернули и еще спорим, как платить. На едоков или на паи... Не знаем толком, что обобществлять! Одни — только коней, коров, другие — подчистую...

— Ты, конечно, наполовинку делал бы. Чтоб одной ногой — в колхозе, другой — на своей полоске. Чтоб в колхозе так, для вида.

— При чем тут для вида! Что от тех курочек да свинок, — разозлился Апейка. — Что, колхоз на курочках поедет?! А из-за них столько голосов у женщин! Как бы веселей пошло все, если бы не эти курочки!

— Революцию надо делать или до конца, или совсем не браться! Революцию нельзя делать наполовину! И жалость тут — штука опасная. Особенно здесь, в селе. Где в каждом живет собственник!.. Где этот самый мужичок и в тебе все время говорит!..

Башлыков и видом и тоном разговора показывал: пора кончать говорильню. Он кинул нетерпеливый взгляд на телефон: надо сейчас же вызвать Харчева, дать указание. Однако Апейка не хотел кончать.

— Я не пророк, Алексей. Но я предчувствую, может быть хуже. Если мы серьезно не пересмотрим все. Если мы не перестанем считать только проценты. Как курица цыплят! Обманывать себя и других! — Башлыков почувствовал в Апейкином голосе осуждение. — Ты уверен, что в этих процентах нету тех, которые мы имели в «Рассвете»? Ты уверен, что нет артелей, которые еще еле держатся? Нет колхозников, которые глядят в сторону?

— Для чего ты все это разводишь?

Башлыков, засунув руки в карманы, смотрел на Апейку остро и строго. И во взгляде, и в тоне чувствовалось, что рассуждения Апейки для него не просто рассуждения, во всем этом он усматривает и другой смысл.

— А для того развожу, — повысил голос и Апейка, — что надо нам с тобой, пойми ты, серьезно разобраться. Найти, где наши слабины. И «принять меры». Своевременно. И еще потому, что мы с тобою должны стать хозяевами. Заниматься колхозами, как хорошие деловитые хозяева...

— Я за всей этой философией, — твердо, уверенно заговорил Башлыков, — вижу одно желание: чтоб мы задержались. Остановились, оглядывались. Копались. Давнее твое желание, с которым ты никак не хочешь расстаться. И которое ты уже столько раз отстаивал. Раздувал наши трудности и некоторые ошибки... Я тебя, Иван Анисимович, еще раз предупреждаю: ты становишься на зыбкую почву. Твои рассуждения — это шатания, которые имеют опасный политический характер.

— Давай не будем подводить большую политику сюда. — Апейка говорил так же резко и твердо. — Не надо приписывать мне грехи, которых нет. Да еще с политическими оценками. У меня своих довольно.

— Я предупреждаю тебя еще раз. И советую очень серьезно задуматься! Тебя уже не первый раз фактически заносит вправо! — Башлыков заметил что Апейка намерен был возразить, однако промолчал. Будто посчитал, что спорить никакой пользы. Это Башлыкову прибавило жесткости. — Ты уже не первый раз разными способами фактически стараешься притормозить темпы. Как это назвать теперь, когда партия требует от нас, не останавливаясь, изо всех сил идти вперед! Если партия требует: темпы, темпы, темпы?!

Башлыков смотрел гневно, слова, которые он произнес горячо, возбудили и самого. Смотрел, исполненный понимания своей силы: правда его мысли, чувствовалось, была для него бесспорной. Апейка отвел глаза. Грустно молчал.

— Ты не был под Варшавой? — не то спросил, не то просто сказал. — В двадцатом. Когда наступали.

Башлыков не ответил. При чем тут этот нелепый вопрос? Тем более что он хорошо знает — не был.

— А я был. Чуть не отправился там в иной мир... Взводный Сорокин вывез. Мимо уланских патрулей... — Он глянул на Башлыкова. Глазами, которые были где-то далеко, в воспоминаниях. Сказал вдруг неприязненно: — Когда мы шли на Варшаву, в двадцатом, тоже, помню были темпы. Дошли до самой Варшавы. А потом оказались под Минском...

Башлыков вообще не любил Апейкиных «шуточек»: сравнения, намеки, загадки. Тут же это сравнение просто дразнило.

— Аналогия эта твоя неудачная. Политически безвкусная.

— Это не аналогия. Просто вспомнилось кстати... При любых темпах нужны хорошие тылы. Особенно при быстрых...

2

Башлыкову послышалась издевка: «Особенно при быстрых». И это положило конец его терпению. Охватил гнев. Так отвечать на его принципиальное, партийное предупреждение!

Башлыков резко оборвал разговор. Первый. Показал, что он выложил самое главное и не даст себя запутать в ненужной болтовне. В рассуждениях с явным душком.

С чувством правоты своей и силы молча стоял за столом, держа руку в кармане брюк, обособленный, замкнутый. Не скрывал недовольства. Не считал нужным скрывать.

Была тишина, неприветливая, несогласная. Потом Апейка нехотя поднялся, промолвил понуро:

— До свиданья.

Башлыков ответил сдержанно, будто нарочно подчеркивая ту межу, что пролегла между ними. На мгновение взгляды их встретились, и Башлыков добавил, как предупредил:

— Советую подумать серьезно.

Апейка остановился, глянул исподлобья, по-бычьи:

— Нам обоим подумать надо...

И упорство, и тон разговора — словно свысока говорит! — снова задела Башлыкова, и в нем закипел гнев. Неприязненно следил он, как Апейка, опустив голову, тяжело двинулся к дверям.

Когда дверь закрылась, еще какое-то время стоял за столом. Не мог сразу осилить злого возбуждения спором, тем, что Апейка не понимает ничего и не хочет понять. Не слушает, по существу. Позволяет себе говорить так, будто он, Башлыков, чего-то не понимает. Башлыков думал об этом, не сомневаясь в себе, с полным ощущением своей правоты. Ему было хорошо оттого, что он вел в споре не только единственно правильную линию, но и держался принципиально, твердо. И, что там ни будут плести потом разные путаники, с принципиальной линии не сойдет никогда. Не поколеблется даже.

Мысли эти придавали силу, ощущение твердой почвы под ногами. Ясность в том, что происходит вокруг и куда надо идти. Преимущество над человеком, который многого не видит. Не может понять.

Он вышел из-за стола и твердо, уверенно заходил.

Но, странно, каким неколебимым ни хотел он казаться себе, в желанную уверенность его все же что-то ввязывалось, тревожило. Непокойный, он стал восстанавливать мысленно спор с Апейкой. Почти сразу память подсказала, что Апейка говорил о его выступлении: «Пустое... Пустой выстрел!..» Неприятно заныло внутри.

Апейка задел больное: выступление не дошло, не отозвалось в людях. Память сразу за этим подсказала и другое: Апейка упрекнул, будто он кивает на кого-то. Бойтся глядеть правде в глаза. Ложь этих слов чувствовалась такой очевидной, что в Башлыкове снова вспыхнуло возмущение. Когда это он, Башлыков, сваливал на кого-то ответственность, прятался за чужие спины?

Он вспомнил, как силился Апейка доказать, что во всей беде с коллективизацией в районе виноват будто неправильный подход к крестьянам. Мало, видите ли, учили, как надо сеять и косить в колхозах, считать заработанные деньги. Мало чуткости к тем, кто вцепился в свой клочок земли и не хочет понимать ничего. Мало чуткости к «душе»! Перебирая все это заново, Башлыков видел, что под «мудрыми» придумками скрывается, в сущности, не что иное, как стремление убедить, что нужна не ясная и твердая партийная линия, а туманные уговоры. Не беспощадная классовая борьба, а либеральное миндальничанье. Наступая в мыслях на Апейку и невольно сожалея, что не все высказал, как следует быть, не нашел самых точных слов, он с удовлетворением вспомнил, что удачно, точно определил формулу действий. Революцию надо делать или решительно, до конца, или совсем не браться. До конца, до окончательной победы надо идти!

«Оппортунист. Форменный оппортунист, — с той же ясностью, убежденностью дал определение и Апейке. — Явно хромает на правую. И, видать, уже безнадежно... Не понимает сущности. И не хочет понимать... — То, что слышалось прежде, стало очевидно. — С таким далеко не пойдешь в одной упряжке. — Естественно возникло дальнейшее, практическое. — Не на месте. Явно не на месте».

Подумал, что надо делать серьезные выводы из всего, дать всем фактам политическую, большевистскую оценку. Что дальнейшее его замалчивание взглядов Апейки похоже уже на собственный оппортунизм.

Да, его, Башлыкова, терпимость попахивает оппортунизмом. Надо

неотложно принять меры. Обсудить на бюро. Предупредить окружном.
И вообще действовать более решительно!

Башлыков перестал мерить шагами кабинет, энергично подошел к телефону. Вызвал Харчева.

В нетерпеливом ожидании взялся пересматривать бумаги. Когда вошел Харчев, сразу поднялся из-за стола, крепко пожал руку.

Башлыков с самого начала дал понять, что разговор будет весьма серьезный. Ни одного вопроса предварительно, вид сосредоточенный, официальный.

Начал сразу с главного. Вчера был в Глинищах. Выяснил, что там происходит. Днем прошел по многим дворам, вечером провел собрание. Еще знакомясь с обстановкой днем, убедился: колхоз распался не случайно. В селе всюду идет скрытая, широко пустившая корни антиколхозная агитация. Собрание, которое он решил созвать, саботировали, пробовали сорвать. На собрании же перешли к открытым выступлениям, к злобным выкрикам под видом «голоса масс». Особенно активничал тип с явно кулацким нутром по прозвищу Свердел. Одним словом, обстановка, сложившаяся в Глинищах, очень нездоровая и требует неотложных и самых решительных мер.

Зная, что боевому, надежному Харчеву нередко не хватает умения оценить явления в их широком политическом значении, Башлыков специально подчеркнул, что все, что происходило в Глинищах, нельзя рассматривать как явление местное. Враждебные вылазки в Глинищах, бесспорно вызывают вражескую активность в других местах. По всему району. Коротко, требовательно закончил: надо сейчас же выехать в Глинищи, расследовать все на месте. Принять самые строгие меры.

Обветренное тяжеловатое лицо Харчева было внимательным. Харчев только раз-другой мельком встретился со взглядом Башлыкова, но Башлыков глубоко чувствовал единство с ним. Этому не только не мешало, а даже способствовало то, что Харчев всегда держался с ним независимо, как равный с равным. Башлыков был уверен в главном: Харчев понимал все и на него можно положиться.

Когда Башлыков кончил, Харчев бросил взгляд — все ли, спокойно поднялся. От всей фигуры Харчева исходило ощущение силы, мощное тело под натянутой выцветшей гимнастеркой, красноватая шея выпирает из

воротника. И сила эта и спокойствие подействовали на Башлыкова обнадеживающе. Поддержало и короткое, хозяйское: сейчас поедет, сделает все.

Как раз вошел Миша, доложил, что ждет корреспондент из Минска. Башлыков с официальной сдержанностью, остерегаясь показать слабость, сжал руку Харчеву, попросил Мишу позвать корреспондента. Тот оказался черненьким, очень молодым хлопцем. Худенький, курносый, он выглядел просто мальчишкой, но Башлыков встретил его с уважением. Башлыков уважал журналистов. Поздоровавшись, он, однако, попросил удостоверение: порядок есть порядок. Бдительность никогда не лишняя, район, можно сказать, в приграничной зоне. И он, журналист, пусть знает, что здесь порядок.

Журналист засуетился, из потертого кортового пиджачка достал сложенный, помятый листок бумаги. Ого, «Советская Белоруссия», центральная республиканская газета. Федор Кулеш, сотрудник отдела колхозного строительства. Башлыков вернул удостоверение, пригласил сесть, выяснил, когда тот приехал, устроился ли с жильем, что интересует в районе.

Гостя, понятно, интересовала коллективизация. Как идет дело и в целом, каково положение в районе с колхозами.

— Ясно, — сказал Башлыков. Как говорят о самом простом.

Он и видом своим показывал, что ему это все ясно и просто. Однако в душе его было и неясно и непросто. Противоречиво все. С вопросом журналиста в нем как бы усилилась тревога за вчерашнее. Человека внимательного и правдивого перед собой, его это уязвляло больше всего. Но вместе с правдивостью жила в нем и давняя привычка не показывать никому своей слабости. Тем более не любил он жаловаться. Здесь же, ко всему, выступал он не просто как Башлыков, обыкновенный человек, а как секретарь райкома партии. И был перед ним не друг-приятель, а работник прессы, представитель республиканского учреждения. И нужны были ему не личные ощущения какого-то Башлыкова, а взгляды руководителя района. Принципиальные взгляды.

Ясно было, прежде всего надлежало дать политическую характеристику положения в районе. В соответствии с общими, принципиальными положениями о коллективизации. Он начал с того, что сообщил: в районе идет острая классовая борьба. Кулачество, чувствуя свою близкую гибель, не останавливается ни перед чем. Действует любыми способами. Рассказывая о враждебной деятельности, Башлыков заново вспомнил спор с Апейкой, снова вспыхнул. Как будто продолжал

незаконченную дискуссию.

Как один из примеров, где кулачество особенно развернуло свою деятельность, Башлыков назвал деревню Глиници. Хотел рассказать о собрании, однако остановил себя: неизбежно выдал бы свое бессилие, свое и всего руководства. Да и болело это слишком, чтобы показывать постороннему человеку.

— Вы, наверно, знаете, что район включен в первую группу, — пошел Башлыков дальше. Корреспондент кивнул: знает. — Мы должны коллективизировать район до весны следующего года. Это наша главная задача... — Башлыков самокритично признал, что темпы коллективизации в районе пока недостаточные. Чтобы у корреспондента не осталось впечатления, что в районе смирились с этим, он сразу же заверил, что будет делать все для того, чтобы темпы решительно ускорить. И что задачу, которая поставлена, район выполнит.

Он помнил, страна должна знать своих героев, с гордостью стал рассказывать про лучшие колхозы, лучших людей. Корреспондент, склонив голову, на которой топырились неотросшие волосы, похожий на молодого скворца, торопливо записывал в тетрадь, и Башлыков говорил медленно, чтобы тот поспевал. Когда произносил названия, числа, то даже повторял, чтобы газетчик не ошибся. Следил, как тот пишет фамилии, поправлял. Он понимает, какое ответственное дело — газета.

Перебирая в памяти людей, он, между прочим, вспомнил Казаченку, Дубодела, Миканора, Гайлиса. До скверной истории с «Рассветом» он относился к ним по-разному, то хвалил, то критиковал, теперь же, сомневаясь, отметил добрым словом одного Дубодела.

Башлыков посоветовал, куда лучше ехать, к кому обратиться. Обещал позвонить, чтоб там помогли. Тут же встал, позвал Мишу, приказал обеспечить подводу. У корреспондента было письмо из редакции. Башлыков посмотрел его. Редакция сообщала, что из Слободки поступила жалоба — притесняют селькора Корбита. Башлыков тоном, который показывал, что он хорошо понимает политическое значение жалобы, заявил, что будут приняты строгие меры.

Проводив журналиста до дверей, Башлыков вернулся, сел за стол. Какое-то время сидел недвижимо. В памяти осталось, у мальчика-журналиста удивительно пронизательный взгляд. Совсем не юношеский. Было смутно на душе, будто не все сказал как надо. Было беспокойно. В плохое время журналист приехал...

Башлыков как бы прислушивался к себе. Его не пугает, что он там напишет, корреспондент. Самое плохое, напишет он или нет, все равно

существует. Провал. Снова угнетало ощущение вчерашней неудачи. Помнилась и сегодняшняя стычка с Апейкой. И звонок секретаря окружкома. Была минута грусти, одиночества. Потом он стал лихорадочно думать, что делать, как выбраться из прорыва.

Надо пересмотреть заново все возможности. Все и всех бросить на ликвидацию прорыва.

В последние дни, объезжая район, он совсем упустил из вида районные звенья. Надо поднять их: агитацию, молодежь, культурные силы. Шефов.

Башлыков давно собирался поставить вопрос о шефской работе. Надо сегодня же наконец поставить. Собрать всех шефов и спросить с них. Он достал бумагу, начал составлять список. Список секретарей партячеек. Всех, кого надлежит вызвать на совещание по шефской работе в колхозах.

Стремительно двинулся к двери. Миша уже был в приемной. Приказал ему созвать всех на семнадцать ноль-ноль. Предупредить, чтоб пришли с материалами о сделанном. Докладывать будут все.

Было лихорадочное желание действовать. В действии как бы искал опору себе, уверенность.

Одного за другим вызывал работников райкома, ответственных работников районных учреждений. И в райкоме, и в других районных учреждениях местечка их оставалось мало, большинство разъехались по деревням, занимались коллективизацией, но его это не успокаивало. Все время, как тень, жила память о вчерашнем, о споре с Апейкой, звонок из Мозыря.

Люди отчитывались, что сделано, что планируется сделать. Все чувствовали его энергичную, строгую требовательность, неудовлетворенность сделанным.

После нескольких таких бесед он вызвал заведующего агитпропом Коржицкого. Коржицкий, человек тоже новый и тоже молодой, почти все время мотался по району. Поправлять его не надо было, знал свое дело: то с агитаторами где-нибудь в сельсовете или в школе, учит, разъясняет, то сам на собрании с докладом, с речью. Взяли его с учебы, из минского института.

Башлыков обычно не упрекал своего агитпропа. В том уважении, которое он чувствовал к нему, было даже скрытое сознание некоторого

превосходства того над ним, Башлыковым. Коржицкий, не однажды замечал Башлыков, сильнее был в знании истории партии, теоретически лучше подкован. Успокаивало Башлыкова то, что Коржицкому далеко до него в умении связывать теоретические знания с практикой, в умении организовать дело. Располагал Башлыкова к Коржицкому мягкий, откровенный характер заведующего агитпропом.

И сегодня Коржицкий смотрел на него чистыми синими глазами. И рассказывал он толково, со знанием, ровным, как обычно, голосом. Все было в нем, как всегда, но сегодня это в Башлыкове вызвало глухую неприязнь. Такое было ощущение, будто Коржицкий, хотя тоже виноват во всем, не хочет брать долю вины на себя. Сдерживая недоброе чувство, Башлыков расспрашивал о работе в отдельных сельсоветах, избах-читальнях, об отдельных агитаторах. С особым пристрастием выяснял, что агитпроп делал в Алешниках, в Глинищах. С раздражением слушал о Глинищах: выходило, сделано там немало. Недовольство вызвала похвала Параске Дорошке, сразу вспомнил ее выступление на собрании, считал, что она предала его, который так на нее надеялся. Изменила в такой момент, уклонистка...

Известно, не надо было хвалить агитпроповцев в Глинищах. Не за что хвалить, когда у них на глазах развалили колхоз. В непонимании этого проявилась слабость Коржицкого, которую Башлыков отметил снова: мало практической хватки. С чувством собственного превосходства и точным знанием цели Башлыков пошел в наступление на заведующего агитпропом.

— Так, поработали хорошо, — хмуро подхватил он слова Коржицкого. Резко повернул: — Только не мы, а другие. Результат их работы хорошо виден. Вчера сам видел в Глинищах. Хорошо поработали! Кулаки и все их прихвостни. — Синие ясные глаза Коржицкого замутила растерянность. Вроде бы и не соглашался, но и не запротестовал. Смолчал. — О работе всех нас будут судить по результатам, — сказал Башлыков, как бы набираясь силы. — А результаты наши — вот они. Тридцать семь хозяйств за неделю влилось в колхоз. И двадцать девять за день — из колхоза. Шаг вперед, два назад. Наши темпы. Результаты нашей работы...

Башлыков хорошо понимал, что, хоть он говорит «нас», «наши», Коржицкий воспринимает это как обвинение ему лично и его отделу. Это полностью отвечало стремлению Башлыкова, он и хотел, чтоб Коржицкий взял долю вины на себя — больше стараний приложит. С этой целью Башлыков и обвинял Коржицкого в том, что агитпроп не справляется с задачами, которые поставил перед ним нынешний острый момент, с теми темпами, которые необходимо набрать, чтобы выполнить обязательства.

Чтобы ликвидировать прорыв, в котором район оказался. Чтобы добиться перелома.

Башлыков строго, придирчиво рассмотрел план агитпропработы, почеркал его, покритиковал, вернул, предложив доработать. В плане, на его взгляд, недостаточно обращалось внимания на борьбу с кулацкой пропагандой и особенно на борьбу за усиление темпов коллективизации.

Когда Коржицкий ушел, Башлыков почувствовал, что недаром старался, агитпроп, похоже, понял положение. Однако успокоения у Башлыкова по-прежнему не было. Впереди ждали многие другие заботы, еще не все силы были мобилизованы. Прежде всего — молодежь.

Кудрявец только что приехал из района. Он вошел в кабинет Башлыкова еще багровый от холода. Башлыкову бросилось в глаза, был он непонятно почему веселый, даже беззаботный какой-то. Эта его беззаботность в такое время неприятно поразила. Поразила тем более, что Кудрявец был ему особенно близок. Башлыков к Кудрявцу испытывал даже чувство родственности. Он жил в том мире, который был недавно и его, Башлыкова, миром, в дорогом комсомольском бурлении.

Кудрявец приехал из Березовки. Башлыков осторожно спросил, что там в Березовке. Новости были хорошие, комсомол добился — коллективизировали еще двенадцать хозяйств. Но Башлыкова это не успокоило, едва дослушав ответ, он повел речь о том, что наболело. Коротко, энергично рассказал о вчерашнем дне и вечере в Глинищах, особенно выделил, как вели себя комсомольцы и в целом молодежь. Большинство комсомольцев, должен открыто сказать, странно себя вели: и днем позади, втихую, и вечером, на собрании, молча. Многих вообще нельзя было понять: за кого они? Один Казаченко действовал смело, энергично. Словом, все факты говорят о полном разложении целой ячейки. На виду у райкома комсомола.

Башлыков видел, как прямо на глазах веселую беззаботность на лице Кудрявца сменили виноватость и неловкость. Заметив мельком, как он напряженно, будто школьник, ждет дальнейшего, худшего, Башлыков вдруг почувствовал жалость к нему. Однако тут же трезво приглушил ее: не та обстановка, чтоб поддаваться слабости. И вообще знал, должен быть как можно строже, принципиальнее. Твердо повел дальше: разложение ячейки в Глинищах непростительно особенно потому, что оно не случайность, что все это результат не одного дня. Это бесспорно постепенное разложение. И то, что райком комсомола не смог заметить его, говорит о полной утрате бдительности, о слепоте. О головотяпстве. Факт этот свидетельствует и о том, что райком в целом плохо знает положение в ячейках. Плохо знает,

значит, плохо и руководит ими.

Башлыков никогда не говорил так резко с Кудрявцом. Однако ж никогда до сих пор не было и такой причины, такого положения, которое вынуждало само по себе и к особой требовательности и особой строгости. Не забывая ни на минуту о создавшемся положении, Башлыков считал своей обязанностью — секретаря райкома — проявлять жесткую требовательность во всем. Если головотяпство в руководстве вообще нельзя прощать, то теперь — в позорном прорыве, до которого они довели район — такое расценивается не иначе, как преступление. Самое тяжкое политическое преступление.

Отсюда Башлыков повел речь о том, что особо тревожило: как выправить положение в районе. Уже не только осуждая, а и надеясь на Кудрявца, на райком комсомола, но все еще довольно сурово объяснял: надо добиться решительного поворота в темпах.

Башлыков был глубоко убежден: результаты всей работы в районе во многом будут зависеть от комсомола, от молодежи. Ища выход из положения, он больше всего надеялся на комсомол: если кто и может спасти, то прежде всего комсомол, молодежь. Была эта вера и оттого, что еще и сам жил, можно сказать, комсомолом и убеждением, что молодежь — самая живая и действенная сила в обществе. В сельскую молодежь он, правда, и верил, и не верил. Она не раз и разочаровывала и радовала. Казалось, больше обманывала, горше разочаровывала своей неподатливостью, ограниченностью, чем старые крестьяне. В молодых деревенских ребятах он просто терпеть не мог приверженности к частной собственности, недоверчивости, осторожности. Память о вчерашнем эту привычную неприязнь его делала еще более чувствительной. И все же, как бы там ни было, он напомнил себе теперь: и в селе, в этом неподвижном болоте, молодежь сильнее тянулась к новому. Хоть и не так, как надо было и как хотелось бы. Но кто особенно обнадеживал Башлыкова, так это пролетарская молодежь. Ее, правда, немного в местечке, где самое крупное производство — паровая мельница. Но она есть, такая молодежь. И оттого, что ее мало, особенно важна умелая организация. Организовать, направить так, чтобы она повела других за собой. В село, на коллективизацию.

Непростые чувства владели Башлыковым, когда он советовал Кудрявцу, как организовать молодежь, чтобы вывести район из прорыва, поднять темпы коллективизации. И надежды, и сомнения, и трезвая оценка, и несбыточные мечты — все было в его ощущениях, среди которых упрямое единственное желание: одолеть отчаяние.

Башлыков глушил отчаяние, старался не поддаваться. Практические

советы, указания, которые он давал Кудрявцу, то сидя за столом, то прохаживаясь, придавали силу и ему самому. Придавало силу еще и то, что секретарь райкома комсомола, худой, русский, преданно следил за каждым словом, каждым движением его. Готов был подставить плечо, верил ему. Правда, Башлыкова эта вера Кудрявца, наивная, почти детская, слегка и раздражала.

Но все же сдерживал раздражение, как мог уверенно, наставительно, на правах старшего товарища закончил:

— Обдумай все, посоветуйся. Приходи с предложениями. Обсудим на бюро райкома.

Когда Кудрявец вышел, осталось какое-то противоречивое чувство неудовлетворенности. Может, излишне резко говорил, особенно вначале. Может, обидел несправедливо старательного, преданного хлопца. Но тут же злился на себя, на свою мягкотелость: нечего жалеть, правду сказал. Хороший парень — это так. Но так же факт, что слабоват. Нет организаторской хватки. Настойчивости маловато... Не заменить ли?.. Кем? Может, попросить в окружке? Пожелал невольно: кого-нибудь из Гомеля бы, из друзей!

После Кудрявца Башлыков вызвал еще несколько человек. Самым важным из них был, пожалуй, заведующий районо Мормаль.

Мормаль, бывший учитель, немолодой уже, вошел в кабинет, как в класс, подтянутый, готовый ко всему, с папочкой в руке. В пиджачке, в красноармейских галифе и начищенных сапогах, он остановился у дверей, неуверенный и словно виноватый.

Башлыков вышел навстречу, пожал руку, пригласил сесть. Мормаль сел на край стула, папочку взял в обе руки, держа их на коленях, безропотно смотрел на Секретаря райкома.

Башлыков держался с ним приветливо, но строго официально. За внешней вежливостью и официальной холодноватостью припрятывал недовольство: заведующий районо не нравился, глуховат к тому, что касается политики, не разворотлив. Его надо было давно заменить, Башлыков и заменил бы, но Апейка упорно сопротивлялся, заступался за старика. Имело, естественно, значение и то, что заменить заведующего было не так просто. Образованных, с организаторским талантом людей не хватало и на более важных участках.

Мормаль не иначе как знал или догадывался об отношении секретаря к себе. И это осложняло разговор.

Немолодые годы и учительское звание заведующего районо вынуждали Башлыкова говорить как можно деликатнее, однако не

помешали высказать все, что считал необходимым, с надлежащей суровостью. Башлыков критиковал, требовал. Учителя мало работают с крестьянами. Недостаточно серьезно относятся к коллективизации. Не вовлекают крестьян в колхозы, не ведут разъяснительной работы о преимуществах колхозного строя. Уклоняются от борьбы с кулачеством. Почти не привлекают детей, чтобы те влияли на родителей, добивались от них вступления в колхозы.

Говоря это, Башлыков вспоминал собрание в Глинищах, детские фигурки, которые носились по хатам, созывая крестьян. Любознательные, взволнованные глазенки на собрании среди взрослых. Он как бы корил себя за некоторую жесткость к детям, но не смягчался, помнил: главное — настроить заведующего на решительный поворот. Необходимость этого подкрепляло выступление на собрании Параски.

Подведя итог всему сказанному, Башлыков заявил Мормалю, что районо, по сути, почти не занимается коллективизацией, пустили эту важнейшую государственную кампанию на самотек. Такое положение райком дальше не потерпит.

Мормаль, беспокойно двигая папочку на коленях, виновато пробовал возражать. Учителя не уклоняются от этой задачи. С детьми работа ведется, но родители не слушают их. Районо все время занимается коллективизацией. Видя, как недовольно слушает его возражения Башлыков, заведующий районо терялся, соглашался: понятно, надо больше работать. Лучше агитировать.

Башлыков понимал, Мормаль говорил правду. Учителя делали все, и районо занимался коллективизацией. И все же эти отговорочки злили — заведующий районо будто хотел обособиться. Не хотел понять положения, напрячь силы, как этого требовал момент. Башлыков говорил все более резко, стараясь сломить это благодушное, оппортунистическое настроение.

Добился вроде наконец, будто дошло. Мормаль поклялся, что мобилизует все силы учителей и школьников. Башлыков условился, что Мормаль ежедневно будет докладывать о результатах.

Когда расставались, облегчение не пришло. Не покидало все то же ощущение мало сделанного. Весь день бередило оно, не унималось и теперь.

Беспокойство стихло на бюро райкома, которое он собрал после

полудня.

На бюро пришли только четверо, да и то двое из них — Апейка и Коржицкий. Из кандидатов в члены бюро один Кудрявец. Другие находились в районе. Но собрать бюро было необходимо: Башлыков хотел бросить на ликвидацию прорыва своих ближайших товарищей и, кроме того, утвердить некоторые дальнейшие мероприятия.

В ближайшие дни он решил провести районное собрание уполномоченных по коллективизации и партийного актива. Надо, чтобы бюро высказало свои соображения о таком собрании.

Башлыков говорил подчеркнуто сдержанно, чтоб у членов бюро не создалось впечатления, будто он поддался панике. Вместе с тем он и не приукрашивал положения, старался, чтобы члены бюро поняли, какой опасный момент наступил. Остерегаясь, что спор с Апейкой может отвлечь внимание от главного, ни словом не задел председателя исполкома.

Члены бюро во всем поддержали Башлыкова, согласились, что им надо разъехаться по сельсоветам, предусмотреть все, принять меры, чтоб не дать повториться случаю в Глинищах. Все единогласно подхватили предложение Башлыкова о собрании уполномоченных и актива. Все согласились, что собрание в теперешний момент прямо необходимо. Доклад поручили Башлыкову, и Апейка согласно кивнул вместе с другими.

Оттого ли, что Башлыков почувствовал поддержку — бюро прошло очень единодушно и деловито, — или оттого, что на бюро вышел с важными предложениями на дальнейшее, поначалу он вздохнул с облегчением. Уверенный в своей правоте, не переставая, думал о завтрашней поездке в Алешницкий сельсовет, поездке, которой он надеялся выправить то, что началось в Глинищах.

С этим настроением готовился Башлыков к совещанию о шефстве. Пересмотрел сведения о работе шефов, и более давние, и новые, которые только что принес Миша. Перечитал подобные им решения о шефстве. Продумал и набросал на бумаге план своего выступления. Когда он делал это, мысли его забежали то в завтрашнюю поездку в Алешники, то еще дальше — на совещание актива. Он был уверен, что доберется там, в Алешниках, до самых корней, выведет всякую нечисть на поверхность. Наведет порядок. Наведет да еще других научит. На совещании актива... К совещанию будет свежий материал. То, что увидит своими глазами...

За окном было темно, когда начали сходить шефы. Первым объявился Гирш Кофман, председатель сапожной артели, вошел сразу в кабинет, по-приятельски добросердечно поздоровался. Он был в брезентовом плаще, с кнутом, из чего Башлыков заключил, что Кофман

приехал из Прудка. Кофман сразу уловил, что Башлыков занят, враз напустил на себя озабоченность, спросил: «Где будет?» — попросил извинить за вторжение. Просто хотел уточнить, а на месте никого нет.

Ровно в шесть Миша вошел в кабинет, доложил, что народ собрался, ждет. Башлыков взял подготовленные листки и направился в зал, где должно было состояться совещание. Из президиума осмотрел помещение. Зал и наполовину не заполнен, но главные, наиболее необходимые были здесь. Кроме Кофмана он заметил чернявого молчаливого Лазаря Голода, председателя швейной артели, заведующего мельницей — рослого бесцеремонного Сопота, молодого улыбочатого заведующего школой Волоха, директора детского дома Бабуру, были и секретари партийных, комсомольских ячеек, среди которых Башлыкову бросилась в глаза Михаленка, что когда-то на чистке так рьяно защищала Апейку.

Да, собрались далеко не все. Конечно, многие, кого не оказалось в зале, были в районе, не успели приехать или не знали о совещании. Как бы там ни было, Башлыков по своей, уже неизменной привычке пробежал список приглашенных, время от времени подымая глаза, спрашивая, почему не видно того или другого человека. В заде то шумели, отвечая, то молчали, когда Башлыков оглашал имена, однако рабочая атмосфера усиливалась. Башлыков с самого начала дал понять, что разговор пойдет сугубо серьезный.

Собрание решил открыть докладами руководителей предприятий и секретарей ячеек. Сидя за столом, застланным красным блеклым перкалем, он спросил, кто хочет первый взять слово. На минуту водворилась тишина, все оглядывались, отводили глаза в сторону. Кофман на это сказал, что товарищ секретарь ставит всех в положение неловкое, потому что никому не удобно первому выходить и хвалиться успехами. Его шутку поняли, в зале послышались веселые отклики. Все знали, успехов нет, разговор ожидается нелегкий, и слова Кофмана смягчили тягостное ожидание. Кофман же первый и поднялся все с тем же кнутом в руке. Хвалиться он не хвалился, а деловито рассказал о делах в деревне, откуда приехал, но Башлыкову не понравился его мягковатый, беззаботный тон, который явно неправильно, легкомысленно настраивал людей. Башлыков решительно прервал его, стал пристрастно допрашивать, что конкретно сделано по шефской работе.

Он быстро сбил беззаботность с Кофмана, показал ему шефские его «успехи» в настоящем свете, так что, возвращаясь на место, Кофман только качал головой да отдувался. Возбужденный разговором с Кофманом, тем уроком, который преподал ему, Башлыков уже не дожидался добровольцев,

вызывал. Внимательно слушал каждого. То и дело перебивал вопросами, отмечал наиболее важное. Иногда он спешно делал на листке пометку, чтоб не забыть, пробежал глазами по залу, по лицам, однако ни на минуту не ослаблял острого внимания к выступающему. Каждому оратору и всем в зале он показывал, как мало и как плохо сделано в таком важном деле. И какое беспечное отношение к нему.

Были попытки оправдаться любыми способами, даже попытки уклониться были. Слушая некоторых, их обещания, он понимал, что его заботы мало волнуют их. Что перемен особых не будет. Это раздражало, злило.

Может, потому, что он не пришел в себя еще после вчерашних дня и ночи, Башлыков скоро стал снова нервничать. Правда, и дело с шефской работой обстояло хуже некуда. Нервы не выдерживали напряжения, Башлыков горячился. С этой горячностью и кончил совещание. Он не только не искал каких-либо смягчающих слов, а, наоборот, выбирал самые жалающие, беспощадные, когда рисовал положение в районе с коллективизацией, когда рассказывал о случае в Глинищах, о той гнусной работе, которую ведет в деревнях кулачье и прочая нечисть против колхозов. Ведет в то время, когда большинство шефов блаженно почивают. Разоблачая, осуждая, он гневно бросил, что в той катастрофе, в которой район очутился, большая вина и шефов, их слабой действительности, а во многих, по существу, случаях — бездейственности. Такое отношение к шефской работе, которое обнаружилось в некоторых выступлениях и тут, на совещании, пригвоздил Башлыков, есть не что иное, как головотяпство, тяжкое преступление.

Его горячая, острая речь, он видел, волновала, доходила. Факт этот, однако, судя по состоянию дел, не утешал и не успокаивал. Настойчивый, сосредоточенный, он объявил, что за срыв шефской работы райком спросит, как за срыв важнейшей государственной кампании. Никакие отговорки не будут приниматься.

Как ни взволнован был, не только соответственно настроил всех, но и дал конкретные указания. обстоятельно разъяснил, что необходимо сделать каждому учреждению. Назвал сроки, назначил ответственных.

За окнами было уже темно, когда Башлыков закрыл совещание и зал начал пустеть.

Он вернулся в кабинет. Какое-то мгновение постоял, как бы на распутье. Как бы хотел понять, что же дальше. Не придумал ничего. Увидел на столе пачку папирос. Закурил, заходил.

Он чувствовал и усталость и вместе с тем возбуждение. И работать больше был не способен, и отдыхать не мог. Не впервые мелькнуло в мыслях: этими своими речами, пожалуй, не так других подымешь, как себя растрaviшь.

Надо было бы сходить пообедать, но есть не хотелось.

Спохватившись, он позвал Мишу, распорядился, чтоб тот передал вознице завтра к семи быть готовым в дорогу. Разрешил Мише идти домой.

Можно было бы и самому уходить. Даже надо. Отдохнуть перед завтрашним. Однако идти никуда не хотелось. Ничего не хотелось.

Несмотря на усталость, душу охватило беспокойство. Вот же беда: понимал, все сделал как мог, а удовлетворения никакого. Не только удовлетворения, а хоть какого-то облегчения.

Не было уверенности в том, что сделал правильно все, что мог и обязан был. Точило даже, скорее, глухое, но упорное чувство, что сделал не то, не главное. Что не сдвинулось дело с мертвой точки, а должно было. Это оставалось в сознании и тогда, когда все больше захватывала тревога, тяжкая, глубокая, неотступная. Когда так упрямо наседали мучительные воспоминания.

Днем сомнения эти прятались за хлопотами, их можно было приглушить, к тому же день впереди, впереди и надежда. Теперь день был позади, все, что мог, сделал, и уже видна цена сделанному. С ясностью, от которой овладевала слабость, видел, что сделал мало, ничтожно мало, почти ничего не сделал. А в голову, горячую, возбужденную, все вплеталось воспоминание: вчерашний день и вечер в Глинищах, разговор с Голубовичем, Нинино письмо, спор с Апейкой. Как бы заново звучало: «Не пойдем!.. Не отдадим!», «Голову снимем!..», «Ты родственник пана Шепеля!..»

Среди всего вклинилось Апейкино, особенно жестокое, потому что и сам понимал значение, опасность его: «Это только сигнал!.. Может быть хуже...» Как бы услышав снова это, заходил быстрее. Плохо, дальше некуда. До весны с такими темпами — провал бесспорный... Тут мысли его пронзило внезапное: «Алешка, чертяка! Мы тобой гордимся!..» И оклик этот занозой впился в сердце. Как нарочно, как насмешка!.. Не сразу смог вернуться к прерванным мыслям, как-то направить их. Ему доверили такое важное дело, поставили на такой важный участок. А он, наверно, может и не оправдать надежд...

За тяжкими рассуждениями пришла слабость. Семь месяцев здесь! Не спит, не ест, можно сказать, всю душу отдает! А результаты?! Охватило отчаяние, такое сильное, которое может охватить, только когда ты беспредельно напряжен, когда ты горяч и тебе двадцать пять...

В эту минуту унижительной слабости его вдруг обожгло снова вчерашнее собрание, поведение на нем Гайлиса и Апейки. Заново представился утренний разговор с Апейкой, и с новой силой поднялось негодование, несогласие с тем, во что Апейка пытался втянуть его.

Он теперь с еще большей ясностью убедился во всей лживости Апейкиных мудрствований, лживости и даже опасности их — они могли сбить с правильного пути, обессилить в тот момент, когда так нужна твердость и уверенность. «Явно хромает на правую! Сам хромает и других подбивает!» — подумал возмущенно.

После этого отчетливее выделась и причина недовольства прожитым днем. Прояснилось и то, что день этот и все сделанное мало что изменят в положении потому, что и Коржицкий, и Мормаль — не та сила, на которую можно серьезно опереться. И не потому, что Коржицкий и Мормаль плохи сами по себе. Кто бы ни был на их месте, ничего не сделает. Потому что надо не рассуждать, а действовать. Энергичные, твердые люди, настоящие большевики нужны там, на месте. А у нас Черноштаны да Гайлисы. Мягкотелость. Оппортунизм. Правый уклон.

«Не то делаем, не так, — крепла уверенность. — Говорим много. Уповаем на слова. На уговоры. Здесь наша неудача. Уговоры — пустозвонство! Действовать надо! Сила нужна. На силу сила! И не чикаться! Не миндальничать! Решимость нужна! Натиск! Прижать налогами! Судить злостных! Чтоб почувствовали силу!..» Он похвалил себя, что так умно распорядился Харчевым...

От этих мыслей стало полегче. Будто увидел впереди просвет, увидел, куда идти, и увидел, что дорога туда обещает ему доброе. Сам не заметил, как заходил быстрее, тверже.

В голову лезли строки из письма: Лена спрашивала, интересуется, жалеет. В эту минуту напоминание о Лене было приятным. Лена видела его сильным, красивым. Пускай смотрит!..

Вспомнив письмо, подумал о матери, о Нине, решил твердо: «Надо забрать сюда. Забрать...» Потом усилием воли настроил себя на завтрашнюю поездку. И вдруг в эту его противоречивую тревожность память неожиданно настойчиво ввела новую глинищанскую знакомую. Будто увидел снова, как она склонилась к нему, поливая воду; ощутил тепло ее руки, которую протянула, вылезая из погребка. Она вдруг возникла

перед ним. Ее глаза, насмешливые, непонятные, вся она, своенравная, гордая, была, казалось, рядом. И рядом. И далеко.

Сразу охватило странное ощущение — как не хватает ее здесь. Ее глаз, ее голоса, ее смеха. Всей ее. В этот вечер. В эту минуту. Удивился, пожалел: как он так расстался с нею? Почему не присмотрелся, хоть бы поговорил толком.

Так захотелось повидать ее, побыть с нею, что пришла шальная мысль: сесть сейчас вот в возок и махнуть туда. Глянуть хоть. Но тут же сдержал себя — прихоть глупая. Этого только ему не хватало. И вообще что он знает о ней? Кто она?

Но рассуждения не действовали. Знал одно: она должна быть здесь. С ним должна быть!..

Глава третья

1

Башлыков выехал из Юровичей затемно с таким расчетом, чтобы добраться до Алешников к рассвету. Когда его возок поднялся на гору, перед ним открылась вся ширь равнины, серая, непроглядная. Серость эта нагоняла на душу неодолимую черную тоску, только ветер, что налетал шквалом, как бы обещал что-то обнадеживающее.

Около Вадовичей, как он и надеялся, стало заметно светать. В этой поредевшей, рассеивающейся мути возок Башлыкова юркнул через мостик над Турьею, поплыл по большаку вдоль Глиниц. Со шляха Башлыков, удивляясь себе, беспокойно вглядывался туда, где должна быть глинищанская школа. Вместе с тяжелым осадком от собрания, как от дуновения ветра, затеплилось в душе снова воспоминание о той женщине, хотелось увидеть огонек в ее окне, но его не было. Может, закрывало поле.

Только рассвело, когда он вышел из возка у сельсовета. В сельсовете был один дежурный, он, должно быть, дремал перед этим и, когда Башлыков, громко топая сапогами, обивая снег, вошел в помещение, встретил его виновато. Смотрел с непонятной настороженностью. Башлыков нарочно весело потопал по комнате, потирая руки, показывая, что промерз малость в дороге, надо согреться, невзначай спросил о новостях. На людях Башлыков всегда имел привычку держаться весело, бодро. Дядька, однако, попался неразговорчивый, на вопрос Башлыкова только неприветливо ответил, что Гайлис в Хвойном на коллективизации, а секретарь пока не пришел.

Он повеселел только тогда, когда Башлыков попросил его позвать Дубодела. Взбодрившись, мигом натянул на косматую голову баранью шапку и, мягко ступая валенками, выбежал на крыльцо. Башлыков снова заходил по комнате, то и дело бросая взгляд в окно на улицу. Он беспокойно ждал Дубодела: было бы неприятно, если бы его не оказалось дома. Дубодел был ему очень нужен. Еще вчера, думая об этой поездке, Башлыков вспоминал Дубодела, решил, что Дубодел будет в этой поездке при нем. Хотел получше приглядеться к нему, примериться, чего он стоит. На Дубодела Башлыков возлагал серьезные надежды. Надежды эти надо было проверить.

Дубодел был дома. Башлыков увидел его, когда он появился перед окном — шел быстро, стремительно, так что крылья его застегнутой на одну пуговицу шинели разлетались в сторону. Разлетались в стороны и уши буденовки, что еле держалась на макушке. Ноги в разношенных сапогах ступали твердо, на костистом лице была решительность. Человек спешил как на выручку, готовый на все.

Он стремительно поднялся на крыльцо, перешагнул порог, громко поздоровался, доброжелательно, с уважением назвал: товарищ секретарь. Крепко пожал руку Башлыкову, как бы подтверждая, что в нем все надежно.

Башлыков помедлил, глянул испытующе.

— Надо в Курени.

В том, как произнес, была значительность. Значительность была и во взгляде.

Дубодел кивнул молча и тоже значительно: ясно. Лицо деловито сосредоточилось, шмыгнул простуженно.

— Сейчас?

— А когда же? — Башлыков по-товарищески добавил: — Отклад, говорят, не в лад.

— Аге, — снова шмыгнул носом Дубодел. — Откладывать некуда.

— Вот именно. Так что собирайтесь. Быстро.

Дубодел вытянулся, как по команде.

— А чего тут собираться?

Руки ловко ухватили второй крючок на шинели, застегнули, натянули глубже буденовку.

— Вот только перекусим, — добавил деловито. — Позавтракаем только...

— Вы не завтракали? — остановил его Башлыков.

— Да я уже, конечно. Я про вас. Женка там в момент...

Башлыков уловил, что в голосе его тут не было твердости, не слишком добивался. Видать, не очень верил в завтрак свой. Башлыков успокоил:

— Позавтракал уже.

— Ну, тогда хоть сейчас.

— Заезжайте домой, предупредите, — распорядился Башлыков. — Чтоб не волновались. Дня на два, скажите...

Возок быстро оставил позади алешницкую улицу, повернул за угол,

понесся к гати, к зарослям. По вымерзшей наезженной гати моментально домчали до цагельни, и вот зачернели уже впереди утренние дымки над куреневскими крышами.

В Башлыкове и дымки эти, и крыши, нахмуренные, понурые, хоть и подбеленные снегом, отозвались беспокойством. Подходило вплотную, подымалось каменной стеной неподатливое, чужое, что необходимо было сдвинуть и что не хотело сдвинуться.

Башлыков приказал держать к хате Миканора Глушака.

Когда ехали улицей, чувствовал, как пронизывают его молчаливые взгляды с обеих сторон. Внимательно ловил настороженную черноту окон, пестроту дворов; и окна, и дворы были почти все пустые, деревня жила, казалось, беззаботно, спокойно. Однако он хорошо знал, что покой этот обманчив. Заметил, как вышел из хаты, застыл на крыльце дядька, зорким глазом проводил, пока не скрылись за поворотом улицы. Две женщины, глядя ему вслед, отошли от колодца, одна даже перестала тянуть очеп.

От беспокойства, от ощущения, что за ним наблюдают, подобрался, сел ровнее, всей осанкой показывая решительность, смелость. Видел, Дубодел вытянул шею, порезвел, нетерпеливо и весело поглядывал на хаты, на дворы. Держался так, будто предчувствовал близкую схватку и радовался ей, рвался к ней. Эта веселая задиристость была по душе Башлыкову. Перед двумя рядами настороженных изб ему хорошо было от такой смелой уверенности, хорошо чувствовать рядом человека, который в любой момент готов помочь.

У хаты Миканора Глушака Дубодел первый соскочил с возка, решительно зашагал к воротам. Уже у ворот он спохватился, как бы сдержал себя, подождал Башлыкова, пропустил вперед.

Только зашли во двор, на крыльце появился Миканор Глушак. Был одет в некрашенный заношенный кожух, с заячьей шапкой в руке. Похоже было, собирался куда-то, оделся за минуту перед этим. Смотрел с приглядкой, глаза на побитом оспой лице беспокойно спрашивали: чего это наведальсь такое высокое начальство? При том лицо озаряла улыбка, кроткая, гостеприимная.

— Встречай гостей! — крикнул Башлыков, шагнул навстречу. Он доброжелательно протянул Миканору руку.

Глушак торопливо надел шапку, подал руку. Башлыков крепко, сильно пожал ее.

— Подгадали! Застали дома! — сказал Башлыков опять, звонко, удовлетворенно.

Он стал обивать снег с сапог, отряхивать с пальто, с шапки.

Глядя на него, стал обивать снег и Дубодел, но без старания, как попало. Будто делал ненужное.

— Ат, чего тут... Заходите!..

В хате было двое стариков. Старик, сидя на полатах, обувал лапти, накручивал онучи, а старуха подметала у печи глиняный пол. Подметала торопясь.

Башлыков тем же звонким голосом поздоровался.

— Добрый день! — протянул старухе покрасневшую с мороза руку. Та, суетясь, вытерла свою о подол, торжественно, лопаточкой подала ему. Рука ее была темная, костистая. Башлыков пожал ее осторожно, с уважением. Старик, завязав обору, тоже встал навстречу Башлыкову. На его пожатие ответил приветливо, охотно.

Дубодел растолковал, что это отец и мать Миканора: Даметик, Даметиха — тетка Авдотья.

— Подгадали! Застали дома! — снова сказал Башлыков, уже старикам, завязывая разговор.

— Аге! — сразу отозвалась Даметиха. — А то уже ж вон шапку взял, собрался идти. Кеб на минуту поздней, дак и не было б тут!

— Недалеко собрался! — подсоединился Миканор. — Хозяйство поглядеть!..

Он с интересом ждал отгадки, зачем приехал Башлыков. Такой же интерес, только более открытый, был на лице и у старухи.

Однако надо всем властвовал обычай, неизменный закон гостеприимства по отношению к человеку, который ступил в хату. Миканор пригласил Башлыкова раздеться, и старуха охотно поддержала сына. Башлыков знал «закон», понимал, что надо у гостеприимных хозяев вести себя добропорядочным гостем, раздеться, сесть к столу. Но не терпелось, дорого было время. Только присел на стул, расстегнул верхний крючок пальто.

Глушак, видно, понял настроение его, однако с крестьянской настойчивостью повторил, что просит раздеться, а матери распорядился: накормить гостей. С дороги люди. Мать поддержала его, однако, отметил Башлыков, не очень уверенно.

— Позавтракали уже, — сказал Башлыков мягко и вместе озабоченно.

— Когда то было! — тянул свое Миканор.

Башлыков дал понять, что не имеет привычки церемониться, сказал решительно:

— Пройдем по деревне. Потом вернемся!

— Не заработали еще на завтрак! — весело бросил взгляд на

Миканора Дубодел. Он захохотал. — Заработать надо, ясно!

Все же хоть немного, да требовалось отдать должное обычаям. Показать себя перед хозяевами человеком культурным. Башлыков задержался в хате, позволил себе провести здесь десяток минут. К тому же стоило лучше приглядеться к Глушакову жилью, к родителям его.

За этим сразу пошло главное, тревожное: выяснить обстановку в селе, как она видится их глазами...

Сидя у стола, не выдавая интереса, осмотрелся. Хата маленькая, на одну комнату, пол из глины. Можно сказать, нет пола. Двое полатей: сына и стариков. Домотканые одеяла. Большой сундук — гордость крестьянских хат на Полесье. Может быть, с домотканым полотном, с праздничной одеждой. На стене портреты Сталина и Калинина. В углу вверху пусто, образа сняты. Но рушник висит, как дань старому... На подоконнике стопка книг, брошюры... Где же колхозные документы? Верно, в сундуке...

Воздух был спертый, нечистый. Терпко пахло кислым. Видно, в хате кормили поросенка или свинью. И вообще в хате не чувствовалось чистоты, порядка. Свыклись. Башлыков навидался всякого, однако в последние годы все же имел свою комнату, привык к чистому воздуху, к опрятности. И здесь, как и каждый раз, он чувствовал, что город — это город, а деревня — деревня и что между ними во всем расстояние огромное. Как два разных мира. И чувствовал остро, неизменно, что он человек до мелочей городской, из того, городского мира. Никогда не свыкнется с этой чернотой, несвежим запахом. Терпеть может, а свыкнуться не свыкнется. Вошел с кнутом возница, на приглашение Даметихи разделся, сел около Дубодела.

Надо было вести доброжелательный разговор.

— Как живем, Авдотья Петровна? — поинтересовался Башлыков мягко, уважительно. Отчество старухи спросил тихо у сына.

Та на минуту оторвалась от работы, оглянулась.

— Да как? Живем.

Снова повернулась к печи, стала чапельником орудовать в глубине ее.

— Сын не обижает?

— Аге! — ответила насмешливо. — Есть когда ему! Редко и видишь дома!..

— Невестку б надо, пожалуй?

— Говорила ему. Слухать не хочет. Все дела одни...

— Пары, может, нету? — помог Башлыкову Дубодел.

— Етого цвету хватает. — Мать Глушака поставила чапельник в угол. Разговор, было видно, задел за живое. — Две были распрекрасные. Одну,

Ходоську, дак думали уже...

— Мамо! — перебил Глушак-сын недовольно. Но она досказала свое:

— Прозевал. Хоня взял.

— Найдем другую, тетко! — весело пообещал Дубодел. — И женим! В порядке партийной дисциплины! — Он захохотал.

Старухе не понравились и его шутка и его хохот. Не скрывая, неласково глянула на Дубодела; Башлыков заметил, что она вообще не очень привечала его попутчика.

Не сказала больше ничего. Повернулась к печи, взялась за ухват.

Башлыков переждал, пока мать Миканора управилась, перебил неловкое молчание. Повел речь о том, о чем не терпелось:

— Авдотья Петровна, скажите, пожалуйста, чего это в колхоз в вашей деревне так туго идут?

Она глянула на Башлыкова остро, как бы с недоверием. Башлыкову показалось, взгляд ее не верил, что он спрашивает это серьезно, не знает разве сам. Как бы посомневавшись, ответила:

— Почему? Боятся.

— Чего?

— Темный народ, — растолковал отец Глушака, что свесил ноги с полатей.

— Как бы не угодить в прорубь, боятся, — проговорила она, не слушая мужа, а высказывая свое. И все будто не верила, что Башлыков этого сам не знает.

— Чего тут бояться?

Мать Миканора некоторое время молчала. Свет из печи вскидывался и опадал на ее лице, на плечах. Меняющееся от света, в морщинах, лицо было сосредоточенно.

Миканор смотрел на нее обеспокоенно. Похоже, опасался чего-то.

— Да и то, — сказала она задумчиво, — больно скоро гонят. А людям оглядеться хочется. Примериться.

— Кто гонит? — возмутился Глушак-сын. — Что вы плетете, мамо!

Дубодела, казалось, потешил гнев Миканора. Но он не выдал себя, строго попрекнул:

— Долго думают, тетко!

— Обдуманно все, — заявил Башлыков спокойно, покровительственно. — По всем пунктам. Со всех сторон. Серьезно обдуманно. Можно не сомневаться.

— Оно-то, верно, так, — кивнула она. Не то не очень поверила, не то не хотела спорить. Вежливо, как бы объясняя, сказала: — Только ж не все

ето знают. Да и то, у каждого ж своя голова есть.

— В том и беда! — язвительно отозвался сын. — Да хорошо, коли у кого еще умная.

Башлыкову не пришлось ответить — в сенях хлопнули двери и в хату вошел дядька в коротком кожаном пальто и в сапогах. Чисто побритый, с усиками, он на пороге снял шапку, поздоровался со всеми:

— Здравствуйте.

Уверенно подошел к Башлыкову, протянул руку, с подчеркнутой почтительностью назвал: товарищ секретарь. Обошел всех, подавая руку, величал каждого по имени и отчеству.

Исполнив традиционный ритуал приветствия, дядька снова не спеша подошел к Башлыкову, сел рядом. Достал кيسет из-под кожаного пальто, стал сворачивать сигарку. По-дружески поинтересовался:

— Решили, значаца, посетить нашу куреневскую глухомань? Поглядеть, чем живет-дышит в глуши народ?..

Казалось, прежний разговор прервался совсем и начнется теперь другой, тот, который завязал дядька — Андрей Рудый. Так оно какое-то время и было: попыхивая сигаркой, деликатно пуская через ноздри дым, Андрей разглагольствовал о темноте людской, о коллективизации — о том, что новый путь людям показывает, что и тут, в глуши, не все лыком шиты.

Хозяйка, казалось, слушала его и не слушала. То возилась у печи, то беспокойно думала. Было видно, берет старую тревогу, не дает покоя. Недовольно поглядывала на Рудого: надо же, принесло не вовремя балаболку пустую.

— Да и это, — отважилась наконец, напомнила она о прерванной беседе, — разговоры тут всякие. Про раскулачивание...

Башлыков отвернулся от Рудого, внимательно глянул на нее.

— Боятся. Не нравится это, — горячо сказала она.

— Кому не нравится? — сразу напал Глушак-сын.

— Людям не нравится.

— Сказала!

— А то не? Не боятся?

— Все?! Кулаки, может! Кулакам надо бояться!

— Правильно, Даметевич! — одобрительно кивнул Рудый.

Даметиха не поддавалась сыновьему гневу, даже как будто заупорствовала.

— Брату на брата наговаривают, — говорила громко, настойчиво. — Свояку на свояка. Будто съесть друг друга хотят!

— Опять вы, мамо!

Она разозлилась, набросилась на него:

— Дай сказать людям! Не с тобой говорят! Слова уже не скажи!

— Говорите, да знайте что!

— Правильно, Даметевич! — поддержал Рудый.

— Ты, Андрей, пришел, дак сиди! Не лезь, куда не просят!.. — Она перевела дыхание, пригрозила сыну, всем: — Знаю! Правду говорю!.. — Сдержала себя, сказала тише: — Вот тут у нас свояк есть! Брат мой двоюродный!

— Нашла брата!

— Брат! Халимон! Моя matka и его батька — сестра и брат родные!

— Это про Корча Халимона! Халимона Глушака, — разъяснил Башлыкову Рудый, с наслаждением затянувшись сигаркой. Было видно, обрадовался спору. Как любопытному случаю.

Миканор с ненавистью глянул на него — нашел забаву. Надо ж, принесло в такой момент, завтра брехня пойдет по всему селу...

— Аге, Глушак, Глушак Халимон, — подтвердила старуха, в запальчивости не уловив тон Рудого. — Даке чего уже на его... — продолжала горячо, доказывая свою правоту — Мало того, что налогами. Даке и в колхоз не пускают! Свет человеку завязали! Так это надо?

— Сколько ни толкую, не понимает ничего!

Миканор, розово-красный, неловкими руками свернул козью ножку, наклонился к Рудому. Прикурив, зашаркал к полатам, сел. Сгорбясь, густо задымил. Башлыков понимал его: Миканор Глушак, как на судью, смотрел на него, секретаря райкома. Был взбешен словами матери и чувствовал себя таким виноватым, что готов принять любую кару.

Да, было чего волноваться: опорочила старуха, и перед кем — перед секретарем райкома. И перед Дубоделом, который явно не сочувствует, а, похоже, втайне потешается.

— В отношении к кулацким элементам, Авдотья Петровна, — мягко сказал Башлыков, — линия у нас твердая. Кулацкие элементы мы считаем классовым врагом.

— Какой он теперь элемент! — старая пренебрежительно махнула рукой. — Только званье осталось, что богач!

Дубодел хотел поддеть шуткой — не знал, что она такая кулацкая заступница, но старуха не отозвалась на шутку.

Миканор Глушак торопливо, нервно дымил, едва сдерживая гнев.

— Подговорил он вас, что ли! — В голосе его слышалась обида, гнев.

Башлыков уловил, слова эти обращены не только к ней, а и к нему с Дубоделом. Может, даже больше к ним двоим.

— Нельзя же, чтобы брат на брата! — высказала она затаенное.

Сын, разгневанный, соскочил с полатей. Глянул злобно на старуху, заходил нетерпеливо.

Башлыков поднялся с лавки, сказал, что пора идти. Время не ждет. Старуха сразу спохватилась, вспомнила о хозяйских обязанностях.

— Дак когда вернетесь? Чтоб знать...

— Вот как освободимся, — неуверенно сказал Башлыков. — Когда дело сделаем...

— Дадим знать как-нибудь! Когда проголодаемся!

Старуха неловко попросила:

— Может, я что не так. То вы не сердчайте... Я от души. Что думаю...

— Не сердчаем, — Башлыков покровительственно улыбнулся. — Но со взглядами вашими не согласны...

Он ласково подержал старую за локоть, вышел из хаты. На дворе оглянулся. Все вышли следом, даже старик стоял в рубашке, без шапки. Башлыков позаботился о нем, посоветовал вернуться, чтоб не простудиться. Потом сказал вознице, пусть сидит в хате, ждет.

Заметил, Миканор Глушак ловил его взгляд. Башлыков не подал вида.

На улице Глушак не выдержал.

— Подговорил, должно быть, гад, — сказал виновато. Как бы просил смилостивиться, понять. Добавил злобно: — В семью мою уже влезть хочет!

— Воспитательной работой не занимаешься! — съязвил Дубодел и захохотал.

Башлыков понимал, что Глушак побаивается своего родства, того, что это известно ему, Башлыкову. Да, есть отчего беспокоиться. Такое родство не украшает... Что там ни говори, а родство есть родство. Связь. Связь с кулаком...

Башлыкова взяла досада: такого факта о Глушаке, активисте, партийце, он не знал. Правда, вина здесь больше Глушака, но и сам виноват!

Не впервые, как о давно надоевшем, неприязненно подумал: «Все они тут перемешаны, попробуй разберись!..» За этим как бы заново услышал причитания старухи, ее заступничество за кровососа, взяло зло — жалости никчемной у людей хоть отбавляй! Кровососов самых явных не то что не судят, но еще и жалеют! И хотя бы один, двое по доброте душевной, а то же не в этой только деревне! Какие сердобольные!

Он с отвращением отогнал эти мысли, обратился к Глушаку:

— С кого начнем?

Глушак как бы не соображал. Видимо, никак не мог успокоиться. Наконец спохватился:

— Да вот к соседу можно. — И добавил: — Один из тех, кто особенно упирается. Дятел Василь.

Направились к Дятлу.

Сразу, как ступили во двор, у нового сруба встретила им пожилая женщина. Шла из сарая с пустым деревянным ведром.

— Эй, тетко, можно в гости?! — стараясь казаться веселым, крикнул Глушак.

— А чего ж, — женщина мельком глянула и на других, обратилась к Глушаку: — Сосед, а редко заходишь что-то...

Появление незваных гостей вызвало у нее озабоченность, но она скрыла это. На приветствие Башлыкова ответила охотно, доброжелательно.

— Вот гость из района, — сказал Глушак все еще с прежним волнением и желанием освободиться от него. Он назвал Башлыкова, и женщина снова глянула на него со вниманием и интересом. Пригласила в хату, первая поднялась на крыльцо.

В хате была еще женщина, полнотелая, молодая, с ребенком на руках. Перед нею медленно раскачивалась люлька, что свешивалась с потолка, видно, только вынула дитя из нее — полог на веревочках был откинут.

Башлыков и с ней приветливо поздоровался, но женщина не ответила. Посмотрела на него, на других недобро, исподлобья. Глаза будто сузились: чего приперли! Обвела глазами и отвернулась. Дала понять, что и знать не хочет!

Глушак как бы и не видел молодой, с веселым лицом повернулся к первой, которая поставила ведро в угол у порога.

— Заставяете вы, тетко, начальство из района тревожиться!

От Башлыкова не укрылось: молодая глянула зло, с пренебрежением отвернулась. Добродушно прервал Глушака, деловито спросил у пожилой:

— Где хозяин ваш?

Дубодел пояснил Башлыкову, что мужика у тетки нет, погиб на войне, хозяйствует ее сын Василь.

— А дома ли этот Василь?

— Дома, — кивнула Глушаку пожилая. Минуту как бы думала, размышляла, не совсем уверенно сказала: — В хате новой копается. Никак не влезем...

Дядька в коротком кожаном, стоявший в стороне, кинулся было позвать, но одумался. Решил, должно быть, что и тут старание его может не понравиться.

Пожилая вышла. Пока ее не было, в хате водворилась тягостная тишина. Дядька в кожаном не выдержал, упрекнул молодую:

— Что ж ты, Маня, такая невежливая к гостям? Спиною, так сказать...

Та натянуто промолчала. Дядька резво подмигнул Глушаку, Дубоделу, покачал головой: «Вот создание!» Башлыкову пришло в голову, что хозяин, не иначе, заметил их из новой постройки, не пожелал видеться. Думал, значит, отсидеться!

Башлыков окинул взглядом хату: тесно, скудно. Как у всех бедняков, ни одной кровати. Полоты, на полотах домотканое тряпье. Пол, правда, не земляной, но подгнил уже. Гнилые косяки в оконцах. Стены покосившиеся, тоже гнилые. По всему — век хаты недолгий. Как и в других хатах, грязи хватает.

— Вот и хозяин наш! — объявила женщина с порога.

Молодой хозяин, в свитке, в лаптях, с порога поздоровался, задержался взглядом на Башлыкове. Вел он себя достойно, спокойно снял шапку, остановился у дверей. За этой внешней уверенностью Башлыков отметил настороженность. Его внимательные глаза будто спрашивали: чего прибыли? И знал заранее: не с добром.

Башлыков понимал, дипломатия тут ни к чему. Пошел сразу напрямую:

— Прибыли мы к вам узнать, почему не хотите идти в колхоз.

— Чего от народа отступаешь? — поддержал Башлыкова Дубодел.

Хозяин переступил с ноги на ногу, отвел глаза. Отвел скучающе — слышал уже такое. И отвечал не раз. Чего же еще говорить попусту. Нарочно зацепил слова Дубодела:

— Народ еще и там и тут...

— Передовой народ весь там! — заявил Дубодел.

Хозяин молчал. Молчал, видимо, потому, что не хотел вступать в пустой разговор. Не скрывал, что слова Дубодела нимало не изменили его убежденности. Похоже было, что не придает тем словам никакого значения. Да и самого Дубодела не очень-то уважает.

Тут в хату вошел дед, снял шапку, поклонился. Добродушно из-под белых бровей осмотрел всех. Башлыков думал, что заглянул кто-то из любопытных соседей, однако дед, по-стариковски горбясь, снял кожан, привычно полез на полоты. Уже с полотей, мутно освещивая лысиной, тихонько спросил о чем-то пожилому, кивнул головой. Башлыков уловил,

что смотрит на него. Умным, пытливым взглядом.

— Дак как ты, Дятел, об том, что сказано? — повторил требовательно Дубодел. — Почему не идешь?!

Всей манерой обращения он ясно показывал, что деликатничать, возиться тут нечего. Надо решительно проводить свое.

Молодая у люльки неожиданно резко повернулась. Лицо ее исказилось.

— Говорили уже! Сто раз говорили! — закричала она пронзительно. — Чего вы все лезете?

Хозяин строго глянул на нее.

— Не твое дело.

— Сходок мало! — не послушалась жена. — Сходками жить не дают! Дак еще в хату прутся!

Лицо хозяина окаменело от гнева.

— Не суй нос! — поднял он голос. — Сказано!

В голосе его слышались сила и твердость. Жена глянула на него, недовольная, злобная, но не стала перечить. Не отважилась.

— Чего лезут! — не выдержала, проговорила язвительно. Но уже тише, уступая.

— Все время думаем про то уже, — примирительно вступил дед с полатай.

В том, как говорил дед, чувствовалось, он видит, что разговор пошел неразумно и ничего хорошего из него не получится. Что без его участия не будет ладу в горячем бестолковом споре молодых. И вообще он убежден в особом своем значении здесь.

— Долго думаете, — с уважением, как равный равному, заметил Башлыков.

— Долго, — не стал возражать дед.

— Быстрее думать надо! — посоветовал Башлыков, и снова как равный с равным. Даже незаметно для себя перенял строй его речи.

— Дак оно б надо. Только ж оно, — доверительно сказал дед, — не просто так решиться! Все отдать. Остаться ни с чем.

— Почему ни с чем? — удивился Башлыков. — Все ваше вашим и останется. Только что общим станет.

— Аге, — кивнул дед.

Башлыкову в этом «аге» послышался интерес, понимание, и он стал терпеливо, по-приятельски толковать о выгодах общего хозяйствования. Дед — Башлыков знал уже, как его зовут, и обращался к нему учтиво: Денис Игнатович — слушал внимательно, кивал согласно, одобрял, похоже.

Но обещал только одно: надо подумать.

Присмотревшись, Башлыков скоро понял, что покладистый дед, не иначе, хитрит, отводит разговор. Смазать хочет вопрос.

— Думать теперь уже мало, — сказал Башлыков твердо. — Действовать, решать надо. Неотложно!

Он отвернулся от деда, давая понять, что времени у него немного, что он ждет решительного ответа, и обратился уже к молодому:

— А что хозяин «думает»?

Он не скрывал иронии, нарочно с нажимом сказал «думает».

Молодой сразу, как почувствовал внимание к себе, сосредоточился вновь, стал строже взглядом. Выпрямился, будто приготовился к бою.

— А я посмотреть хочу, что из этого всего еще будет, — ответил бесхитростно, как-то с вызовом.

— Значит, вы еще сомневаетесь?

— Посмотреть хочу.

Спорить, доказывать, чувствовал Башлыков, было бесполезно. И все же, едва сдерживаясь, рассказал, как это основательно обдумано и проверено — обдумано партией, лучшими головами, проверено миллионами людей. Не первый раз, не первому говорил это и не первый раз видел, что не доходят его, казалось, такие ясные, убедительные доводы. Как и многие другие, будто не понимали, не хотели понимать надежности происходящего. На все убедительные, искренние слова Башлыкова в ответ была глухота. Видел упорный, туповатый взгляд хозяина, понимал одно — напрасно он, Башлыков, доказывает такому, не дойдет ничего до такого!

И эта упрямая глухота жгла Башлыкова. Нежелание, неспособность понять самое простое, это дикое упорство его бесили. Еще немного, и сорвался бы, наговорил бы!.. Но не хотел терять достоинства, дать почувствовать волнение свое.

Снова обвел взглядом хату, снова увидел бедность, убожество ее, этот «рай», который они так сберегают. Шевельнулось тяжело, неосознанно: чего они цепляются за это? Надоело, безмерно надоело удивляться тупости. Твердить одно и то же глухим...

В тишине, что наступила в хате, чувствовалась враждебность.

— Мы не против, не думайте, — отозвалась благожелательно и виновато от припечка старая. Она смотрела Башлыкову в глаза с тревогой и надеждой, как бы просила его смириться. — Только ж, правда, осмелиться трудно...

Она верила, что он, такой всезнающий, образованный, поймет ее.

— Долго вы осмеливаетесь! — не поддался ей, строго сказал

Башлыков и резко — А мы ждать не можем! Не можем!

Не скрывая неудовольствия, поднялся пошел к двери. Поднялись и другие.

— Советуем подумать, Дятел! — пригрозил Дубодел и глянул, точно намекал на что-то плохое.

Снова оказались на дворе. Башлыкову острее бросилось теперь: новая, с желтоватыми, старательно очищенными бревнами хата была неровня старой — просторная, с размахом. Три окна во двор, две комнаты видны в прорезь дверей. Сени заложены широкие. Это уже иная, не бедняцкая хата.

— Выяснить надо, откуда лесу набрал! — Дубодел перехватил взгляд Башлыкова. — И сколько оплачено.

Когда вышли на улицу, Глушак виновато сообщил Башлыкову:

— Женка его — кулацкого роду. — Добавил раздумчиво: — И сам он, не секрет, с кулацким нутром. Хоть подводи под задание... Твердо.

Дубодел как бы ждал этого, подхватил сразу уверенно:

— А можно и дать!

Башлыков промолчал. Но не возразил.

Глава четвертая

1

Приостановились: куда теперь идти? Глушак, не долго думая, посоветовал: в конец, начать с первой.

Башлыков согласился.

Идя рядом с Башлыковым, Глушак рассказывал: эти, если б не Кулина, жена, хоть сейчас готовы в колхоз. Там все она крутит.

Уже когда подымались на крыльцо, Миканор сказал вдруг спокойно, лишь бы сказать:

— Это хата той Ганны, что в школе в Глинищах.

Сказал так, явно не придавая факту этому никакого значения. Понимает, что Башлыкову до этого нет дела, он может уже и не помнить ту Ганну. Сказал потому, что надо было что-то говорить, объяснять.

Башлыков не ответил. Как бы проявил полное равнодушие. Сделал внешне так, как следовало. Но в душе его все вдруг перевернулось. Все приобрело неожиданно особое значение, как бы засверкало в ином, ярком свете. Он вспыхнул. И так сильно, что, казалось ему, бросилось всем в глаза.

Хорошо, что вошли в сени, где темнота помогла скрыть его волнение. Помедлил, чтобы обвыкнуться хоть немного с неожиданностью. Невольно подумал: надо ж, чтобы так совпало! Прямо в ее хату попасть! Как нарочно! И вдруг осенило: «А может, и она здесь?!»

Волнение захватило все его существо. Сердце забило часто и тревожно, предчувствуя неожиданную близкую встречу. Встреча эта тревожила особенно потому, что казалась важной ему, а он не был, совсем не был готов к ней.

Будто сжавшись в комок, он вошел в хату. Сразу заметил, в хате была одна пожилая краснолицая женщина, которая хлопотала у печи. Как бы не веря, внимательно оглядел хату. Нет, больше никого не было. Он на мгновение даже обрадовался, почувствовал облегчение.

Скрывая только что пережитое, мягко поздоровался. Женщина, подгребая жар в печи, держа чашельник, недоуменно уставилась на вошедших. Ее остренькие, пронзительные глазки как бы спрашивали: чего пришли? Не ответила на приветствие.

— А где дядько? — небрежно спросил Глушак.

— На печи... — буркнула неохотно женщина.

Дядька, должно быть, прислушивался к разговору.

После слов жены показалась его всклокоченная голова, потом и весь он, худой, в домотканой рубахе и штанах, босой, с крючковатыми желтыми пальцами на ногах. Мельком глянув на гостей, медленно и спокойно сполз с печи.

— Что ж это ты, Чернушка! Среди бела дня! — упрекнул его Дубодел.

Чернушка безразлично пожаловался:

— Простудился гдей-то. — Будто подкрепляя слова свои, сипло закашлял. — Греюсь вот.

Башлыков следил за ним. Обыкновенный крестьянин, которого он впервые видел, выделялся среди других — это был ее отец. Как и жена его, он самый близкий той глинищанской знакомой незнакомке человек. Она, та непонятная женщина, была частичкой этих людей, в них как бы скрывалась отгадка той тайны, что не давала ему покоя.

Всматриваясь в дядьку, невольно отметил: та, глинищанская, мало похожа на отца. Только в чертах лица что-то близкое, общее и во взгляде, внимательном, умном, но нет в нем той живинки, лукавости, что поблескивали в глазах Ганны. С матерью еще меньше сходства. Кажется, совсем нет... Рядом с этим промелькнуло невольно: напротив, сколько скрытности и неприязни в лице матери! Как будто заранее предупреждает: ничего хорошего и не ждите!

Тревога та, почти страх, что на мгновение было охватила его, уже ушла. Сердце билось размеренно. И все же спокойствия полного не было. Остроту ощущениям придавала сама хата, привычный ей мир. Поэтому с необычайным интересом вбирал все, что увидел здесь: побеленная синеватая старая печь, утварь для печи и веник в углу у дверей, кожух, брошенный на кровать, покрытую домотканым одеялом. Горшки с цветами на обоих окнах, что выходят на улицу. Старый, почерневший стол без скатерти, с неубранными мисками и ложками. Образа в углу, кажется, неприветливо всматриваются в непрошенных гостей... Небогатая, даже бедная крестьянская изба. Каждая вещь в ней словно говорит о плохом достатке, о ветхой давности, о затхлом житье.

В сознании Башлыкова теснилось противоречивое: как-то трудно поверить в то, что видел своими глазами — здесь, в этой бедности, в этой затхлости, в этой никчемности могла она родиться, жить! То, какой он ее видел и помнил, так не вязалось с этим, не соединялось в один мир. Он не мог представить ее среди всего этого. Не мог даже согласиться, что такое

могло быть.

Этот факт имел и другую сторону. То, что она не где-нибудь, а именно тут жила, отсюда вышла, означало, что у нее достойное, близкое ему происхождение. Известно, не пролетарское, не рабочее, однако трудовое, бедняцкое. А из этого следует, что она в одних с ним рядах. Он, Башлыков, разумеется, не думал, что она помещичья дочь, но могло же случиться, что есть какая-то заковыка, которая бы испортила все сразу. Бывает же такое, и чуть ли не на каждом шагу... Не признаваясь себе, опасался этого, тем более что глинищанская горда была, неприступна. К счастью, опасение его отпало...

Волновало Башлыкова в этот момент и еще одно, глубоко тайное. Конечно, он старался не выставлять напоказ свое душевное состояние, как недостойное его положения — зрелый человек, ответственный работник и вдруг смешное мальчишеское чувство, — но он увидел сам, убедился: вышедшая из беспросветной бедности, темноты, она, ставшая неожиданно близкой, вызывала в нем восхищение. И в то же время земная она, похожая на других, обыкновенная.

Вдруг увидел фотографию на стене в самодельной дубовой рамке. На ней были двое, мужчина и женщина, молодые, рядом. Пронзила догадка — она с кем-то, чуть не вскочил, не шагнул ближе. Сдержался, пригляделся. На снимке бравый, в круглой николаевской фуражке, в погонах солдат и тоненькая, в белой кофточке и длинной юбке женщина. Давняя, пожелтевшая от времени фотография и николаевская, набок надетая молодцеватая фуражка свидетельствовали, что снимку много лет. Но тоненькая молодая женщина показалась удивительно похожей на Ганну. Кто это?

Думая об этом, возбужденный еще увиденным и почувствованным, Башлыков наблюдал и за тем, как Глушак церемонно, по-крестьянски подступался к хозяевам, объяснял, зачем зашли.

Дубодел, который нетерпеливо и уверенно похаживал по хате, не выдержал глушаковской церемонности, перебил его, объявил сразу:

— Одним словом, явились выяснить, чего в колхоз не идете.

Это был не столько вопрос, сколько требование ответить открыто и четко. Было и обвинение: почему канитель развели в таком простом деле?

Старик, похоже, вообще чувствовал себя неловко оттого, что застали на печи, сутулился, отводил глаза. После Дубоделовых слов он, казалось, еще больше сжался, понурил взгляд. С минуту было тягостное привычное молчание. Потом старик вдруг ожил, странно улыбнулся, как бы в сговоре с гостями, как бы посмеиваясь вместе с ними. Хитро кивнул в сторону печи

на жену.

— Да я хоть сегодня готов, — промолвил. — Хоть сейчас. Если она скажет, что согласна. Уговорите ее!..

Во взгляде его, в манере говорить было что-то Башлыкову знакомое — так смотрела, говорила та, глинищанская, его дочь.

Старуха у печи, красная, злобная и до этого, глянула на мужа так свирепо, что Башлыкову стало не по себе. Рассвирепевшая, схватила чапельник так решительно — не остановится ни перед чем. Чернушка сразу проворно вскочил. Серьезно, угрожающе упрекнул:

— Ну, сдурела! Гостей постыдись!

Судя по тому, как она глянула и на Башлыкова, только благодаря старику чапельник оказался на полу. Но старуха дала волю гневу своему в словах:

— Он хоть сегодня готов! Уговорите ее! Хозяин, нечего сказать! Сам готов раздать все! «Хоть сейчас отдам все!» Насмешки еще строит!

Чернушка, наверно, чтобы не рисковать больше перед гостями, только сказал сокрушенно:

— Чего там раздавать!..

Разгневанная старуха не смотрела на старика. Тощие груди ходили беспокойно. Дубодел остановился посреди хаты, следил за всем, как бы забавляясь, на что уж оптимист, а заметил тяжко, безрадостно:

— С твоей женкой, Чернушка, сам черт не сговорится! — И добавил, будто в шутку — Дождется она, что припадем как следует!

Женщина или не поняла шутки, или знала, что значит шутка Дубодела, люто взглянула на него, врезала:

— Как следует! Ето нам как следует?! Чтоб у тебя язык распух за такие твои слова!

Она в запальчивости проворно присоединила к этому еще несколько таких же «ласковых» и откровенных пожеланий.

Было видно, старуха не знала, что такое деликатность. Упрямая, наглая, она не остановится ни перед чем. Дубодел то ли потому, что хорошо знал ее, то ли потому, что считал ниже своего достоинства поступаться перед женщиной, захохотал, будто одобряя ее прыть. Дал понять, что не обижается.

Все же наступила некоторая неловкость. Неловкость, которая угнетала Башлыкова, и, может, даже больше, чем других. Старуха, мать той новой его знакомой, совершенно не вязалась со всем, что осталось в душе от встречи в Глинищах. Она так грубо топтала то доброе, что он воспринял это как оскорбление его искреннему чувству. То, что перед ним был не кто-

то чужой, а самый близкий человек загадочной глинищанки, переиначивало все, путало.

Глушак, видимо, считал себя больше других виновным за недобрый смысл этого разговора, как-никак такое случилось в его деревне. В деревне, за которую он фактически отвечал перед районом как единственный партиец и председатель колхоза. Потому естественным было, что он сразу решил исправить положение. Глушак посчитал мягкость самым надежным средством уладить спор.

— С теткой Кулиной мы сговоримся, — сказал, как добрый сосед, заботливо.

Женщина, однако, не отозвалась на эту уловку. Лесть, что слышалась в голосе Глушака, ее как ошпарила. Она с притворной радостью отрезала:

— Ты свою мать уговори сперва!

Был в ее словах какой-то намек. Уловив это и, видно, поняв, что его почувствовали и другие, Глушак забеспокоился, но сделал вид, что в словах старухи ничего особенного.

— Чего ее уговаривать? — будто удивился он. — Она уже вступила...

Удивление его было таким деланным, так чувствовалась в нем тревога, что это не ускользнуло ни от кого. Он, не иначе, пытался достойно отступить, не позоря себя перед гостями.

Лучше бы он промолчал. В ответ на его слова Чернушиха снова выпалила:

— Аге! — согласилась она радостно-язвительно. — Вступила! Влезла! Да не знает, как вылезть!

— Что это вы несете, тетко? — Глушак говорил неискренне и мирно, как бы просил помолчать. Не срамить перед чужими.

— Что говорю-та? А что село все слышит! — Не желая болтать без толку, она завела речь совсем о другом. Чтоб сразу высказать все, заявила твердо: — И слушать не хочу про ваш колхоз!

Тут вступил в спор Башлыков. Ровно, сдержанно, как человек знающий и больше всех понимающий, упрекнул за боязнь, за то, что верит вражеским сплетням. Сказал, что миллионы трудящихся крестьян давно уже раскусили кулачье, смело встали на колхозный путь. Что миллионы людей убедились в преимуществе колхозов. Выбрались из нужды и голода.

— Кто выбрался, а кто влез, — съязвила женщина.

Сказала так злобно и неколебимо, что было видно — говорить с ней дальше бессмысленно. И все ж Башлыков терпеливо, насколько мог, попробовал убедить, что страхи их напрасны, что надо смело выходить на новый простор. Обращался то к старухе, то к Чернушке. Чернушка, свесив

ноги с полатей, ссутулясь, слушал с интересом, а старуха стояла у печи, закаменев. Не скрывала, нарочно показывала, что слушать ничего не желает.

Затаенная злоба и глухота ее черной тенью обволокла все, что тронуло Башлыкова в этой небезразличной ему хате.

Наконец терпение его лопнуло, он тяжело поднялся с лавки. У него было противное ощущение бессилия и даже оскорбленности. Стараясь одолеть это неприятное чувство, он строго, не без намека посоветовал старухе и Чернушке хорошенько подумать над тем, что говорилось здесь. Давал понять: это очень важно, чтоб не пожалели потом.

Сказал сдержанно «до свидания» и решительно направился к двери. На крыльце полоснуло ярким светом снежного дня, дохнуло морозом. Башлыков уныло, бессмысленно окинул взглядом узкий убогий двор, подумал устало: как она выросла такая тут, в глухомани, в серости этой?.. Окинув недоумевающим взглядом все вокруг, двинулся на улицу.

За калиткой Дубодел, он вышел первым, подождал его, бодро зашагал рядом. Посмотрев на озабоченное лицо Башлыкова, догадливо понял его настроение, откликнулся дружески:

— Ету разговорчиками не возьмешь! Тут надо другое средство!.. Меры надо.

Глушак ковылял с другой стороны, молчаливый, с виноватым лицом. Башлыков не удивлялся, было отчего чувствовать себя виноватым. Не удивлялся и не сочувствовал Глушаку — схлопотал по заслугам. Глушаку хотелось вернуть, как ему казалось, утраченную уже дружбу, он бросил вдруг горячо, гневно:

— Злыдня, сквальга!.. — добавил в сердцах. — Из-за жадности своей дочь выпихнула из дому! Жизнь девке искалечила!

Весть эта пронзила унылые мысли Башлыкова, он заинтересованно посмотрел на Глушака. Вон оно что! Вон почему она в Глинищах! В нем затеплилось сочувствие к ней. Однако Башлыков тут же напустил на себя строгость, сделал вид, что тревожит его другое, главное. Глушак замолчал.

Не отозвался на Глушаковы слова и Дубодел. Не до того было — подошли к новому двору.

Прошли еще несколько хат и угодили к выпивке.

Посреди стола круглилась черная сковорода с недоеденной яичницей.

Рядом глубокая глиняная миска с солеными огурцами, котелок с картошкой в мундире, полбуханки хлеба, два пустых стакана. Бутылки на столе не было. Наверно, спешно припрятали, пока они, гости, шли по двору, топтались в сенях.

Явно не ко времени они прибыли.

В хате было трое. Старуха, сухая, копалась у печи. Двое мужчин хозяйничали за столом. Они и бросались прежде всего в глаза. Особенно тот, что сидел напротив: красный, с жирным лоснящимся лбом, с одутловатыми щеками, здоровенный, горбился над столом могучей глыбой. Из-под низкого лба маленькие глаза глядели недобро. Башлыкову невольно подумалось: встретишься с таким в лесу — одного вида испугаешься. Другой на первый взгляд не выделялся ничем: не рослый, суховатый, в старом пиджаке, в расстегнутой рубашке. Разве только взгляд — светлые из-под чуба, острые, пронзительные глаза.

— Здоров, Ларион! — сказал Глушак отдельно, когда поздоровались со всеми.

Ларион зыркнул с недоверием, в тупом взгляде появилось тяжкое раздумье.

— Здоров, — выдавил неохотно, внимательно уставился на вошедших.

Башлыков вспомнил прозвище Лариона, о котором ему говорил Глушак, Бугай. Подумал: «Точно назвали. Бугай и есть».

— Угощаетесь? — то ли просто отметил, то ли упрекнул Дубодел. — Праздник какой?

— Праздник, — ответил Бугай с настороженностью и вызовом. Башлыков заметил, что он скосил глаза на того, в пиджачке, с чубом. И не просто так, а будто спрашивая.

Глушак знал свою роль, говорил внушительно, разъясняя значительность момента, представил Башлыкова, назвал его должность. Потом, повернувшись почтительно к Башлыкову, сказал о хозяине: Ларион Глушак. Тут Миканор запнулся, сомневаясь, видимо, знакомить или не знакомить с Ларионовым гостем. А может, раздумывая, как его представить.

Тот, в пиджачке, вонзил острый взгляд в Миканора, подождал, ядовито усмехаясь. Встал, насмешливо поклонился.

— Евхим Глушак. Сын Халимона Глушака.

— А-а, вот он! — Башлыков не скрывая интереса, присмотрелся: особа эта заочно давно была известна секретарю райкома. И небезосновательно. А теперь увидел воочию: а-а, вот какой он внешне. Пробивалась давняя, прочная неприязнь к этому кулацкому сынку. По

сведениям, которые доходили до него, — опасный тип. То, что теперь увидел Башлыков, ничего не изменило, напротив, дополнило сложившееся мнение о Евхиме.

Не ускользнуло от Башлыкова и то, как мгновенно этот кулацкий выкормыш уловил смысл Миканоровой нерешительности и нашелся, что сказать. Изворотлив на удивление. Видно, умен. По-своему умен.

«Халимона Глушака сынок. Яс-сно».



Евхим Глушак будто и знать не хотел, что могут о нем сказать. С той же усмешкой повернулся к печи, деланно весело сказал:

— Тетко, что же вы ето! Не приглашаете гостей за стол! — Повернулся к Лариону, покачал головой с укором: — И ты, Ларион!

— Аге! — сразу отозвалась старуха. Суетливо взялась перевязывать фартук, как бы показывая, что сейчас же готова постараться для гостей.

Ларион не шевельнулся, тарачился на Евхима Глушака пьяно, бессмысленно, как бы хотел понять что-то и не мог.

— Такие гости прибыли! С самого района! — будто объяснял обоим Евхим Глушак. — Можно сказать, первый человек в районе. И свое начальство! — тут Глушак кивнул на Дубодела.

При последних словах, уловил Башлыков, снова проскользнула усмешка, будто кулачок посмеивался над Дубоделом. Будто считал себя наравне с ним.

Ларион Бугай бросил взгляд на Евхима Глушака и вдруг неожиданно повеселел. Озорной, как бы заговорщицкий взгляд, казалось, давал знать дружку: понял все, поддержку.

Красное лицо расплзлось в глуповатой улыбке. Тяжело поднялся, широко повел рукою с толстыми, будто распаренными пальцами. Нахально позвал:

— Давайте!.. Приглашаю всех!..

Башлыков посмотрел на него уничтожающе, хотел осадить сразу, отбросить неуместные шуточки. Отрезал строго, достойно:

— Благодарю. Но мы по делу пришли.

— А что, за столом разве не делаются дела? — отозвался сразу тот, в пиджаке.

— За столом только и делаются! — подхватил Ларион. — Всякое дело за столом — как по маслу! С яичней да с чаркой — сразу пойдет!

Он глянул на Глушака, как бы ожидая одобрения, громко захохотал. Чувствовалось, громила этот во всем слушался того, дружка. Тот руководил им.

Глушак не поддержал смеха, и Ларион притих.

В разговор вступил Миканор, почувствовал, что настала его пора. Важно, очень недовольно, как бы осуждая, упрекнул:

— Чего с колхозом тянешь? Заявление не подаешь!

Ларион нарочно почесал затылок, ощерясь нахальной, задиристой усмешкой.

— Неграмотный. Писать не умею.

Миканор не ответил на усмешку, но подхватил его слова:

— Дак, может, помочь? Написать тебе?

— Не надо, — ответил он твердо. Потом попробовал снова будто пошутить: — От сам выучусь...

— Долго собираешься! — упрекнул Дубодел. В том, как он произнес эти слова, казалось, скрывалось важное, недосказанное.

— А разве надо обязательно быстро? — Ларион, чувствовалось, не намерен был отступить. Старался держаться молодцом. Даже поиздеваться решил. — Или боитесь не успеть?

— Кому, может, и надо бояться, — ответил резко Дубодел, снова будто утаил важное, с которым следует считаться. — Только не нам. Нам бояться нечего. Тянуть не хочется. Ясно?.. Дак как?

Вопрос Дубодела был грозный. Ларион смахнул усмешку.

— Что вам, обязательно я? — сказал безразлично. Он глянул на дружка, который будто не слышал ничего. — У вас уже и без меня много. Хватает без меня... А я и грамоты не знаю...

— Хватит грамоты! А не хватит, научим! Ты ж, наверно, пахать, сеять научен! — съязвил Дубодел.

Ларион промолчал.

Башлыков чувствовал, что все то, что говорил и как держался Ларион, имело значение. Рядом был его друг, Евхим Глушак, и Ларион вел себя так, чтобы покрасоваться перед ним.

Друг же, можно было подумать, очень спокойно следил за всем, что происходило с Ларионом. Всем видом своим показывал: то, что он говорит и как себя ведет, забота самого Лариона и никого больше не касается. Башлыков, однако, видел, что Глушак слушает и следит за всем беспокойно, затаенно. Только сдерживается. Умеет сдерживаться. По всему видно, характер сильный, цену себе знает и ценит высоко. Больше, чем надо, не иначе...

Башлыков был уверен, что видит его насквозь. Таится Глушак, но выдают его глаза. Нет-нет да и покажут, что у него на душе. Скрытый интерес и неприязнь. Опасный человек. Башлыкову такие известны. Не один раз замечал подобное и в других.

Евхим Глушак вдруг откровенно залился смехом. Не без издевки спросил Дубодела:

— Дак, может, и меня возьметесь научить грамоте?

Дубодел промолчал. Засунув руки в карманы шинели, стоял недоступный, решительный. Дал понять, что не одобряет такого несерьезного тона в этом важном вопросе. Сказал:

— За тебя не возьмемся. С тобой особый разговор.

— Почему это?

— Знаешь.

Глушак вдруг резко повернулся к Башлыкову. Башлыков увидел прямо перед собой его глаза — острые, колючие.

— А меня почему не зовете? — сказал он тихо, с вызовом.

Взгляд был такой наглый, и в голосе такая уверенность, что Башлыков невольно пригляделся, как бы заново узнавал человека в пиджаке. Как будто увидел только что.

Башлыков не был человеком очень уж впечатлительным. Всего насмотрелся и ко всему был готов. И все же то, с какой напористостью, даже, скорее, нахальством смотрел и спрашивал этот наглец, поразило его. Будто судит, будто приказывает!

Было в том, что чувствовал Башлыков, еще одно — вот вся его истинная суть. Показал свое обличив, кулацкий выкормыш. Высказал свое желание.

«Почему меня не зовете?» Чего захотел!

— А я пойду! — сказал Глушак, задираясь. — Сразу пойду! Ей-бо! Вот хоть сейчас!

По тому, как он смотрел и говорил, Башлыков чувствовал — пойдет!

Башлыкова не удивило это, немало уже повидал таких, что готовы были. Только почему готовы, ради чего? Хотели укрыться от налогов, тепло устроиться. Чтоб дождаться удобной минуты. Чтоб вредить изнутри.

— Пойду! Только скажите!

— Знаю, — холодно отозвался Башлыков.

— Не хотите?

— Не хотим.

— Почему? — наступал Глушак. — Я сдам все! Работать буду, как все. Стараться буду. — Взгляд его становился все острее. Все нетерпеливее вонзался в Башлыкова.

— Стараться вы будете, — губы Башлыкова скривила язвительная, мудрая усмешка. Вся ирония его была в этом «стараться».

— Стараться буду! — упорно твердил свое Глушак. Решительно, как самое убеждающее, сказал: — Что я, жить не хочу?

Башлыков подхватил это:

— Именно потому, что жить хотите! По-своему! По-кулачки! — Сказал и отвернулся, давая понять, что кончил ненужную болтовню.

— Не хотите! — снова услышал он.

Глушак сказал это так твердо и с такой нескрываемой злобой, что Башлыков оглянулся.

Их взгляды скрестились. В глазах Глушака горела такая лютая ненависть, что, сдавалось, он в любой миг может броситься, вцепиться в горло.

— Не хотите! Куда ж меня? Куда всех нас? На подстилку! На навоз! Или, как вшей, под ноготь!

По тому, как говорил он, Башлыков почувствовал, это — не случайно. Передуманное. И не в один день. А вырвалось вот сейчас.

Какая злость за этим и какая смелость в глазах кулацкого выроodka, он сразу понял, как опасен этот тип. И как необходимо принять надежные меры, чтобы обезвредить его.

Он повернулся к Лариону. Старался говорить рассудительно, сдержанно, однако волнение не оставляло его. С ним он и вышел из хаты. И на улице все время чувствовал на себе ненавидящий, беспощадный взгляд Евхима Глушака. Несуразно подумалось: что, если с таким придется встретиться на дороге один на один?

Тогда пришла другая, трезвая мысль, важность которой он почувствовал сразу: вот такие тут верховодят! Башлыков подумал обеспокоенно: «А почему, собственно, он расхаживает на воле?»

Еще одна встреча выдалась особенная.

Игнат Глушак — известно ж. Вроде Игнат, худощавый, лысый, с какой-то странной ухмылкой кивал, когда Миканор, Дубодел, а потом и Башлыков объясняли причину своего появления, упрекали за отсталость. До поры, до времени молчал, кивая лысой головой, а глаза, болезненно беспокойные, стерегли, выслеживали, иронически щурились. Будто говорили: вот слушаю, ожидаю, когда же разумное что услышу, а все нету да нету...

Наконец не выдержал, ринулся в запале:

— От сгоняете в гурт!..

— Не сгоняем, а организуем, — сразу поправил Башлыков. — В коллектив.

— Ну, добре, организуете. Сводите, похоже. А кто над гуртом?.. Над коллективом будет?

— Кого выберет общее собрание колхоза. — Башлыков серьезно добавил: — Могут и вас выбрать.

Игнат глянул строго, выпалил:

— Хрен вы меня поставите!

— Поставим, если выберут! — Башлыков сказал таким тоном, что и сомневаться не приходилось.

Игнат на минуту задумался.

— Не выберут меня, — сказал уверенно, без сожаления. Просто констатировал факт. Потом с вызовом, не колеблясь, будто радуясь, заявил: — А если б и выбрали, не пошел бы! Вот!

— Это другое дело... — сказал Башлыков.

— А почему б я не пошел? — Игнат смотрел на Башлыкова так, будто требовал: ну, допетри, ученый человек! Ответил сам с гордостью: — Потому что с таким кагалом сладить — не с моим характером! Я перебью половину!

Так говорил, что было видно: не шутит. И впрямь перебьет. Жена схватилась за голову: что говорит!

— Игнатко, что ты плетешь? — почти простонала она. — Люди и вправду подумают. — Игнат глянул на нее.

— За это знаешь что? — поддел его Андрей, дядька в кожушке, что снова оказался с ними. Он явно подшучивал — для начальства. — Засудят по закону!

— Ты, Андрей, не лезь! Куды не просят! Не суй, вроде, носа!

— Да дайте высказаться до конца! — вмешался Дубодел. В голосе его послышалось непонятное Башлыкову злорадство.

Миканор Глушак молчал, было видно, неспокоен: побаивался, должно, что этот тоже выкинет что-нибудь на беду ему.

Игнат, казалось, не мог уже остановиться. Торопился, жаждал договорить.

— А почему перебил бы? — снова потребовал он от Башлыкова: допетри. — А потому! Что с каждого глаз не своди! Тут же ставь человека за ним, вроде надсмотрщика! Чтоб глядели, как работает каждый! Чтоб стерегли добро! Глаз не сводили! А не то дел наделают! Растащут все по норам своим! И не углядишь!.. Каждый, он что? Для себя, вроде, добренький! К себе гребет! От!

Башлыков остановил Миканора, который возмущенно хотел возразить что-то, сказал убежденно:

— Колхоз быстро переделает эту психологию. В колхозе будет другая психология.

— Другая? — засмеялся, залился Игнат. — Откуда она возьмется! — Не дав никому слова сказать, заявил: — А я такого терпеть не могу! Я правду люблю! А тех, кто за правду, не любят!

— Это у вас отсталое настроение, — сказал Башлыков.

— Дак от я не пойду! — гнул свое тот. — Если б и выбрали, не пойду! — Он приостановился на минуту, остро взглянул на Башлыкова. — Да и вы не поставите! — сказал неуклонно. — Я непослушный, вроде. Неудобный! А начальство всякое неудобных не любит! Дак вы не возьмете! А если и возьмете, дак потом под зад! А я такого не люблю! И не пойду потому!

Он переждал возражения Миканора, Башлыкова с ухмылочкой: говорите, говорите, не собьете! Похоже было, что и не слушает никого. Едва наступила пауза, опять за свое:

— Да вы и поставите кого?

Игнат смотрел с насмешкой, в которой скрывались и язвительность, и неколебимое убеждение в своей мудрости. Он стремительно повернулся к Миканору Глушаку.

— Его поставите! Поставили, вроде, уже!.. А он какой хозяин, спросите? Ну, Андрей, скажи, — приказал он вдруг дядьке в колушке.

Дядька подумал, авторитетно ответил:

— Миканор — он человек сознательный, идейный.

— Сознательный, идейный, — передразнил его Игнат. — Хозяин он какой, спрашиваю!.. Хозяин он, — сказал Игнат странно злорадно, — будто из г... пуля! От какой он хозяин!

— Вы напрасно оскорбляете, — недовольно сказал Башлыков. Дубодел поддержал его.

Игната это еще более разожгло.

— Я правду говорю. Он и в своем хозяйстве не был никогда хозяином. Поля сам, можно, вроде, сказать, один не обработал. Отец все. Или под отцовым присмотром. Не правда разве, Миканор? — беспощадно обратился он к теперешнему председателю. Тот, рассерженный, не отозвался.

— Ну, от, — Игнат, как победитель, повернулся к Башлыкову. — А теперь ему все хозяйства!

Опять с насмешечкой человека, которого никто не может сбить с единственно правильных позиций, слушал, что возражали ему. Переждав, упорно продолжал гнуть свое:

— От и вы! Откуда? — ринулся уже на Башлыкова. — Из города, видно! Знаете вы хоть, вроде, как отличить гречиху от жита?

— Ты, Глушак, брось ето! — сурово, не без угрозы сказал Дубодел. — Брось свою кулацкую антимионию!

— Игнатко! Помолчи! — запричитала жена. Ухватила за рукав,

хотела отвести в сторону, как от драки. Он нетерпеливо оттолкнул ее.

— Не лезь! — В несдержанной запальчивости крикнул Дубоделу: — Не, нехай он послушает! Потому что не скажете, — обрадованно крикнул он Башлыкову, — про гречку-жито. Не знаете!

Башлыков не спорил, смешно, ни к чему было спорить, защищать себя в такой дискуссии. Достоинство не позволяло унижать себя таким образом.

Игнат махнул беспокойной рукой, как человек, который готов на все.

— Ну, так и быть! Станьте у нас председателем! Пойду! Ей-богу! Хоть зараз! Пойду!

— Ты, Глушак, сказал уже, кулацкие свои штучки брось! — вступился вновь за Башлыкова Дубодел. — За агитацию против представителя власти, знаешь, что?!

— Дела нашего, вроде, не знаете, — Игнат не обращал внимания на Дубодела, видел только Башлыкова, — дак хоть грамоту знаете! А сельскому хозяйству научитесь! Давайте! Пойду! Ей-бо!

Башлыков сказал строго:

— Моей жизнью распоряжается партия. Куда она прикажет, туда я и пойду. Не раздумывая.

— Ну от! — отозвался Игнат с улыбкой, которая значила: я так и знал, не пойдете.

— Ты, Глушак, брось эти шуточки! — снова пригрозил Дубодел. — Далеко заведут они тебя. Запомни!

Игнат не послушал предупреждения Дубодела.

— А я и не шучу, — сказал он задиристо. — Дети вон. Кормить, вроде, надо.

Когда шли улицей, Миканор Глушак отстал, придержал дядьку в козушке. Башлыков вскоре остановился, оглянулся и увидел, как Глушак что-то недовольно твердит дядьке, тот спорит с ним, оправдывается.

Башлыков подумал, что Глушак, не иначе, хочет отшить дядьку, который неизвестно почему крутится рядом. Согласился, что правильно делает: дядька тут ни к чему. Подумал, однако, Башлыков об этом мимоходом, тревожило его другое — только что пережитый разговор. Было от него на душе муторно, чувствовал потребность разобраться, прояснить...

— Всюду сунуть ему нос надо! — сказал Глушак, как бы оправдываясь.

Башлыков не ответил. Дымя папирсой, показал, что у него своя забота, и забота серьезная.

— Душок нехороший! — сказал он значительно, чуть кивнув на хату Игната. Взгляд, который бросил на Глушака, на Дубодела, говорил, как это важно: «душок».

— Да-а, — сразу поддержал Дубодел. Своим согласием показал, что целиком разделяет мнение Башлыкова, — это серьезно.

Глушак виновато переступил с ноги на ногу.

— Плетет сам не знает что.

— Знает. Хорошо знает, — сказал Дубодел.

В том, как сказал, чувствовались и принципиальность, и серьезность, и мудрое предупреждение: надо быть бдительным...

— От контузии, может... Контуженный был...

Дубодел дернул губами, сказал осуждающе:

— Сердобольный ты что-то, Глушак!

Башлыкова тоже удивили слова Глушака, покладистость его. Подумал: растерялся от услышанного или не хочет, чтобы сочли, что он мстит за злые слова? Или мягкотелость?..

Не додумал, глядя в глаза Глушаку, спросил главное:

— Как он, не занимался такими разговорчиками публично?

Миканор на минуту задумался. Сказал неуверенно:

— Да нет, он не вылезит особенно...

— Что значит — особенно? Значит, бывает иногда?

— Да нет. Можно сказать, нет...

— Опять: можно сказать!

Миканор совсем сник. Преодолея себя:

— Нет.

Дубодел хмыкнул с презрением.

— А летом? Когда нарезали землю? — сказал с намеком. Как бы разоблачая.

Глушак покраснел, подтвердил:

— Схватился за грудки. С землемером...

— Взяли под арест, — Дубодел объяснял Башлыкову. Открыто, преданно. — Отправили в Алешники, в сельсовет.

— Судили?

— Не, отпустили.

— Когда?

— Сразу!

— Кто?

— Гайлис.

— Почему?

Дубодел промолчал. Молчание его сказало больше слов: он, Дубодел, до сих пор понять не может такого фокуса.

— Из-за детей... Пожалели... — отозвался Глушак. Башлыков будто не понял. Вдруг, не докурив, бросил папиросу в снег. Решительно приказал Глушаку:

— Веди!

Глава пятая

1

Часа за три обошли еще десяток хат, осмотрели все колхозное, пообедали у Миканора Глушака.

Было далеко до вечера, когда выехали из Куреней. Башлыков хотел побывать еще в Мокути, одной из самых далеких и глухих деревень района.

За крайними куреневскими хатами начиналось небольшое поле — белый чистый простор. Конь бежал трусцой, не очень-то торопился, поле скоро кончилось, подступил стеною подбеленный молчаливый лес. Вскоре возок нырнул в эту таинственную молчаливость, во владения леса, которому, знал Башлыков, здесь нет конца-края.

Леса здесь, а можно сказать, и лес, единый, бесконечно тянулся более чем на сотню верст. В это загадочное владение и въехал возок.

Какое-то время ехали молча. Шаркали только полозья да поскрипывали гужи. Дубодел, сутулясь, сидел рядом с Башлыковым, поднял воротник шинельки, не то дремал, не то думал. Молчал и Башлыков. Отдыхал от недавних хлопот, от виденного и слышанного.

От лесной тиши аж звенело в ушах. Пока не обвык, пестрело в глазах от черного и белого, снега, деревьев, веток, что надвигались, свисали, исчезали, снова шли и шли по обе стороны. Утомленный, он не хотел ни о чем думать, просто не очень хорошо, не по себе ему было в этой бесконечной лесной глухомани, затаенной тишине. Чувствовал и удовлетворение оттого, что сам решился добраться до такой глуши.

Но в этом своем поступке не усматривал ничего из ряда вон выходящего, тем более героизма. Просто повседневные хлопоты секретаря. Однако поддерживал, не остужал в душе горячего стремления, которое было теперь самым важным для него: как бы далеко ни было и какие бы нелегкие дороги ни вели туда, все равно доедет, доберется. И докопается. Все раскопает. Сам.

Дубодел ворохнулся, полез в карман. Закурил. Отвернувшись, чтобы дым не шел на Башлыкова, думал. Глаза, прищуренные, сосредоточенные, отражали что-то острое, жестокое. Судорожно дергались худые скулы. Курил суетливо, нервно. Окурком обжег пальцы. Едва не выматерился. Со злостью бросил окурочек в снег, плюнул. Не глядя на Башлыкова, будто

думая вслух, с хрипотой, но горячо произнес:

— Им разговорчики те... — Он осекся. Хотел, видимо, найти нужное слово, брезгливое. Кончил обычным, с пренебрежением: — Как горох об стенку.

Башлыков не шелохнулся. Будто не слышал. Но слова Дубодела поразили его. Дубодел словно прочитал его мысли, высказался за него. Башлыкову это не понравилось. Он как бы услышал оскорбление своей работе.

— Без разговорчиков тоже нельзя, — сказал Башлыков поучительно, со значением. «Разговорчики» выговорил с насмешкой — поставил Дубодела на место.

Дубодел то ли не заметил иронии, то ли сделал вид, что не замечает ее, сказал прежним тоном:

— Им не разговорчики нужны!

В его тоне Башлыков услышал и твердую убежденность, и тревогу, и даже боль и заинтересованно ждал, что же он еще скажет.

Однако тот сжал губы, молчал.

Башлыкова уже не раз удивляло его умение молчать. Скажет что-нибудь важное и оборвет речь, не договорив. Думай, гадай, как понимать.

Это удивляло, тем более что в выступлениях своих Дубодел был на удивление говорлив и горяч: как начнет палить без передышки, кажется, не остановится.



— Разъяснять надо, — сказал Башлыков устало. — Без
разъяснительной работы нельзя...

Дубодел отозвался не сразу.

— Много разговоров у нас... — Он говорил с той же убежденностью и
как бы осуждая. — Народ слушает, слушает, а сам думает: говори, говори...

Слова эти задевали Башлыкова, бередили свежую рану. Хотелось
возразить.

— Нельзя без разъяснительной работы...

— Разговоры само собой... — не то соглашаясь, не то думая вслух, сказал Дубодел. — А только мало этого! — Он помолчал минуту, сказал горячо, настаивая: — Братся надо за него! Крепкой рукой! Как товарищ Сталин учит. По-большевистски.

— А мы что же, не беремся! — У Башлыкова враз прорвалось возмущение.

Дубодел не шевельнулся.

— Вы-то беретесь, — продолжал, как бы обдумывая свое. Помолчал минуту. — Да нужно, чтобы все брались!

Он будто поучал Башлыкова, но гнев у того остыл.

— Надо.

Дубодел продолжил поучительно, солидно:

— Особенно те, которые на месте. В низах.

Башлыкову уже совсем не хотелось ни сердиться, ни даже спорить. Чувствовал, что Дубодел говорит не только искренне, с болью за него, но и с горячим желанием предостеречь, помочь. Он хорошо понимал настоящее положение, чувствовал его сложность.

— Вы руководите, даете указания, как надо и что надо, — у Дубодела заходили желваки. — А на месте должны братся. А они нет, не берутся! Только делают вид! Сердобольные! Потому и идет слабо!

Снова ехали молча. Покачиваясь в возке под чуть слышный топот копыт и поскрипывание гужей, Башлыков думал про Дубодела. На вид неуклюжий, не очень-то грамотный, а с головой. Недалекий, казалось бы, а видит и вокруг и вглубь. Правильно видит и, главное, мыслит. Лучше, чем некоторые «далекие», образованные. Умный по-своему. Все ясно, просто у него. Позавидовал.

Подумал с улыбкой: необразованный, а тактичный какой! Слова лишнего не скажет, каждое слово значимое. Подумай, говорит, рассуди.

А главное, искренность какая, преданность. Все с душой, со страстью...

— Глушак етот, Евхим — штучка! — вымолвил, погружаясь в свои мысли, Дубодел.

«Штучка» сказал так, что Башлыков посмотрел внимательно.

— Что еще выкинет. Посмотрите.

Предсказывал с такой уверенностью, будто знал уже, загодя.

— И Игнат — загадочка!

В памяти Башлыкова надолго засело это «штучка», «загадочна». Засело тем более крепко, что сам считал так же^[4].

Долго молчали. Конь теперь не бежал — ковылял терпеливо по свежему снегу. Возок не бросало на поворотах и на ухабах, мягко вело. И деревья, и черно-белая пестрота плыли медленно, казалось, что им и конца не будет.

Но Башлыков думал о другом. Растревоженная память возвращала его назад, в Курени, к увиденному и услышанному там.

Прежде всего растревляло, жгло непонятное. Невероятное. Как это могло случиться? Почему выпустили после ареста, после такого преступления? После покушения на советского работника. Посягательство фактически на законы и порядки, установленные советской властью. Выпустили явных антисоветчиков, врагов. Арестовали, отправили и отпустили. «Гайлис приказал. Пожалел детей!»

Какие добряки! Сам отец не заботится о детях, так он позаботился! И Глушака, взрослого уже, пожалел, видно, тоже, чтоб не тревожить отца! Проявить такую доверчивость, глухоту и слепоту. Просто невозможно поверить, что это всего лишь непонимание элементарных законов! Не хочется думать, что тут и похуже, сознательное укрывательство, но факты же вопиют! Не поставили в известность райком, даже соответствующие органы! И не знал бы никто в районе, если б не приехал, не раскопал! Сам!

А секретарь ячейки — просто удивительно — был при этом, видел все, и хоть бы что. Смотрел, наблюдал, как посторонний, не поправил, не возразил! Не уведомил райком! Сигнала не подал!

Не выходило из памяти: «А нас куда? Всех нас куда? На подстилку! На навоз! Или, как вошь, под ноготь!» Запомнилось так, будто еще звучало в ушах. Будто обжигал зверский взгляд. Он хорошо понимал значение этого взгляда, понимал опасность, которая таилась в этих глазах. К тому же примешивалось насмешливое, оскорбительное: «Знаете хоть, как отличить гречиху от ржи?.. Дела нашего не знаете! Дак хоть грамоту знаете! Давайте к нам!.. Ну от!» Точило, жгло злое, злорадное «ну от». Я так и знал: ты только уговаривать мастер, а сам будешь сидеть в сторонке, в чистой квартире в Юровичах, в кабинете своем!

Как они, Гайлис и Глушак, могут мириться с такими! Как могли простить открытое выступление против колхозов, против советской политики! Более того, арестовать, отправить в сельсовет и выпустить, классового врага выпустить на свободу! Башлыков никак не мог свыкнуться с этим фактом, не мог спокойно думать о нем.

У него давно были сомнения относительно большевистской принципиальности Гайлиса. И все же он не ждал от Гайлиса такого.

С этим переплетались и мысли о Миканоре Глушаке. Почему он не поправил, не возразил? Не сообщил в райком? Или не захотел сам, по своим убеждениям, или не решился пойти против Гайлиса? Разумеется, первое слово в этой истории за Гайлисом, он освободил арестованного. Гайлис — здесь незыблемый авторитет, командир. Но как можно было секретарю ячейки проявить такую мягкотелость, просто бесхарактерность, потакать всем фокусам Гайлиса! Как можно так относиться к своим партийным обязанностям, к тому доверию, какое оказано ему!

А может, здесь причина не только в мягкотелости, в подчинении Гайлису? Может, причина здесь прежде всего в том, что такая «добродота» по сердцу самому? Что самому по душе сидеть тихо-мирно, оберегать свой личный покой? Жить спокойно рядом с вражеской поганью потому, что и враги, как говорит мать Миканора, тоже «люди»? Глушак возмущался ее словами, но насколько искренне это возмущение? Не тем ли продиктовано, что тут был он, секретарь райкома? И откуда эти взгляды у матери секретаря партячейки?

И так ли уже безобидно то, что секретарь ячейки, оказывается, состоит пускай не в непосредственной, а все же родственной связи с кулацкой семьей? Конечно, в деревнях это не так уж и редко, но не оставила ли следа во взглядах Миканора Глушака эта связь? Во взглядах и поступках. Не в этом ли корень того, что Дубодел точно определил — сердобольность.

Чутье не обмануло его и в том, что здесь, в Алешницком сельсовете, руководство не на уровне. Не ошибся тогда, на собрании в Глинищах, и потом, в Юровичах, когда искал причину прорыва, в который попал сельсовет. Тогда он только предполагал, теперь уже располагает фактами достоверными, которые говорят о том, что руководство сельсовета и руководство ячейки занимают оппортунистическую позицию, не ведут должной борьбы с кулацкими проявлениями.

Когда думал об этом, росла уверенность, которая уже не раз приходила, что хорошо сделал, выбравшись сюда; раскопал, вытащил факты, прояснившие положение в сельсовете. Собственно, то, что открылось здесь, если взглянуть шире — а ему и надлежит смотреть так, хотя бы в районном масштабе, — показывает, каким образом можно вывести из прорыва и весь район. На примере этих деревень он научит всех, подымет район.

Так, надо браться. Дубодел хорошо сказал: «Браться крепкой рукой!» Браться не одному ему, браться всем! Успех в масштабе района будет

зависеть от того, насколько удастся поднять все кадры! Чтоб сломать врага, надо укрепить боевой дух всех партийцев, всего актива! Для этого надо навести порядок прежде всего в наших рядах! Прежде всего вытравить из наших рядов любое проявление либерализма к врагу, расхлябанность. Для этого строгость, непримиримость к самим себе! И не на словах, слов уже предостаточно было, а на деле!

Надо вопрос о злоупотреблениях в этом сельсовете поставить на ближайшем бюро. Надо Гайлиса и Глушака привлечь к суровой ответственности, наказать со всей строгостью. Гайлис за все, что учинил, безусловно, заслуживает исключения из партии. Строгое взыскание следует дать и Глушаку. Обоих, разумеется, надлежит освободить от должности. Бесхребетным угодникам не место на таких ответственных постах, где необходимы решительность и неуклонность.

Серьезные выводы по делу Гайлиса и Глушака должны, конечно, подтянуть других, мобилизовать. Это будет достойный удар по мягкотелости и медлительности, это приведет к перелому. Пойдем быстрее!

Не принять никаких мер против открытых вражеских выступлений, нянчиться с такими опасными элементами, давать разгуливать им на свободе. Башлыков никак не мог ни понять Гайлиса и Глушака, ни успокоиться. Это так волновало, что хотелось просто повернуть коня, воротиться в Алешники, выложить все сейчас же Гайлису. А приехав в Юровичи, рассказать членам бюро, готовить заседание по этому поводу.

Вместе с тем из памяти не уходило и то другое, что видел и слышал в Куренях. И прежде всего и больше всего растревожило то, что увидел в хате у Ганны. Было такое ощущение, будто вдруг счастливо приоткрылось что-то очень важное и очень существенное о ней. И снова, как там, в хате, волновало удивление, что такая нежная, с такой душой, такая гордая родилась, выросла в этой убогости. Неуместное, понимал, удивление. Но оно было, никуда от него не денешься.

А еще было то, что познал неожиданно, это чувство необычайной близости и единения. Будто встретился с нею самою, будто дотронулся до нее, почувствовал возле себя вплотную, ощутил теплое дыхание ее. И чувствовал, что они так близки, что ничто их не разделяет. Что они люди одного мира.

Еще до этого дня непонятно притягивающая, она виделась уже близкой, осязаемой, своей.

Это остро волновало его. Когда думал об этом, смотрел на бело-черную пестроту леса, что вставал и вставал навстречу, нетерпеливым, веселым взором. В такие минуты возникали в душе и тревога, и злость,

которые заглушали внезапно нахлынувшее, удивительно молодое, бездумное настроение. Полное доброго ожидания и предчувствия. И все-таки на это одна за другой нанизывались какие-то мелочи, замеченные в хате, и в душу закрадывалась тревога. Тревога эта охватывала каждый раз, когда вспоминал старуху, ее мать. Слышал снова Глушака: «Злыдня, сквальга! Из-за жадности своей дочь из дому выпихнула. Жизнь девке покалечила!» Как нелегко, верно, было ей с этой каргой, которая, кажется, не в состоянии и взглянуть приветливо.

В такие минуты в сердце Башлыкова всеялось сочувствие к Ганне. Гордость за нее, за неподатливую, смелую душу ее. Душу, как думал убежденно он, нового человека.

К тому, что увидел в ее хате, примешивалось увиденное и в других дворах. Приходило на память, как встретила жена этого молодого, Дятла. «Сходками жить не дают! Дак еще и в хату нороят залезть!» Вспомнил, сколько ненависти было в ее упрямом взгляде. Кулацкого рода. Вспомнил снова рассуждения матери секретаря партячейки. Подумал: особенно упрямо за старое цепляются женщины. Самая отсталая и темная сила.

Представил себе, как стоял перед ним, как зыркал исподлобья Дятел. «А я посмотреть хочу, что из етого всего будет!» Он хочет еще посмотреть, он еще вообще не уверен, что из «етого» что-нибудь выйdet! И попробуй докажи ему, как это серьезно продумано, докажи, что думать тут уже нечего! Не такие умы думали, передумывали все! Продумано все и решено. А раз решено, то будет сделано! Снова растравляла душу та неодолимая глухота, неспособность понять простую истину. И снова брала злость: было б за что держаться! Был бы не то что рай, а хоть мало-мальски человеческая жизнь. Были бы хозяйства как хозяйства. А то ж бедность, голытьба, нищета, темнота, грязь, смрад. И все равно «осмелиться трудно»! Будто дворцами рискуют!

Жгла злость: это упрямство, недоверчивость, не хотят, казалось, знать ничего. Дурацкая деревенская тупость и слепота, бессмысленное цепляние за старое, за прогнившее, но только бы за свое. Это особенно мучило своей очевидной бессмыслицей. Ну, кулаки, те бегут отсюда, вредят везде, творят свое дело с точной целью. Защищают нажитое нечестно, эксплуатацией награбленное, отстаивают свои интересы. Их сопротивление естественно — непримиримый классовый враг. Но как можно спокойно думать о том, что с ним, с врагом, заодно фактически столько таких, что должны быть с нами. Должны быть с нами, а стоят плечом к плечу с теми, кулаками, врагами!

И раньше не терпел этого, а теперь думал просто с ненавистью.

Каждый раз в такие минуты Башлыков либо вспоминал, либо просто ощущал как привычное то время, когда еще в детстве, впечатлительным мальчиком он впервые столкнулся со всей этой мерзостью. На всю жизнь поселились в нем гнев и возмущение тех тяжелых гомельских дней, когда на барахолке предстал перед ним незнакомый и ненавистный мир. Чужой мир. На всю жизнь осела в душе его ненависть к тем, кто бесчеловечно обдирали как липку их, городскую бедноту.

Позднее к этому прибавилось вычитанное из книг. В них тоже было непросто, но Башлыков запомнил твердо одно: что он, крестьянин, в основе своей двоедушный, что в каждом живет собственник. Эксплуататор. Союзник не только рабочего, но и кулака. Башлыкову было абсолютно ясно, кулачество — это часть крестьянства.

Именно поэтому Башлыков понимал свое городское, рабочее превосходство над темной деревенской массой.

Теперешние встречи, поездки по селам спутали эти башлыковские убеждения. В темной деревенской массе встречал он иной раз такие умы, что диву давался: откуда это?

3

Башлыков много думал о Ганне.

Может, оттого, что ожила в душе недавняя встреча с ее миром, с домом, с родителями, лезли, вспоминались с удивительной реальностью, тревожа его, подробности их первого знакомства, и всюду, во всем была, жила, говорила, смеялась она. Звучали ее слова, и от слов этих кружилась голова. И билось в волнении сердце. Теснило.

Он невольно поглядывал на Дубодела, почему-то уверенный, что тот угадывает все то, о чем думалось ему. Поглядывал, будто хотел проверить это, когда же трезвел, отводил глаза от Дубодела, хоронил и в душе тайное свое.

От сильного, неотступного возбуждения неожиданно, внезапно захотелось поговорить о Ганне, расспросить о ней. Дубодел, конечно, ее знает. Должен знать, председательствовал же здесь, не раз бывал в Куренях. Не мог не заметить ее. Наверняка знает, почему она в школе. Знает, была ли замужем. И вообще что она такое.

Хотелось заговорить. Тяжко было таиться, скрывать беспокойные, лихорадочные видения и мысли. Но словом не обмолвился, не заикнулся. Помнил: не должен, не имеет права обнаружить, что заинтересован такими

вещами. Дубодел сразу сообразил бы все. Решил здраво: как-нибудь наведет справки о ней. Или саму спросит.

В конце концов главное знает. Корни ее увидел, дом ее.

Оттого, что она вдруг стала ближе, сильнее охватило желание заехать к ней. Охватывало и казалось таким простым — стоит только свернуть с дороги. По пути в Юровичи свернуть в Глинищи к школе.

Когда думал об этом, просто воочию представлял: кончились гумна, школа, и вот входит он на крыльцо. Входит в темный коридор, в ее комнату. И вот уже вдвоем, друг против друга, глаза в глаза.

Каждый раз, когда видел это как наяву, сердце, всего его заливал жар. Жар бил в виски. Лес, дорога кружились, как в лихоманке.

Часть третья

Глава первая

1

Это было очень кстати, что Козаченко оказался в сельсовете и теперь покачивался вместе с Башлыковым в возке. Правда, то, что из Алешников Башлыков направился в Глиници, даже очень уж любопытных не должно было, вероятно, удивить. Глиници как-никак на дороге в Юровичи и к тому ж одна из самых больших в этом сельсовете деревень. Естественно, наверное, должно выглядеть, что секретарь райкома захотел наведаться сюда.

То, что Козаченко рядом, было не лишним: это как бы показывало каждому, кого могла заинтересовать его поездка, деловой характер ее. Снимало подозрения и то, что, заехав в Глиници, Башлыков сразу же пошел по дворам, детально интересуясь делами в колхозе. Он был доволен, то памятное собрание оказалось не бесполезным — часть людей вернулась в колхоз и хозяйство ожило. Колхоз понемногу как будто выравнивался.

Отсюда Башлыков заехал еще в дом Козаченко. От Козаченко вскоре вернулся назад к перекрестку и свернул на Юровичский шлях. На привычную дорогу...

Еще не доехав до края села, Башлыков все колебался — ехать, не ехать в школу. Колебался, может, даже сильнее, чем раньше, потому что надо было решать. А решать было трудно. Почему-то тяжело думалось, и была в мыслях неопределенность. В голову упорно лезло все, что повидал и пережил за поездку, беспокоило, растревляло его.

Но уверенности не было не только по этой причине. Так хотелось видеть ее, но он не представлял себе, как и раньше, такой возможности. Понимание ответственности, которая возникала от всего этого, решительно сопротивлялось его страстному влечению. Но влечение это, как и прежде, не хотело отступить. И не только не хотело отступить, а временами даже захватывало сильнее.

И снова в его рассуждения вривалось — заехать в школу. Хотя бы для того стоило заглянуть, чтоб не засорять себе голову пустяками, освободиться таким образом от ненужного груза тревожных раздумий о Ганне. Чтоб потом жить только для дела.

Он теперь был убежден, что влечение его к куреневской красавице —

всего только наваждение пустое, которое несложно будет отогнать. Конечно, лучше взглянуть на все спокойными глазами, убедиться, что все, что он придумал, просто дурь. Поглядишь, убедишься — и конец.

Было и еще соображение. Конечно, специально ради такого он не поехал бы, не стал бы так нещадно тратить дорогое время. А тут школа, можно сказать, просто на дороге. Стоит только свернуть, остановиться на какую-то минуту.

Не было в нем ясности и тогда, когда уже свернул на загуменье, направился к школе. Каким-то обостренным взглядом замечал, как шли по обе стороны, глядели на него, следили за ним из-под белых, низко нависших шапок крыш понурые, неприветливые гумна. Кое-где возле гумен попадались люди. Казалось, они пронизывали его пристальным, пытливым, догадливым взглядом. Пронизывали, посмеивались.

Эти взгляды, однако, не только не угнетали его, напротив, прибавляли силы. Глядя, как идут рядом и как следят за ним и гумна, и люди, он наперекор им ехал все увереннее.

Одно точило его. Неловкость оттого, что в такой ответственный час такой ответственный человек, секретарь райкома, позволяет себе губить время на личное, на мелочи. Допускает поступок, который не отвечает его положению.

Что же до самой встречи в школе, не беспокоился особо. Посмотреть, убедиться — и конец. Упорно уговаривал себя.

Откуда было ему знать, что начнется, завяжется с этого его приезда.

Вон и школа. Дорожка, вытоптанная лаптями и сапогами. Свернул на нее. Соскочив возле крыльца, приказал вознице подождать немного. Легко, широко шагая, поднялся на крыльцо. Когда шел, казалось, из окон с обеих сторон смотрят ему вслед. Потому и шел так независимо, раз на него глаза пялят. Однако, остановившись на крыльце, ощутил с досадой, что в ногах нет твердости. Стал обметать веником снег с сапог и почувствовал, что сердце бьется сильнее, чаще.

И было такое на душе, словно виноват. И не только перед своим ответственным положением, но и еще неведомо перед чем-то. Его охватила вдруг какая-то смутная тревога, подступила дурнота. Черт знает что! От этой неразберихи в душе вспыхнула злость на себя, на все на свете. Больше всего на себя, на слабость свою. С этой злостью, но с намерением держаться как положено и ступил в коридор, постучал в дверь.

Подождал. Почему-то уверен был, что Параска дома. Ждал ее голоса. Ждал, одолевая глупую тревожность. Беспokoйно гадал, как она встретит,

как поглядит. Может, это и пугало: окинет своим хитрым взглядом и сразу поймет все.

Никто не откликнулся, и он открыл дверь. Параски в комнате не было. Никого не было. Он вошел и сразу почувствовал себя свободней, прошелся по комнате хозяйским шагом. Постучал в дверь соседней комнаты, кухни. Приоткрыв слегка дверь, спросил:

— Есть кто тут живой?

В комнате была она.

Ганна уже шла навстречу, и они чуть не столкнулись в дверях. На какую-то минуту она то ли не узнала, то ли не поверила себе. Не ожидала. И вдруг лицо ее просияло.

— А-а! — сказала она, вся светясь радостью.

Радость ее была на диво откровенной, даже безрассудной. И эта откровенность, эта внезапная, как всплеск, сила чувства сделала ее яркие, как вишни, глаза, смуглое лицо таким прекрасным, что оно словно ослепило Башлыкова.

Он не ожидал этого. Не был готов к этому. Не умел так открывать душу, хотя бы на миг. Заранее настроенный вести себя осторожно, произнес сдержанно, не очень дружелюбно:

— Добрый день!

Он был растерян. Растерян больше потому, что так просто и сердечно встретила. Это было неожиданно и взволновало его. Он едва скрыл волнение и поэтому особенно придерживался привычной роли:

— Вечер скоро! — ответила она, казалось, с упреком, удивленно вглядываясь, как бы стараясь что-то понять.

Его приводил в замешательство ее быстрый и острый взгляд. Будто в душу заглядывала. И тут же заметил, как глаза ее и лицо стали медленно, как бы против воли, жалея об этом, смурнеть.

Она не сразу вышла навстречу, что-то задержало ее. Чем-то была занята. Рукава засучены по локоть, на них белела мука. Теперь она вспомнила об этом и с тем же выражением сожаления стала вытирать руки о фартук.

— Д-да, скоро, — сказал он важно. Стараясь, чтоб она не заметила его волнение, снял шапку. — Вот ехал мимо...

— Работы много?

Она сказала так, что он почувствовал, спросила, чтобы не молчать.

— Много работы... — Он держался солидно, независимо. — Горячая пора...

— Можно сказать, пахота... — Сказала так, будто затаила, скрыла

нечто другое.

— Пахота... Скоро перелом будет. Легче пойдет...

— Легче? — казалось, не поверила она.

— Легче. Перелом будет!

Он повторил твердо, как человек, который хорошо знает, что будет, и уверенный в себе. И тем, что сказал и как сказал, будто поддержал свое достоинство.

Она промолчала, но в молчании ее чувствовалось несогласие. Словно говорила: легче не будет. Может, собрание то помнила...

Удивительно, он не мог смотреть на нее просто, открыто, отводил глаза. И, как ни старался, не было в нем покоя, необходимой ясности. Было горячее, закравшееся куда-то в глубину потрясенного сознания: какая красивая! С этим вошло, тяжело легло на душу отчетливое: «Не надо было заходить! Не надо было!..»

Красота ее так сильно захватила, что эта незнакомая деревенская женщина как бы обрела неодолимую силу над ним.

«Не надо было... Не надо было...» — слышал он в себе остерегающее, трезвое.

Скрывая слабость свою, раскаиваясь, спросил подчеркнуто деловито:

— А где... Параска Андреевна?

Уловил на себе быстрый, пронизательный ее взгляд. Казалось, блеснуло насмешливое в глазах. Заметила неискренность его, жалкость поведения.

— На селе где-то... Пошла в село...

И в словах ее слышалось насмешливое, корящее.

— Позвать?

Именно потому, что она видела, наблюдала, он держался подобающе своей роли.

— Да-да, конечно...

— Сейчас...

Она, спохватившись, развязала фартук, собралась уже идти, но задержалась. Он поймал на себе ее взгляд. Словно ждала, что он прекратит это никчемное вранье.

Он промолчал, и она бросилась к двери. Глядя, как она двигается, быстро, стремительно, ощутил, что еще минута и он потеряет ее, это придало ему силы, решимости. Скрывая неловкость, стараясь держаться как можно естественнее, сказал:

— Нет. Не надо.

Она остановилась. Уже готовая взяться за скобу, оглянулась, как бы не

понимая. Никакой насмешки в глазах ее не было. Ждала объяснения.

Остановив ее, он преодолел в себе самое тяжелое. Он сделал первый шаг, стал действовать открыто. Уже не скрывая, искренне, твердо проговорил:

— Я не к ней ехал.

В первый момент почувствовал облегчение, как бы сбросил то, что мешало, фальшь. Но почти сразу же за этим в нем заговорило трезвое, рассудительное: «Что я делаю?! — Осторожное, оно попробовало удержать его: — Не надо! Не надо этого!» Сквозь сумятицу чувств он четко услышал это разумное «не надо». Однако оно не имело над ним настоящей власти. Мало было в нем, в этом предостережении, силы. Другое, затягивающее, дерзкое, было сильнее, вело, звало.

А черт, злился он на себя, на того осторожного. Зачем играть в прятки, крутить! Он все же мужчина!

И посмотрел решительно. Пошел напролом:

— Я к тебе.

Остановился на миг перед этим первым «тебе», но выговорил твердо.

Башлыков видел, как глаза ее, лицо мгновенно вспыхнули. Она сразу вся засветилась радостью, словно чудо преобразило ее. Преобразило стремительно, такое волнение охватило, что Башлыкова потрясло, захватило.

Однако почти сразу — как у нее это быстро все! — радость сменилась озабоченностью и даже, похоже было, недоверием.

Теперь глаза ее, казалось, не сулили добра. Было видно, мучают какие-то тяжелые, недобрые мысли. Он понял, что эти мысли угрожают всему тому, чего он так ждал. И эта опасность укрепила в нем решительность. Он повторил твердо:

— Я хотел увидеть тебя.

Она, все еще во власти мрачных раздумий, вглядывалась в него невеселыми внимательными глазами. Вгляделась и отвела взгляд.

Казалось, она не верила ему. Он понимал, что нужны еще какие-то слова, какие-то доказательства, которые переубедили бы, развеяли ее недоверие. Но он не искал этих слов. Не хотел искать. Как бы ни был потрясен, он все же оставался Башлыковым, трезвым, деловым человеком, даже теперь помнил, кто он и каким должен быть. Сделав и так, казалось, много больше, чем мог бы еще недавно, он почувствовал необходимость остановиться, подумать. Взвесить, как быть дальше.

То, что созрело в нем, он высказал. Дальнейшее же было очень неясным. Надо было разобраться, подумать. А думалось тяжело. В голове

не было ясности. Тяжело, горячо било в висках.

Наступило неловкое молчание, полное смятенного волнения и противоречивости.

Он в это время не глядел на нее. Но, чуткий, напряженный, сразу уловил неясное, беспокойное движение, бросил взгляд на нее. И не ошибся, с какой-то новой тревогой она смотрела в окно.

— Параска идет... — промолвила, встретившись с ним глазами.

Он уловил нескрываемое сожаление в этих словах и в голосе ее. Оглянулся на окно. Параска была уже на дворе, рядом с крыльцом. У них с Ганной оставались теперь какие-то две-три минуты.

Это как бы дало знак Башлыкову, что медлить нельзя. Что все надо решать сейчас же. Иначе будет поздно.

Можно было, конечно, остановиться на том, что сказал. Но это самое простое. Вдруг, когда возникла опасность, он внезапно ощутил, что оставить все так, недоговоренным, невыясненным, нельзя. Что можно так оборвать все. Чувствуя потребность действовать незамедлительно, решительно, Башлыков торопливо заговорил:

— Слушай... Завтра... Как стемнеет... Выйди на дорогу. Ладно?

Может, это произнес не Башлыков, уважаемый человек, руководитель. Может, это вернулся тот горячий юный хлопец, каким он был когда-то. Такая молодая удаль, стремительность, безрассудство были в этом его порыве...

Она не ответила сразу. Все как будто не могла преодолеть чего-то, медлила. Потом молча кивнула.

Кивнула сдержанно, без радости.

Но кивнула. Согласилась.

Так вдруг случилось то, что сблизило их, связало одною тайной. Так Башлыков сделал шаг, который потом принес ему столько терзаний.

Параска сразу, как вошла, удивилась радостно:

— Вот кто, оказывается, в гостях у нас!

Башлыков сказал как мог спокойно, негромко:

— Да вот ехал мимо. Завернул...

— И хорошо! Давно уже не были! — Параска быстро сбросила пальто, развязала платок. И, шустряя, засуетилась, заверещала — играла перед гостем, артистка: — Мы уже думали, что минуете нарочно!

— Да нет, времени не было...

— Слыхали позавчера, были в Алешниках. Ездили в Курени. Проехали мимо!

— Рано ехали...

— Не отговаривайтесь! — упрекнула Параска весело, шутливо. — Ну, а коли все же заехали, то вина ваша убавляется. Может, мы и простим вас! Простим? Правда, Ганна?

Ганна сказала сдержанно:

— Надо простить, наверно...

Она стояла возле двери на кухню, затаенная, с чуть скрытой горькой улыбкой.

А Параска вошла уже в новую роль, роль хозяйки.

— Хоть редко, да метко! Вовремя приехали! В самое время! У нас борщ как раз поспел! Борщ такой! — Параска аж закрыла глаза.

Башлыков пробормотал:

— Я на минутку только... Тороплюсь...

— Такого борща нигде не будет!.. А к нему еще драники! — Параска заговорщицки подмигнула Ганне, призывая поддержать ее.

Ганна неуверенно откликнулась:

— Правда, пообедайте...

— Ну вот, — как бы обрадовалась поддержке Параска, — подкрепитесь на дорогу! Тогда и поедете! Веселей в пути будет!

Башлыков спокойно, твердо отказался:

— Спасибо за приглашение. Только я пообедал уже. В «Коммунаре».

— Что вы там обедали! — притихла, не тая укора, Параска. А может, нарочно сделала вид, что обижена несговорчивостью гостя.

Башлыков впервые покровительственно улыбнулся.

— Не подбивайте, Параскева Андреевна! — Без усмешки уже, со значением объяснил снова: — Я на минуту. Ехать надо. — Добавил веселее: — Подвезти могу.

— Нет, спасибо, — ответила сердито Параска.

Она не скрывала, что обиделась на Башлыкова.

Башлыков, настороженно внимательный, еще раньше перехватил ее озабоченный взгляд. Казалось, она разгадала все, что тут произошло. Но виду не показывает.

Он тут же, однако, успокоил себя: не знает и не догадывается ни о чем. Просто ему, Башлыкову, теперь кажется, что всем, все известно.

После того, что произошло между ним и Ганной, Башлыков чувствовал себя перед Параской крайне неловко. Но он как мог скрывал это

и, если глянуть со стороны, держался уверенно, уравновешенно, как и надлежало держаться такому уважаемому человеку.

Неудобно было, но надо держаться, как положено держаться.

— А вы?.. А вам не надо в Юровичи? — взглянул Башлыков, будто спокойно и равнодушно, на Ганну.

— Не... — В глазах ее мелькнуло беспокойство, почти страх.

Башлыков заметил, Ганна едва скрывала волнение. Стояла, сложив руки на груди, молча прислонившись к косяку двери. Прежде такая быстрая, легкая в движениях, она теперь хоть бы шелохнулась, застыла, неведомо чем прикованная. Внешняя ее холодность на редкость не соответствовала тому, что отражалось на ее лице, в глазах. Из глаз просто исходила, рвалась тревога. Слепой и тот, казалось, мог бы увидеть: сама не своя, что-тостряслось...

— Я пойду... — наконец повернулась, исчезла на кухне.

Башлыков, как и надлежало, задержался немного. Обязан был задержаться. Снял пальто, в котором все еще стоял, прошелся по комнате. Сказал несколько слов про то, где был эти два дня, что делал. Повел деловые расспросы о делах в Глинищах, о настроениях. Делал вид, что с озабоченностью и заинтересованностью слушает Параску. Потом заговорил о районных хлопотах, о том, какая опасная ситуация теперь в районе. После всего дал советы Параске относительно общественной ее работы. Говоря это, в своей обычной роли обрел наконец хоть на время какое-то равновесие, приглушил настороженность Параски.

Собравшись ехать, надев снова пальто, вышел к Ганне проститься. На Ганнином лице были прежние беспокойство, смятение. Рука, горячая, нервная, поспешно ответила на пожатие. Ганна не стала провожать. На двор, накинув жакетку, вышла одна Параска. Уже без прежней резвости, с обидой попрекнула его, что не остался обедать, просила не обходить их дом, заезжать. Он, поглощенный уже новыми делами, поблагодарил, пообещал, что будет наведываться. Если выпадет время.

Возок вынырнул из-за гумен; под скрип гужей неслышно поплыл в белое пустое поле. Сначала горел пережитым. Видел глаза ее, всю ее, не мог успокоиться: какая красивая! Просто черт знает что, ничего, кажется, подобного не видел! Как она тут выросла такая! В обыкновенной подслеповатой хатке! Чудо какое-то, и только! И красота, и достоинство! Ум какой светится! Удивился, как не разглядел этого в тот раз! Ослеп тогда от неудачи. Потом вспомнил, чувствуя, как в груди пламенеет: «К тебе приехал... Тебя увидеть хотел...» Слова эти, казалось, звучали в ушах. Особенно сильно, нетерпеливо: «Завтра... Как стемнеет... Выйди на

дорогу...» Припоминал, как она кивнула, и будто не верил счастью...

Чем дальше, тем больше в душу вползало другое. Желанное, доброе омрачала незваная, непрошенная досада. Вспоминал с неловкостью, как встретился, разговаривал с Параской. Как бы услышал упрек себе: скрывал, лгал! Лгал, и Параска это понимала. Понимала, он теперь видел отчетливо, ясно. От этого на душе было просто мерзко. Пришло недовольство вообще собою: не удержался на уровне, скатился. Безвольным оказался. Податлив, выходит, слабоват. Свое, личное не пресек. Ненужное, непростительное в такое время. Любви захотелось!..

Внезапно снова заговорил рассудок: не надо было заезжать. Не надо было встречаться. Рассудок этот повел дальше: а может, остановиться, отказаться? Конечно, отказаться. Сказать, что не имеет времени, занят. И покончить с тем.

Но рядом было: какая красивая! Ее беспокойный взгляд, чувство близости. «Завтра... Как стемнеет...» Ненужное, оно приятно теплело в груди, манило. Теснило сердце ожиданием.

«Остановиться. Остановиться надо...» — думал он.

3

Пока ехал домой, мысли Башлыкова путались.

Дома, в кабинете, где сразу обступили привычные неотложные заботы, то, что произошло в Глинищах, выглядело неожиданно совсем простым и далеким. Оно, правда, время от времени пробивалось сюда, в трудный мир района, в его руководящие обязанности, отрывало, сбивало с мысли, но Башлыков без особой трудности отгонял это.

Вечером, когда бесконечные заботы отошли и остался один, оно, то далекое, снова подобралось.

Странное дело: днем почти решил, что все, отступится, скажет, что нет времени, и кончит. А тут как и не бывало той твердости. Снова будто услышал: «Завтра... Как стемнеет...» Снова увидел, как она кивнула. Вспомнил, как радостно заблестели глаза, когда увидела его. Вспоминая все это, чувствовал: любит его. Такая красавица любит! Мало кто знал, что Башлыков был очень податлив на женскую красоту. И если добавить к этому известное многим, что Башлыков крайне самолюбив, то можно понять, как тешило теперь его сознание, что такой красоты женщина тянется к нему. Что завтра они будут вместе, одни.

Башлыков нервно заходил по комнате. Засунув руки в карманы галифе,

возбужденно, стремительно стал мерить шагами кабинет. Видел, казалось, ее рядом с собою, лицом к лицу. Слышал ее. Чувствовал себя совсем юным, сильным, удачливым.

Не сразу успокоился. Она поразила его не только красотой, но и неожиданным богатством души. Какой-то трепетной чуткостью. Целый мир угадывался в ней, манил, звал. И кто б мог подумать, пришло некстати: обыкновенная техничка. Он, правда, тут же осекся, зло упрекнул себя, что рассуждает, как «аристократ», как прирожденный дворянин. Дворянин из заливных гомельских барачков. Подумал с ядовитой насмешкой над собой, откуда это у него появилась такая мания величия! Напомнил себе: каждая кухарка должна научиться управлять государством. Добавил уверенно: эта так называемая уборщица сможет. Если только подучится.

Он думал о ней. Сокрушался, что так мало знает ее. Кто она? Почему в этой школе? Почему не с родителями? Свободная, незамужняя? Она не похожа на девушку. Видно, была замужем, видно, немало испытала. Вспомнил, как застенялась, испугался: а может, и теперь замужем?.. Нет, возразил себе сразу, если и была, то разошлись. Иначе не жила бы одна при школе. Своего угла нет. А если и был муж, то кто он? Почему разошлись? Или уехал куда? Множество вопросов вдруг возникло, и они так задели, что Башлыков остановился. Хотел все сразу же разузнать, выяснить. Он едва не подошел к столу, к телефону — вызвать кого надо, приказать уточнить. Вовремя спохватился — вызывать никого нельзя. Не только потому, что никто здесь такого не знает, а и потому, что так лучше, не выяснять. Нельзя допускать к этому никого.

Посетовал: мог бы выяснить там, были и повод и время. Вспомнил долгое молчание, из-за этого, осудил себя недовольно, многое и осталось недоговоренным. Злился на себя, что считанное время было потрачено так по-глупому. О чем бы он ни подумал, среди всего неотступно точила его виноватость, что отрекся от дневного решения отказаться, покончить, усиленно искал оправдания. Нельзя так. Надо присмотреться. Поговорить, выяснить все и тогда расстаться. Честно и достойно...

Он попытался со стороны взглянуть на себя и тут же осудил — хитроватый замысел прикрывал малодушие. Как бы там ни было, надо все называть своим именем. Что есть, то есть. Не можешь справиться с собою, со своим желанием. Непутевым желанием. Не в силах обуздать дурную кровь, что не вовремя разгулялась. Страсть разгорелась, женщина понадобилась. Баба. К этому злему чувству неудовлетворенности примешалась неловкость за себя, до чего же нелепо, наверно, выглядел перед нею. Как мальчишка. И снова взяла досада, как бездарно он лгал

Параске. Его охватила вдруг слабость, беспомощность: что ж это завязалось, что будет? Почти простонал: как он расстанется сам с такой красотой, с таким счастьем?

В мыслях никакого согласия. Запутавшись в них, он снова разозлился на себя, на все, не мог справиться с силами. Измученный, превозмог все же эти свои бесполезные сомнения. Стал вспоминать о поездке. Припомнил, как ходил по Куреням, по Мокути, разговоры, настроения. В душу вливалась злость, злость на людскую глупость, на слепое упорство. Снова увидел недобрые лица, среди них особенно врезались в память Вроде-Игнат и Евхим Глушак. Как будто повторился, ясно и унизительно, разговор с Гайлисом. Ничего не понимает, оппортунист слепой! Из-за таких вот, из-за либералов благодетелей и беда вся, прорыв в районе! На бюро, это правильно, единственно правильно. И непременно оргвыводы! Нужны надежные кадры! С такими и то, что есть, загубим.

Кадры — основа всему. Башлыков всегда придавал им особое значение. Он втайне был уверен в своем умении подбирать кадры из тех, что есть под рукой, использовать лучших для дела. Видел, идеальных, без изъянов, людей мало, и поэтому знал, как сложно выбрать то, что необходимо. Из требований, которые он выдвигал, наипервейшими были политические качества человека, его преданность делу. Тут ни на какие компромиссы он не шел. Политическая благонадежность — вот неперемное условие пригодности человека. Все другое приходилось воспитывать, руководствуясь сложной жизненной диалектикой. Тут-то и проявлялось то, что Башлыков считал своей заслугой.

Башлыков уже и сам не помнил, когда возникло в нем недовольство Гайлисом. Давно уже подмывала мысль о замене кем-нибудь этого упрямого недалекого человека, который назойливо гнет свою линию. Можно сказать, эта мысль вызрела окончательно на собрании в Глинищах. Тогда же, на незадачливом том собрании, привлекла внимание и личность Дубодела. Едучи из Алешников, Башлыков не зря посадил в свой возок его, решил приглядеться, проверить.

Расхаживая сейчас по своему кабинету, засунув руки в карманы галифе, Башлыков размышлял о Дубоделе не из простого любопытства, а с деловой озабоченностью, как о кадровом работнике. Мысли были не простые. Знал: Дубодел малокультурный, грубоватый. Пьет. Во всяком случае, пил. Был уже председателем сельсовета, провалили. А вместе с этим деловитость, знание местных людей. Анкетные данные что надо. Никаких заковык с родственниками. Прошлое чистое. Бывший красногвардеец. А главное, преданность какая и решимость. И энергия —

позавидовать можно. Этот цацкаться с кулачем не будет.

Пил, это безобразия. Об этом предупредить надо со всей строгостью. Предупредить, что за такое из партии гнать будем... Малокультурный и грубый — а где ты найдешь культурных, образованных? Мало их. Да и много ли среди тех культурных, образованных таких преданных, с такой решимостью! И это в обстановке, где необходимы твердые, железные! Способные крушить врага, рушить все, что на пути, что мешает. Этот твердый, этот кремень, борец. Вот главное. А недотягивает в чем-то — подымать надо. Растить надо, правильно наставлять! Хорошо руководить — все в этом!.. А если как следует подумать, он и политический руководитель, понимает немало. Есть политическое чутье. Теоретически не оформленное, а есть. Стихийное, но правильное. Лучше, чем у некоторых высохших над книгами грамотеев.

Так что главное выходило на пользу Дубоделу. Это успокаивало Башлыкова, создавало ощущение бесполезности прожитого дня, обнадеживающе связывало с будущими днями.

После того как Башлыков уехал и Параска вернулась, Ганна не знала, куда глаза деть.

Ощутила вдруг такую виноватость перед Параской, было так неловко перед нею, а жить-то им вместе надо. Подавать обед, сидеть напротив, обедая, так уж у них заведено. Сидеть с глазу на глаз после того, что произошло, и не выдать, что у тебя на душе.

Ганну угнетало: она стала неожиданно между Башлыковым и Параской. Вклинилась в их дружбу, а может, и любовь, оттеснила Параску, разрушила, считай, ее счастье. Отблагодарила, можно сказать, за все доброе, что Параска сделала для нее! Отблагодарила! Хуже не придумаешь: отбила! Пускай и не потому, что она, Ганна, решила это сделать, но как бы там ни было отбила! Влезла в чужое счастье, отобрала.

Да и то сказать, если хорошо подумать, приглядеться, не такая уже она и невиноватая. Не старалась, правда, особенно, но, чего таиться перед собой, хотела ж этого, завидовала Параске. Пусть не старалась, а как-то, наверно, подала знак, что рада была бы! И не остановила ж, не отрезала, когда случилось все! Так что и не такая уже невиноватая. Виноватая!

Особенно неловко было сидеть перед Параской потому, что хорошо знала: Параска, острая на глаз, сразу заметила, что они, Ганна и

Башлыков, затаились. Что между ними, значит, произошло что-то, недоброе для нее. Скверно на душе у Ганны было еще и потому, что хоть чувствовала себя неловко перед Параской, хоть понимала, что должна была рассказать обо всем, сама покаяться, но ни рассказать, ни покаяться не могла. Словно разом отняло и язык и совесть.

Если правду сказать, то молчание и сдержанность Ганны объяснялись не этими причинами, а тем, что она была еще очень возбуждена всем, что неожиданно свалилось на нее. Не могла еще привести в согласие свои чувства и мысли, разобраться в них.

Параска, притворщица, хлебала горячий борщ, ела драники с такой охотой, будто изголодалась неведомо как и будто в этом, в еде, наибольшая для нее радость. Она-таки, по совести говоря, любила поесть, знала толк в еде, но сегодня, видя, как она кидается на борщ, на драники, Ганна не верила ей. Казалось, что собирается она, вот-вот выберет момент и скажет. Нет, пообедала и хоть бы знак какой подала, как смотрит на случившееся.

Когда встала из-за стола, довольная, обтерла губы, похвалила:

— Вкусно поела!.. — Упрекнула себя весело: — Наелась на два дня!.. — Мельком, также весело заметила — Зря он не остался! Не пожалел бы!.. — Зажмурив глаза, потянулась, вдруг будто испугалась: — Ой, на сон что-то повело!.. — Зевнула, потом выпрямилась, недовольно покачала головой. — Нет, нет, спать некогда! Надо за тетради!..

С виду решительная, даже заносчивая, той твердой походкой, которой направлялась обычно в класс, на занятия, пошла в свою комнату. Шаги там почти сразу же затихли, чиркнула спичкой, подвинула гнутый, с фанерным сиденьем стул, на котором любила сидеть, и все стихло. Похоже было, что села-таки за стол проверять тетрадки.

Проверка тетрадок, знала Ганна, долгие хлопоты. Если только она будет взаправду читать, это надолго. Надолго или ненадолго взялась она за тетрадки, Ганна почувствовала облегчение. Можно наконец побыть одной, передохнуть.

Прибрала со стола, перемыла посуду, через коридор вышла в класс, стала прибираться там после дневных занятий. Делала все быстро, нетерпеливо, как бы хотела сбросить, сбить с души ту тревогу, что неотступно томила ее. Посреди класса вдруг кинула мокрую тряпку, которой мыла пол, с отчаянием села за парту, бессильно опустила руки на колени. «Завтра... Как стемнеет...» — било в виски.

Жарко стало. Задышалась будто. Аж поверить невозможно. Как сказка: «К тебе приехал... Завтра. Как стемнеет...» Мысли рвались в то завтра, на дорогу. Голова туманилась от этих дум. Радость заливала всю. Радость и

тревога. И радость, и тревога были сильные, гремели просто, казалось, на всю комнату. Первое время не могла совладать с ними, не могла думать ни о чем. Потом уж определилось тревожное: что это все значит? Что будет? Наконец совсем собралась, взглянула утомленно и, как бы отрезвев, присудила себе: «Ничего не будет. Ничего!»

Когда успокоилась, стала больше досаждать виноватость, которую чувствовала перед Параской. Какое-то время мысленно горячо доказывала не то себе, не то Параске, точно та стояла перед ней, объясняла, что не делала ничего для того, не старалась никак. Кончилось тем, что она решила: смело пойти к Параске, выложить все, как оно есть и как было, пусть знает. И пусть не думает чего не надо. Не думает пусть, что она, Ганна, такая, как ей, может, показалось.

Встала из-за парты, вытерла руки о фартук, приладила волосы. В коридоре, перед тем как открыть дверь, приостановилась, услышала тишину в Параскиной комнате. Не поверила тишине. Не проверяет, конечно, тетрадей своих. Не до проверки ей. Сидит, не иначе, и думает: кого пригрела?..

Уверенной рукой толкнула дверь, решительно шагнула. Знала, будет неприятный, тяжелый разговор, но готова была к нему. Выложит всю правду. Пусть не думает. Шагнула и удивилась, охватило разочарование: Параска склонилась над столом, читала. Глаза внимательно бегали по страницам, карандаш раз за разом поспешно делал пометки. Знакомый красный карандаш.

Не оглянулась даже на Ганну. Ганна видела, не прикидывается, вся в хлопотах. В тетрадках своих.

В такие минуты Ганна раньше выходила из комнаты. Теперь твердо подошла к столу, села рядом на табурет. Выложить все сразу, сбросить с себя.

— Параска, — промолвила строго, тоном приказа.

Та, не отрываясь от тетради, кивнула головой: подожди. Побежала глазами дальше по строкам, поставила быстро несколько значков.

Ганна разозлилась.

— Дак послушай ты!

— Подожди, потерпи!.. — снова крутнула головой. — Видишь же...

Только дочитав, поставив в конце последнее — оценку, подпись, подняла голову. Взглянула на диво добродушно, с улыбкой.

— Ну, что?

— А от что! — Ганна нарочито зло говорила. — Не знала ты, кого брала к себе!

— Ты чего это? — удивилась Параска. Удивилась, видела Ганна, искренне.

— А того! — Ганна бросила задиристо. Точно подбивала Параску на спор. С напором, со злостью произнесла: — Попрощайся со своим Башлыковым!

Параска ничего не поняла.

— Попрощаться... Зачем?

Ганну подмывало.

— А потому! — Резать, так резать сразу. — Отбила я его у тебя!

Параска, право же, все не могла понять как следует то, что ей говорили.

Может, подумалось Ганне, это оттого, что она сказала как бы с насмешкой над собой. Будто несерьезно.

— Когда ж ты управилась? — засмеялась Параска. — Вот и не подумала б!

В голосе Параски звучало восхищение. Словно хвалила Ганну.

— Ты не смейся. Свидание назначил, — сказала Ганна строго.

Как ни решительно настроена была, нехорошо ей стало. Лицо горело, сжимало дыхание. Виноватой перед Параской, навек виноватой считала себя.

— Свидание? — не поверила Параска.

— Свидание.

Параска наконец поняла все, перестала смеяться. Но огорчения своего не показала. Просто, спокойно произнесла:

— Что ж, поздравляю.

Было недолгое молчание.

— От кого ты приютила! — не выдержала Ганна. Параска долго смотрела на тетрадь. Неподвижно уже. Тихо, почти шепнула:

— Не думай об этом. Обо мне.

Надо было уйти — главное же сделала. Но не могла встать. Не сразу спросила:

— Что у вас было?

Параска все смотрела на тетрадь.

— Что было? — Неторопливо, твердо повторила: — Ничего не было.

— А говорили... Слыхала я...

— Раза три заехал. Весь и грех.

— А говорили... — В Ганнином голосе был упрек.

Параска подняла глаза, поборолла грусть. Пошутила даже:

— Гляди, чтоб про тебя говорить не стали...

Ганна видела, тоска поселилась в Параскиных глазах. Не отозвалась на шутку.

— Ни на что мне все это, — сказала твердо, открыто. — Да и не пара мы. Что дуб и лоза... Не дотянешься... Кеб и можно было...

— Ну, это ты глупости, — задумчиво возразила Параска. — Неизвестно, кому до кого тянуться.

— Сказала!

Параска молчала. Ганна добавил напоследок:

— Да и ни на что все это.

Когда Ганна поднялась, Параска сразу взяла следующую тетрадь, развернула ее, побежала глазами по строчкам.

А Ганна не могла успокоиться. Вернувшись в класс, попыталась снова мыть полы и не смогла. Бросила тряпку в ведро. Сидела за партой, ходила по комнате, потом вышла на крыльцо, на холодный ветер. Думала, что, может, на холоде поспокойнее будет.

Вечерело. Даль — болотный кустарник — окутал печальный полумрак. А ей наперекор всему радостно. Теперь, когда высказала Параске все, когда Параска как бы позволила, радость словно вырвалась на волю, окрепла. Забирала еще сильнее.

Она не вспоминала, она жила предчувствием необычного. Такого чудесного, что хоть сама видела и слышала, а просто не верилось. Как это могло случиться с ней, которой всегда не везло? Как могло свалиться на нее такое счастье? Как сказка.

Одно вырывалось из всего, колотилось, загоралось, пело: «К тебе приехал... тебя увидеть хотел... Завтра, как стемнеет... На дорогу... Завтра... Как стемнеет». Завтра. Завтра.

Нет, и теперь радость длилась недолго. Не такая сейчас уже Ганна, чтоб легко поверить в счастье, да еще такое. Какое и представить себе нельзя и какое так внезапно свалилось на нее. Внезапно и как бы не по праву.

Стояла в кофточке, без платка. Рукава были еще засучены. Ветер сжал всю. Сдерживая дрожь, нарочно подшучивала над собой: нашла счастье, дурная! Само в руки влетело! Держи крепче! Холодный ветер выдувал одурь из головы, думалось ясней. Трезво внушала себе: ничего не будет из всего этого. Пустое! Не пара ему! Уборщица!.. Не такую ему надо!

Параска — от кто ему пара!

«Пара не пара, а от выбрал! — запротестовало все ее существо, очень уж не хотелось разменивать радость. — Выбрал! Не Параску, а ее, Ганну, выбрал!» — «Выбрал! — подшутила она над той доверчивой дурочкой. —

Захотелось потешиться мужику. Подурачиться малость: молодая кровь! Посмотрел — одинокая, свободная!..» — «Одинокая, свободная, — сразу подхватила та, которой так хотелось счастья. — А Параска — не свободная?..» — «Свободная, да не такая, не простая. К этой так не подойдешь, не позовешь так сразу!..»

Учила себя уму-разуму, а не умнела, Не слушалась все же сама себя. Не доходили никак, не брали верх трезвые предостережения. Когда оглядывалась на случившееся, представляла и его, когда сказал «к тебе», «завтра», верила, не просто и у него. Не так себе сказал. Выбрал. Видела, не слепая. Понравилась.

Держался, правда, важно, пожалуй, даже слишком. Но это, видать, нарочно — гордость свою мужскую помнил. И начальственную гордость не забывал. Задаётся он чересчур, видать. Из-за гонора, не иначе, так упорно молчал, будто не смел подступить. И сказал всего несколько слов, и то не сразу и не как-нибудь. Удивилась, вспомнила с одобрением: деликатный какой, не дотронулся даже, не то что полез, приставал, как наши деревенские. Понятно, культура.

А может, оттого так — радостно хотелось этого, — что понравилась. Как ни сдерживала себя, боясь ошибиться, чувствовала: силу имеет над ним. И он знает это. Потому и был такой, не похожий на себя, тихий, застенчивый. Старался пересилить себя и не мог! Сказал: к тебе приехал! К тебе одной. Не иначе, как чудо, такой человек необыкновенный. Приметил, выбрал, захотел ее, именно ее. Такой сильный, такой серьезный, такой строгий.

Вернулась в класс, зажгла лампу. Заспешила. Потом бросила все, снова села, задумалась. Снова осуждала себя: не воображай, глупая, что праздник. Не будет у тебя ничего. Не пара!..

Не будет, и пусть не будет, нанизывалось еще одно. Может, ей и не надо ничего. Ей, может, и того довольно, что есть. И то праздник ей...

А вообще нечего ломать голову.

Глава вторая

1

Поздним вьюжным вечером, последним вечером двадцать девятого года возвращался Апейка из района домой. Ветер, не утихавший ни на миг, налетал то сбоку, то навстречу. Сбоку и навстречу гнал снег, кидал его на коней, на возок, в лицо Игнату. Крупы обеих лошадей были белые, в возке тоже полно снега, снег ложился на грудь, на плечи, забивался в глаза. Лошади то бежали, скользя по голому шляху, то грузли, тяжело выбирались из сугробов, которые то и дело перегораживали дорогу. В посвисте ветра, несколько не утихающего, доносилось тягучее, беспокойное гудение проводов.

Темно. В метели не видно было огней даже ближних деревень, да и столбы, что бежали вдоль дороги, в темноте едва различались мутными очертаниями. Видны были передок возка, крупы коней в мерном покачивании да хвосты, которые развевались от бега и ветра. Апейка чувствовал, что ноги мерзнут, засовывал их в сено, укрывал от ветра и снега лицо воротником. Как сквозь дрему, отмечал легкий бег с посвистом по санной колее, тяжелый скрип по голым прогалинам, неторопливое, мягкое движение в сугробах. Он дремал, дремота была такая, что видения сна, явь, бред, мысли мешались, путались так, что и не разобраться, что к чему. Он почти не спал несколько ночей, и, как только выбрались из села, сразу от непомерной усталости будто навалился на него сон. Но студёный ветер вскоре, хоть и не совсем, разогнал его. Апейка то дремал, то открывал глаза и видел поле, унылый кустарник, столбы, то снова закрывал глаза и чувствовал одно — снег, посвист ветра, под который рвано, сумбурно набегали мысли. В этой дремоте душе было то беспокойно, то хлопотно, то радостно. Несколько раз заолодевшими, непослушными пальцами доставал большие карманные часы, подносил их к самым глазам, вглядывался: не запоздал ли? Он выехал поздно — нельзя было раньше, да и надеялся, что дорога будет полегче, — а эта метель основательно задержала, и он боялся, что не управится. В темноте цифры на часах почти не различались, он скорее догадывался, чем видел, который час. Посматривал на часы иной раз и оттого, что сидеть неподвижно становилось мучительно, томил какой-то смутный, неопределённый, как и эта

мгла вокруг, непокой.

В голову лезло всякое, слышались голоса этих пяти беспокойных, почти бессонных суток, почти непрерывных собраний, разговоров, убеждений, споров. В дремоте ему вдруг ясно виделось какое-нибудь лицо, врывался чей-то голос, и он отвечал на какие-то вопросы, на которые тогда не находил ответа. Как всегда, в эти минуты, волнующие, горячие, приходили вдруг очень убедительные доводы, меткие ответы, которых он не находил тогда. И в дремоте его томило ощущение незавершенности тех разговоров-споров, стремление одолеть, доказать, убедить в своей тяжелой, по их понятиям, правде. И он шел, пробивался, доказывал, мысленно еще как бы продолжая то, чем жил все дни и ночи. Он мог бы быть доволен, не зря ночи не спал, в голове гудело, охрип: за пятеро суток еще около пятидесяти человек стали колхозниками, а точнее, сорок семь. Но почти всегда трезвая ясность заволакивала тучами радость: то, что он сделал, — капля в море. Почти ничего не изменила. Район намного отставал от плана коллективизации, который дан ему. И Апейка хорошо понимал, что никакого чуда не произойдет. Не будет его. Значит, району и дальше придется отставать, со всеми неприятными последствиями для его руководителей.

Его душу тревожили — и это было, может, самое горькое — недобрые настроения, которые он замечал и раньше, но в этот приезд почувствовал и ощутил особенно сильно. То, что он заметил еще осенью, росло и ширилось, грозило всему району, а может, и не только району. Все большим препятствием становились неуверенность людей в завтрашнем, недоверие к тому, что нес он, Апейка, и другие уполномоченные. Нетерпеливый нажим, несправедливые и грубые меры, которые все время не только не ослабляли, а зачастую словно подкрепляли заскорузлое, вековое мужицкое недоверие в то, что со стороны могут прийти с добрым, сделать доброе...

Неуверенные в завтрашнем, в каждом селе с непривычной для сельской расчетливости легкостью губили нажитое — резали овец, телят, коров. Апейка не с одним заговаривал об этом, не на одном сходе убеждал, требовал, и, видел, никакого толку. «Срочно надо принимать какие-то строгие меры... — подумал озабоченно и открыл глаза. Сквозь разгулявшуюся метель за однообразием бегущего вдоль дороги кустарника он разглядел несколько кустов чуть подальше, в поле. — Курган, — догадался Апейка, хотя самого кургана не было видно: выбеленный снегом, он сливался с белизной метели. — Скоро уже дома... Доплелись...» Полез было за часами, но передумал: все равно уже, опоздал или нет. Он как бы наяву увидел жену, сына, дочку, как вслушиваются они, не подъехал ли

возок, не скрипнули ли ворота. Чем выше взбегали лошади на взгорок, тем сильнее был ветер, который вольно и властно налетал из-за Припяти. Дорога пошла тут твердая, без сугробов, вылизанная ветром. Или оттого, что Игнат как бы ожил, или оттого, что кони почуяли близко дом, по взгорку возок помчал легче, рысцой. Блеснул — показалось, весело — огонек, и вот уже рядом совсем завиднелись и само окно, и темный силуэт хаты — одной, другой. Въехали в Юровичи. На спуске снова дорогу перехватывали сугробы, но тут это даже помогало — ловчее было спускаться с кручи. В прорези меж гор зажелтели уже несколько близких огоньков. Всего местечка не видать было — застилала метель.

Желтел огонек и в военкомате. Апейка задержал Игната, взбежал по заледенелому — даже трещит — крыльцу, на второй этаж. Поздоровавшись, поздравив с Новым годом заспанного дежурного, шумно вошел в свою комнату, зажег лампу. На столе было несколько писем, бумаг, листок со сводкой о ходе коллективизации в районе. Он посмотрел: двадцать девять и семь десятых процента. Написано рукой Зубрича, внизу его же аккуратная, степенная подпись.

Письма, бумаги. Отношения из Мозыря, на папиросной бумаге, под копирку, быстро просмотрел одно, другое. Вскрыл конверт, достал письмо. Читая, спохватился, откинул полу пальто, достал часы, еще не поздно. Можно успеть. Собрал бумаги, письма в папку. Взял телефонную трубку, крутанул ручку. Райкомовский дежурный ответил сразу. Башлыкова еще не было. Не вернулся. Уже собравшись идти, Апейка бросил взгляд на стопку газет, сложенных на краю стола. Заметил сразу на верхней: «И. Сталин. К вопросам аграрной политики в СССР». Забрал всю пачку, дунул в стекло лампы и бегом назад.

Едва сел в возок, Игнат дернул коней. Долетели домой мигом.

— Привяжи пока да в хату. Кажется, управился!..

Тут намерзлые ступеньки тоже скрипнули под ногами нетерпеливо, радостно. Стучать не надо было, двери будто сами открылись. В темных сенях обнял жену. В дом вошел, прижав к себе голову сына. Володя упрекнул:

— Еще немного, начали без тебя бы.

— Все-таки успел!

Стол застелен белой скатертью. Все готово к встрече. Ниночка, которая тоже не спала, сразу побежала к столу. Апейка поцеловал ее, быстро снял пальто, решил умыться. Когда вернулся, Игнат был уже в комнате и лампа горела ярко, празднично.

— Ну, чтоб этот год был не горше других. За счастье всех нас!.. —

Апейка по очереди протягивал всем свою чарку: и малым, которым налили красного морсу, и Вере, и Игнату.

Игнат держался за столом чинно. Повторив за Апейкой:

— За то, чтоб доброе не переводилось в этом доме, — он потом и пил и закусывал уже молча. И в дороге, и в селах он держался независимо, с достоинством, но как бы показывая всем, что знает грань между собой и председателем. Он и тут не смущался — да и чего было смущаться, свой, считай, давно в доме, — но и не допускал, хоть и повеселел от водки, какой-нибудь вольности. Хлебосольная Вера, подкладывая, следила, чтоб у него все время было что и выпить, и закусить. Он принимал это как должное, с обычной степенностью.

Игнат не спешил особенно, но вскоре так же чинно встал, поблагодарил. На Верино приглашение побыть еще сказал твердо:

— Не. Надо и про других не забывать. — Апейка догадался, «другие» — это лошади.

Апейка проводил его на крыльцо, минуту постоял под порывами холодного ветра. И снова окунулся в беззаботный, счастливый гомон и смех за столом. Веселой, безоблачной была эта ночь, эта встреча Нового года, который потом суждено было Апейке вспоминать и с неизменной гордостью, и — не однажды — с горькой обидой. Год, в котором суждено было познать и великие радости, и великие беды.

Тогда же, в ту ночь, всем им за столом было очень весело. Дети дурачились, хохотали, смеялись, влюбленно льнула к нему Вера. Молодо, хорошо было и Апейке. Веселье притихло ненадолго, только когда появилась жена Харчева, сдержанно и как-то виновато сказала:

— С Новым годом вас, соседусшки наши! Хай буде добро все!

И говорила, и кланялась она по-крестьянски. Во всем была деревенской женщиной: живя давно в «городе», она, Маруся, почти ничего не изменила в привычках. Даже сшитые в юровичской швейной мастерской кофта и юбка выглядели на ней как-то по-деревенски.

Вера радушно усадила ее за стол, налила рюмку. Выпили вместе.

— На Новый год совсем уже нехорошо одной. В другие дни дак ладно... А в Новый год просто сердце сжимается...

Апейка заметил, что она все время вслушивалась, не слышать ли чего на улице, на дворе. Не приехал ли муж. Добрая душа, Апейка знал, ей неловко было за своего мужа, за его разлад с ним, с Апейкой. Сердцем не могла согласиться с этим и относилась к семье Апейки дружелюбно, но с чувством виноватости, хотя побаивалась Харчева. Вот и теперь Апейка чувствовал ее доброту и скрытую опаску, что муж, если увидит, не

похвалит: «А все ж таки пришла...»

Ей не сиделось. Поговорив столько, сколько надо для приличия, она подалась домой. И вовремя — почти сразу подъехал Харчев. Он приехал не один, с какими-то знакомыми, за стеной стало сразу шумно: затопали сапоги, забасили низкие голоса. Апейка невольно прислушался к этим голосам, старался распознать, кто там, расслышал среди прочих напористый голос Дубодела. Друзья! Казалось, услышал свое имя. Вспомнили! Но не разобрал, что сказали, да и не хотелось разбирать: они веселые, и ему незачем портить веселье!

Позднее подскочил еще гость. Апейка прислушался к быстрым шагам, может, к нему. Нет, тоже к Харчевым. Вера собралась уже вести детей спать, когда на их крыльце послышались шаги. Кто-то вошел в сени. Апейка открыл, в комнату шагнул Башлыков, веселый, подвыпивший.

— Читал? — Он улыбнулся широко, по-пьяному простецки, как бы торжествуя.

— Что?

В глазах Башлыкова мелькнуло, правда, снисходительное пренебрежение.

— Отстаешь!.. Сейчас же возьми! Простудируй!.. — Уже подружески, страстно: — Вот человек! Вот разум! Не напрасно на самом гребне! Прочитаешь, и все ясно становится! На сто верст вперед видать. И вглубь на сто! Все ясно! Как дважды два!.. — Покровительственно, товарищески упрекнул: — Ну, чего стоишь!? Как встречаешь гостя! Наливай! Выпить надо!

Он звонко чокнулся, лихо опрокинул чарку. Весело, возбужденно прошелся, статный в своем полувоенном костюме, в хромовых сапогах, уверенный в шагу.

— Все ясно! Как дважды два! Все по полочкам разложил! Это сюда, это туда! Не зря на самом гребне! Самого Энгельса, брат, на место поставил!.. Сейчас же возьми!.. Ну, еще по одной! Раз такое дело!

Он ушел так же быстро, как появился.

Вера осталась в спальне с детьми, Апейка взял стопку газет, положил на стол, где еще были рюмки, новогоднее угощение. Сверху оказалась газета, в уголке которой в рамочке опубликовано письмо Сталина, которое он читал уже наспех, когда ехал в район. Письмо ему тогда понравилось

простотой, которая Апейку не удивила нисколько, ибо так соответствовала тому образу Сталина, который неизменно представлялся ему и который он всегда уважал. Сталин был для Апейки человеком и необычайного мужества, и необычайной твердости в нелегкие годы борьбы с троцкистами и бухаринцами. У него, у Сталина, величайшие заслуги перед партией, и та простота, с какой отмечали его пятидесятилетие, скромность, которой пронизано это письмо, еще более повышали у Апейки авторитет Сталина.

С этим уважением он стал заново перечитывать:

«Всем организациям и товарищам,
приславшим приветствия в связи с
50-летием т. Сталина...

Ваши поздравления и приветствия отношу на счет великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по образу своему и подобию. И именно потому, что отношу их на счет нашей славной ленинской партии, беру на себя смелость ответить вам большевистской благодарностью.

Можете не сомневаться, товарищи, что я готов и впредь отдать делу рабочего класса, делу пролетарской революции и мирового коммунизма все свои силы, все свои способности и, если понадобится, всю свою кровь, каплю за каплей.

С глубоким уважением И. Сталин.

21 декабря 1929 г.».

Апейка нашел ту статью Сталина, о которой сказал Башлыков. Это была речь на конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 года. С первых же строк речь заинтересовала Апейку: Сталин говорил о том, что наиболее волновало, — о колхозах, о колхозном движении. «...Колхозное движение превратилось из движения отдельных групп и прослоек трудящихся крестьян в движение миллионов и миллионов основных масс крестьянства... Но если мы имеем основание гордиться **практическими** успехами социалистического строительства, то нельзя то же самое сказать об успехах нашей **теоретической** работы в области экономики вообще, в области сельского хозяйства в особенности...» Многие из того, что сейчас читал Апейка, перекликалось с тем, о чем он думал, как бы подкрепляло его рассуждения, придавало его мыслям уверенность и стройность. Точность, логика, простота, с которыми Сталин разъяснял, раскрывал

самые сложные, противоречивые проблемы, вносили желанную ясность и четкость в мысли, какие не раз бередили Апейку. Он верил в разум Сталина, его успокаивали предельно точные сталинские ответы на самые трудные вопросы. Апейка просто впитывал в себя мысль за мыслью, суждение за суждением. Он охотно соглашался со всеми доводами, твердыми, обоснованными, которыми Сталин разбивал одну за другой буржуазные теории в крестьянском вопросе. Подвластный ровному, мощному течению сталинской логики, он готов был, кажется, доверчиво идти за ним до конца, когда вдруг наткнулся, как на подвернувшийся под ноги пень, на одну мысль. Мысль эта удивила, приковала внимание. Он еще толком не сообразил, как бы не веря, что не ошибся, перечитал эти внезапные строки другой раз. Нет, не ошибся, так и было написано: «...у нас нет... рабской приверженности крестьянина к клочку земли, которая имеется на Западе...»

Нет «рабской приверженности» к земле?.. Сталин объяснял это тем, что у нас нет частной собственности на землю. Он считал, что «это обстоятельство не может не облегчать перехода мелкокрестьянского хозяйства на рельсы колхозов». Более того, он говорил, что это дает колхозам возможность «так легко демонстрировать... свое **превосходство** перед **мелким** крестьянским хозяйством». Со странным чувством, с недоумением читал Апейка то, как Сталин объяснял, почему Энгельс в своей брошюре «Крестьянский вопрос» советовал быть осторожным и внимательным к крестьянину, ведя его на новую дорогу коллективной жизни. Это, может, было то, что обрадовало Башлыкова: «Самого Энгельса на место поставил!» Апейку снова взволновало великое проникновение, с которым писал о крестьянине Энгельс: «...мы будем делать все возможное, чтобы ему было сноснее жить, чтобы облегчить ему переход к товариществу...» Сталин не противоречил, соглашался как будто с Энгельсом, но вслед говорил такое, что можно было подумать: чуткость к крестьянину, о которой писал Энгельс, необходима вроде только там, на Западе. Где есть частная собственность на землю. «Можно ли сказать, что у нас, в СССР, имеется такое же положение? — спрашивал Сталин и тут же отвечал: — Нет, нельзя этого сказать. Нельзя, так как у нас нет частной собственности на землю, приковывающей крестьянина к его индивидуальному хозяйству. Нельзя, так как у нас имеется национализация земли, облегчающая дело перехода индивидуального крестьянина на рельсы коллективизма.

Вот где одна из причин той сравнительной легкости и быстроты, с какой у нас развивается в последнее время колхозное движение...» Тут

Апейка снова остановился, вернулся, перечитал фразу. Сталин считал, что колхозное движение растет сравнительно легко! Легко!

Нетерпеливая заинтересованность повела Апейку дальше, но следил он за речью Сталина уже с настороженностью. Согласился, что и в колхозах останутся еще элементы классовой борьбы, что и там могут быть пережитки индивидуалистической или даже кулацкой психологии, некоторая неровность в материальном отношении. Вдруг встретил ленинскую мысль, душа приняла ее охотно, обрадованно: в словах Ленина было подтверждение тому, что родилось в бесчисленных встречах с людьми и что вместе с тем как бы противоречило взглядам некоторых излишне быстрых, «принципиальных» деятелей. Апейка торопливо отыскал карандаш в пиджаке, аккуратно, довольный, отчеркнул сбоку. Перечитал, стараясь запомнить слово в слово: «Дело переработки мелкого земледельца, переработки всей его психологии и навыков есть дело, требующее поколений». «Поколений», — повторил он про себя, как бы обращаясь к Башлыкову.

Башлыкова, возможно, больше всего обрадовал раздел, где Сталин говорил, что партия от политики ограничения кулачества перешла к ликвидации его, как *класса*. Сталин убедительно доказывал, почему правильной была в свое время политика *ограничения* кулачества. Заявил, что теперь имеется экономическая основа для того, чтобы заменить кулацкое производство колхозным и совхозным. «Ну, а как быть с политикой раскулачивания, — ловил Апейка с острым вниманием, — можно ли допустить раскулачивание в районах сплошной коллективизации? — спрашивают с разных сторон». Сталин решительно ответил: «Смешной вопрос! Раскулачивания нельзя было допускать, пока мы стояли на точке зрения ограничения эксплуататорских тенденций кулачества, пока мы не имели возможности перейти в решительное наступление против кулачества, пока у нас не было возможности заменить кулацкое производство производством колхозов и совхозов... А теперь? Теперь — другое дело. Теперь мы имеем возможность повести решительное наступление на кулачество, сломить его сопротивление, ликвидировать его, как класс, и заменить его производство производством колхозов и совхозов».

Как заноза, впилося в память — первыми словами ответа Сталина было: «Смешной вопрос!» Что в этом было смешного? Далее Сталин почти повторил это выражение: «Смешно и несерьезно распространяться теперь о раскулачивании. Снявши голову, по волосам не плачут». Нечто странное почувствовал Апейка в этом новом «смешно». «Не менее смешным, —

повторил снова Сталин, — кажется другой вопрос: можно ли пустить кулака в колхоз. Конечно, нельзя его пускать в колхоз. Нельзя, так как он является заклятым врагом колхозного движения...»

Дочитав, Апейка с минуту сидел тихо. Потом прикурил над стеклом лампы, стал ходить по комнате. Хмеля в голове как не бывало, усталости тоже. Одно за другим вспоминал он положения из статьи, твердые, убедительные доводы. То, что еще недавно казалось смутным и вызывало сложные раздумья, сомнения, стало неожиданно простым, ясным. Было такое чувство, будто после блуждания и поисков в тумане выбрался вдруг на простор, где все вокруг лежало открытое глазам, с полями и лесами, с дорогами и стежками. Человеку всегда хочется простоты, ясности. У Апейки же в этот вечер совсем не было склонности такой, чтоб оценивать, замечать что-то, перепроверять в статье. Для него это была прежде всего речь руководителя партии, разъяснение ближайшей задачи всех войск, в каких он, Апейка, был, может, только отделенным командиром. Кем бы он ни был, задача эта касалась его, и он впервые с беспокойством думал о том, на что она направляла внимание, какую ставила цель, чего требовала от него.

При всем доверии к Сталину, пристально, с полешукской введливостью вчитываясь в статью, Апейка вскоре снова запнулся, задумался. Вопреки тому, что писал Сталин, запало сомнение, а так ли просто колхозам — со своими лошаденками да дедовскими плужками — доказывать преимущество над единоличными хозяйствами. Стоит только, получалось по статье, просто сойтись вместе — и снизойдет чудодейственная сила: можно и пахать, и сеять на диво, показывать чудеса и с теми лошаденками да плужками.

Он закурил, постоял возле окна. На свету за окном кружил снег. Пурга все мела. Подумал: «Заметет все дороги, черт знает как добираться будешь... Самое время, чтоб дорога была, а ее замечает, как нарочно...» Он вспомнил Загалье, последнее собрание, неоконченное из-за этой вьюжной новогодней ночи, почувствовал необходимость ехать назад, привести дело к согласию. Старый год ушел, а заботы не уходили, сразу же, без какой-либо задержки переваливали в новый. Тут же Апейка подумал, что при всем этом новый год будет не совсем продолжением старого. «Та же дорога, но подъем другой. Другая круча начинается...»

Мело, било снегом по стеклу. В голову снова пришло, удивило: «Легко!.. Сравнительно легко и быстро!..» Он подумал о своих почти непрерывных поездках по селам, о бесконечных, затяжных собраниях. Подумал о том настойчивом несогласии, что было в Глинищах, когда пытались снова организовать колхоз. «Сравнительно легко!» Почему «сравнительно легко»? Мысль сразу подсказала: легко в других местах; но трезвый рассудок возразил: законы крестьянской психологии одни везде...

«У нас нет рабской приверженности к клочку земли...» — вспомнились ему слова Сталина. «На Западе есть, а у нас нет... Ибо у нас нет частной собственности на землю...» Опять удивление: нет привязанности к земле? Рабской привязанности?.. Почему нет?! Не только придирчивый ум — душа восстала: «Есть! В том-то и беда, что есть!.. Формально, может, нет, а фактически есть!.. Тот клочок земли крестьянину — свой! Не чей-нибудь, а *его, свой!* Он землю, это правда, не покупал, но дала ж ему ее революция! Дала, а он взял, с радостью взял, как справедливый дар, и стал считать своей! И она, клочок тот, стала его наидорожайшим приобретением, его собственностью, его — не чем иным — *частной* собственностью! И он любит ее как неведомо что, привязан к ней, как хозяин ее и *раб* ее, *по-рабски* привязан! У него *есть* рабская привязанность! *Есть!* В том вся и беда!.. И привязан он, верно, не меньше, чем тот крестьянин на Западе! Тот купил, а этот за „клочок земли“ жег помещиков, гнал пилсудчиков, деникинцев; как единственную свою надежду на жизнь спасал советскую власть. Он не купил, он завоевал ее, земельку свою, штыком, огнем, кровью! Разве ж меньшей ценою?! Или же случайно первые советские декреты были о мире, о земле? Самое дорогое, к чему стремились люди из века в век, от дедов и прадедов, в этих декретах: мир и земля! Советская власть провозгласила их и сразу завоевала мужицкие сердца миллионов. Не надо думать по-иному: почти каждый из тех, кто сменил свитку на шинель, видел больше не землю вообще, а землю за своим селом, свой клочок земли!.. И вот если сравнивать крестьянина у нас и на Западе, то надо ли забывать, что наш получил свой клочок земли только какой-то десяток лет! Можно сказать, минуту назад! Можно сказать, не утолил еще желания своего! И как оно выходит, если посмотреть со стороны, оттуда: эта самая советская власть, которая минуту назад дала ему землю, сегодня в нашем лице приходит и уговаривает его отказаться от своего клочка, поделиться им с другими. Приходит — докажи, что не так — отобрать ее! „Вчера дали, а сегодня — отбирают! Это ваша справедливость?! Обманули!!!“»

Нет, совет Энгельса — быть чутким к крестьянину, чтоб помочь легче

выйти ему на новую дорогу, — не лишний у нас. Не лишний. Может, у нас он еще более важен...

Апейка подумал: почему Сталин сказал, что у нас «сравнительно легко»? Ему, который верил Сталину, верил в великий опыт Сталина, в его разум, не приходило даже в голову, что тот мог это сказать потому, что не представлял хорошо крестьянина, всего того сложного, противоречивого, что стояло на колхозном пути. Самому Апейке, обыкновенному, рядовому великой армии, все это казалось таким ясным, простым для понимания, что даже на миг не мыслилось: Сталин мало знает крестьянина. Как Сталин мог не знать самого важного и самого простого, самого ясного каждому, кто видел близко мужика. Естественно, пришла мысль: Сталин сказал это из особых, тактических соображений...

Уже раздевшись, слушая протяжный свист ветра, глядя в темноту, Апейка как бы услышал снова: «Смешной вопрос!» Почему смешной, если он такой важный? Если это перед такой великой и тяжелой битвой!.. «Смешно и несерьезно!.. Снявши голову, по волосам не плачут!.. Несерьезно!» — как бы звучало в ушах.

Мысли путались, в голове звенело. Он чувствовал неодолимую усталость, которая вдруг навалилась на него, обессилила. Мерещилась метельная ночь, дорога в сугробах, мерное поколыхивание конских крупов, клубы пара. Услышал унылый гул проводов. «Смешно и несерьезно...» — пробивалось еще, и, чтобы отогнать, он приказал себе: «Спать, спать!.. Наконец выспаться...»

Дорога бежала мягче, быстрее.

Глава третья

1

Начинало светать, когда Башлыков проснулся. Он заметил, в окнах светло, и сразу потянулся к часам. Было без десяти девять. Позор! Давно так долго не валялся в постели.

Он откинул одеяло, вскочил. Торопливо натянул галифе, надел сапоги, сорвал с крючка, накинул на шею полотенце. В майке пошел к умывальнику.

Умывальник — железный бачок — висел на стене около дверей в боковушке при кухне. Рядом с умывальником была печь, покосившаяся, побеленная, похожая на другие печи в местечках и в деревнях. У печи хлопотала Циля. Башлыков поздоровался с нею и низко нагнулся над эмалевым тазиком, что стоял под бачком на табуретке.

Циля отклонилась от печи, вытерла по деревенской привычке рукою лицо, ответила на приветствие радостно, с праздничной торжественностью:

— С Новым годом вас!

— А! Спасибо, Циля Савуловна! С Новым и вас!

Вода в бачке была тепловатая. Смыв мыло с рук, Башлыков вышел в сени, большим медным ковшом наносил из ведра холодной. Налил полный бачок. С наслаждением обливал руки, шею, лицо, едва удерживаясь, чтоб не закричать.

Когда сильными и быстрыми движениями вытерся и направился назад в свою комнату, поймал себя на том, что напевал какой-то задорный мотивчик. Готов был запеть, хотя вообще петь не любил и не умел. В душе росла непонятная, мальчишеская радость.

Только хотел открыть дверь в свою комнату, как кто-то мелькнул перед окнами, в сенях брякнул засов. В тот же миг из сеней ворвался раскрасневшийся, в пальто нараспашку Лева.

Лева тоже был в приподнятом настроении. Оттого ли, что удалось что-то ему, оттого ли, что просто пробежал по морозу, молодая кровь заиграла, Лева был переполнен энергией. Наверно, замельтешил бы по комнате, заспорил с матерью, но сразу угодил на уважаемого их квартиранта. И, хоть секретарь райкома был без гимнастерки и улыбнулся в ответ также озорно, Лева сразу опомнился. Мигом стал степенным и рассудительным Левой,

каким его Башлыков знал обычно.

— Добрый день, Алексей Иванович! — приветливо поздоровался, снял пальто и повесил на крючок.

Циля была уже возле двери из кухни, с усмешкой, за которой скрывалась нежность, глядела на сына. С другой стороны, у окна на улицу, в жилетке и расстегнутой сорочке с грустью следил за ним старый Савул.

— Собрал? — спросила Циля. — Со всех собрал налог?

— Собрал, — ответил Лева горделиво. — Не налог, а золу.

— Так зола эта и есть твой налог.

— Зола — это зола! — отрезал, не позволяя шуток, Лева.

— Так ты же собираешь ее по хатам, как налог, — сказала Циля явно с оглядкой на Башлыкова. — Наши женщины смеялись, говорили: дети собирают золу под налог.

— Незачем слушать пустую болтовню, — резко отрубил Лева.

Башлыков знал, о чем идет речь: Левины комсомольцы взяли соборать для подшефного колхоза «Рассвет» тридцать пудов золы. С этой целью хлопцы обошли много домов в местечке, объяснили, что зола — полезное удобрение, и добились — ее будут собирать и отдавать им. Изо дня в день комсомольцы обходили дома, собирали золу. Вот и сегодня Лева вернулся как раз с такого обхода.

Башлыков понимал, что хозяйка затеяла этот разговор, чтобы повеселить его, но не считал нужным смеяться над тем, что делали эти хлопцы. Рискуя, что его посчитают неблагодарным и нетактичным, твердо стал на сторону Левы, похвалил полезное начинание.

Он вернулся в свою комнату. Надевая гимнастерку, затягивая ремень, думал о комсомольцах-школьниках, немало доброго сделали они: металлолом собрали, библиотечки подарили колхозам, со спектаклями ездят. Из собранного лома сковали несколько плугов, передали колхозникам. Но мысли эти были недолгими и волновали мало. Будоражило другое. Будоражила радость, которая просто заливала его. Он поймал себя на том, что радость эта совсем не беспричинная, что его ждет что-то хорошее и важное. И сразу разгадал причину этой радости: Сталин, его выступление! Газета с выступлением в кабинете, ждет!

Вслед, а может, одновременно, удивительно переплетаясь с мыслью о выступлении, вошло в душу: был в школе, договорился! Сегодня, как стемнеет, увидимся!.. Это волновало и томило нетерпением. Сегодня, как стемнеет!

От возбуждения он заходил беспокойно и быстро. Сердце билось от предчувствия чего-то необыкновенного так гулко, так молодо, что упрекнул

вдруг себя: как мальчишка!

Вместе с волнением наплыли воспоминания, будто заново увидел ее перед собой, снова потрясла ее красота. И где выросла?! Сколько достоинства! Вспомнил: нелегко было сказать ему, но сказал, условился! Сделал то, чего так хотелось!

Но, когда думал о ней, точило что-то тяжелое. Вспомнил Параску. Как неловко было тогда ему. Как пришлось, если смотреть правде в глаза, обмануть ее. Но возразил себе: не обманывал, просто нельзя было иначе. Не имел он права, коли на то пошло, выдавать их тайну без ее согласия, тайну любви своей. Однако недовольство собой уже не покидало. Недотепой выглядел в ее глазах. Не поговорил как следует. Мало знает о ней. Почти ничего не знает.

Но что ж расстраиваться теперь попусту. Каждый час дорог. Надо на работу. Энергичным движением взял пальто, надел. С шапкой в руке вышел в соседнюю комнату, направляясь на улицу.

— На работу? — попался ему старый Савул.

— На работу.

В голосе старого было то ли удивление, то ли упрек. Савул внимательно глядел из-под очков. Будто тревожило что-то и сам не мог понять, что.

— Сегодня Новый год, — сказал он значительно. И умолк, глядя испытующе из-под очков.

Башлыков не понял, что от него требуется.

— Да, Новый год...

Старик кивнул. Помолчал, как бы давая понять значительность сказанного. Из кухни появился, что-то дожевывая, Лева, зыркнул настороженно на деда. Но не сказал ничего.

— Раньше после Нового года, — проговорил Савул, — был праздник. Или, как теперь говорят, выходной. Сейчас этот порядок отменяется?

Башлыков улыбнулся. Снисходительно. Старый настроен философски. Ответил с чувством превосходства:

— Раньше много чего было.

— Много разных предрассудков! — подтвердил уверенно Лева.

Дед бросил на него презрительный взгляд, приказывая молчать, не влезать в разговор старших. Смотрел только на Башлыкова. Остро, строго.

— Елку на Новый год, например, вы считаете пережитком? — Дед произнес «пережитком» подчеркнуто ехидно.

— Пережитком, — усмехнулся Башлыков.

Старый не отступал. По знакомой уже Башлыкову привычке выяснял

все до конца.

— Новый год без елки — разве это праздник?

— У нас Новый год пройдет в труде.

— Труд — это наш праздник! — влез снова Лева.

Дед снова свысока взглянул на внука. Помолчал сосредоточенно.

— Значит, выходного дня на Новый год не будет?

— Работать будем!

Дед уловил нетерпеливость Башлыкова, замолчал. Учтиво поблагодарил, поклонился.

Башлыков двинулся в сени.

2

На дворе глаза ослепило белым мелькающим мерцанием, вдохнул свежий холодок.

Мело, крутило. Солнце настойчиво пробивалось сквозь белую суету.

«Выходной день!» Какой тут может быть выходной! И что такое вообще выходной! Забыл уже, что это такое! Никаких выходных давно нет. Потому и забыл, можно сказать.

Давно не было выходных. И сам не отдыхал, и людям не давал.

Раньше не до того было, теперь тем более. Некогда расслаживаться. Не время! Ощущал в ногах, во всем теле молодую нетерпеливую силу. Сапоги твердо ступали по мягкой розоватой белизне.

Сам хорошо понимал, в чем дело. Сталин, его выступление. Память об этом все время пробивалась. Как солнце в снежной кутерьме.

Шел легко и молодо. С юношеской задиристостью поглядывал на улицу, на дома, на людей. Почерневшие деревянные строения и облезлые кирпичные хмуро и сонливо дремали по сторонам. У дверей и витрин магазинов всюду завалы. Людей почти не видать. Да и те медлительны, словно тоже сонные. Покой и тишина в местечке.

Дремлите, дремлите! Скоро проснетесь! Разворошим ваши берлоги замшелые! Новый год этот будет действительно новым! Увидите!

Только разделся, присел к столу — Лиза тут как тут. Сразу поняла настроение секретаря райкома. Моментально появилась тарелка с хлебом, тарелка с рагу и пюре, стакан чаю. Ел молча, сосредоточенно и быстро, незаметно для себя по давней привычке налегал на хлеб. Аппетит сегодня был отменный. Башлыков все уничтожил со вкусом.

Был озабочен, спешил, а память снова воскрешала школу, ее, разговор

с нею. «К тебе приехал...» Сегодня, как стемнеет...

Снова было крыльцо, сонливая тишина и снежная суетня. Уверенный, радостно возбужденный человек твердо шагал по улице к райкому.

На дворе виднелись следы, припорошенные снегом и совсем свежие. В коридоре пахло теплом жилья, знакомой надежной жизнью. Впотьмах он привычно направился к двери приемной. Миша, что склонился над какой-то бумагой, сразу вскочил. Вскочил, разумеется, с готовностью исполнить все.

— Добрый день, Алексей Иванович! С Новым годом вас! — сказал, будто подарок поднес.

Башлыков тоже поздравил приветливо, сдержанно.

Френч, галифе Мишины были помяты, но складная фигура его выдавала человека энергичного. От внимательного взгляда Башлыкова не ускользнуло: Мишино лицо, сероватое, утомленное, говорило — спал Миша мало. Погулял, видно, в честь Нового года.

— Погоди. Потом, — остановил Башлыков Мишу, что вошел за ним с папкою, показал рукой подождать в приемной.

Как всегда собранный, подтянутый, через несколько минут Башлыков вышел из кабинета. Из каждой комнаты доносилось искреннее, взволнованное: «С Новым годом!» Короткое пожелание и крепкое, дружеское рукопожатие.

На поздравление и пожелания откликались охотно, радостно, особенно женщины. Чувствовалось, что все жили с ощущением Нового года. У каждого были свои надежды, и надежды радостные. Всякий раз, когда поздравлял, пожимал руку, возникало чувство особого товарищества, единства, которое трогало и самого. Очень хорошо это, человечно — оказал внимание, проявил такт в таком будто незначительном деле.

Правда, бросилось в глаза: люди жили словно не на земле, витали где-то в праздничных мечтаниях. Похоже, что никто не работал по-настоящему. Не было рабочей собранности. Это не понравилось: не ко времени беззаботность, размагниченность.

Утешало, успокаивало, что двое — второй секретарь Сташевский и заведующий отделом кадров Сагойдак — в районе, Коржицкий тоже собирался ехать. Помчал только что, с утра, в район и Кудрявец. Это подтверждало, что люди из райкома и в этот день с народом. Что и сегодня что-то делается для великого дела, которому так необходимы темпы и которому этих темпов не хватает.

— Сводку, — попросил он, вернувшись снова в приемную.

Миша ответил: сводка на столе. В голосе было удивление: как это он,

Башлыков, мог подумать, что Миша станет ждать, когда ему прикажут принести ее? Может, еще начнет готовить после того, как напомнят? Будто Миша не знает, что требуется в первую очередь.

Башлыков подошел к столу. Действительно, на самой середине белел лист. Башлыков нетерпеливо схватил его. Рост есть. Цифры снова пошли в гору. Но какой ничтожный рост. За неделю пятьдесят пять хозяйств. Меньше процента от общего количества дворов. За целую неделю. Черепашьи темпы.

Вошел Миша. Башлыков поднял глаза: что еще? Миша сказал: надо подписать. Значит, подписать, послать в окружном. Расписаться в своем отставании. В неумении повести народ за собой. Мимоходом удивился: Миша некстати был весел, беззаботен. Но не сказал ничего, промолчал.

Когда протянул подписанную сводку, увидел, Миша по-прежнему посмеивался. С каким-то, должно быть, намеком. Фамильярно.

Миша засмеялся дружески, заговорщицки.

— Соня вчера про вас сказала, — пояснил он. — Гляди, говорит про вас, вот пример тебе!.. Она считает, что я, как она выражается, за каждой юбкой готов погнаться! Что я только и думаю про их юбки...

Башлыкова не очень устраивал такой разговор и совсем не понравилось Мишино панибратство, но стерпел. Помнил, что Новый год и это обязывает к чему-то.

Миша еще осмелел.

— Алексей Иванович, можно по секрету? — Он чуть не подмигнул. Поведал как тайну, как другу: — Девчата все просто восхищены вами. И дивятся!..

— Чего это? — нахмурился Башлыков.

— Дивятся, что молодой вы, красивый, а никого из них не замечаете! Они глядят на вас, а вы хоть бы одним глазком! Саша, Соня, Маруся, Сара — все дивятся!

— Скажи, пусть не дивятся.

— Я понимаю, положение ваше, — сказал Миша умудренно. — Положение, оно и есть положение. Каждый шаг видит все местечко, весь район! Могут высмотреть то, чего и не было! Надо помнить о каждом шаге. Но и так нельзя. Что за молодость без любви!

Башлыков прервал его:

— Миша, сводку надо послать сейчас же.

Миша глянул и все понял. Лицо и осанка его мгновенно изменились.

— Есть, — отрапортовал он. Ясно было, разговор на эту тему излишен. Глаза и весь Миша ожидали распоряжений. Но больше их не

последовало. И Миша исчез за дверями.

Оставшись один, Башлыков подумал, что в чем-то неправильно повел себя с Мишей. Конечно, работник он неплохой. На своем месте. Но панибратство ни к чему. Надо гнать такое панибратство. Преподать урок надлежащий.

«Завелся ночью и никак не может перестроиться на рабочий лад...» — пронеслось в мыслях. Но больше волновало другое. И упоминание о том, что девочки дивятся, и слова Миши о его положении. «Каждый шаг все местечко видит...»

Снова ворвалось — школа в Глинищах и облик той. «К тебе приехал». Сегодня, как стемнеет...

3

Он заставил себя успокоиться. На столе лежали другие сводки — из сельсоветов, из райзо, был пакет из окружкома. Прочитал все быстро, протянул руку к «Правде», что лежала рядом на столе. Здесь он оставил ее вчера с намерением вернуться, перечитать. Перечитать на свежую голову, углубиться, вдуматься. Выяснить все. Вчера он был для этого слишком возбужден.

Он читал. Рука его нашла карандаш. Важные мысли он имел привычку подчеркивать.

Читал уже не так быстро, как вчера. Это было совсем не то, что вчера, горячее, лихорадочное чтение, когда он нетерпеливо забегал глазами вперед: а что дальше, а как там? Ему сегодня важно было вникнуть глубже, выяснить все. Взглянуть трезво.

Сегодня он читал не торопясь, медленно. Раз за разом даже возвращался назад, когда отмечал особо важную мысль. Читал, можно сказать, более трезво и рассудительно. Однако и это, сегодняшнее чтение не было абсолютно спокойным.

Потрясло Башлыкова, как и вчера, прежде всего то, что Сталин отвечал на самые острые, жгучие вопросы. Хоть Сталин в своем выступлении, как он сам сказал, высвечивал теоретические основы положения в деревне, для Башлыкова все, что он читал, имело прежде всего значение практическое. В сталинском выступлении он, во-первых, искал ответ на то, что тревожило и мучило. Читая, Башлыков почти все время чувствовал рядом Апейку, чтение это было как будто продолжением того спора, который они фактически непрерывно вели. Похоже было на то, что Сталин вмешивался

в их спор, высказывал свое мнение.

В выступлении Сталина Башлыков искал поддержку себе. Он, естественно, не сомневался, что его взгляды во всем совпадают со сталинскими, что это его, Башлыкова, взгляды во всем большевистские. Он был уверен, что не мог ни в чем ошибиться, что не могло чутье обмануть его. И с наслаждением находил все новые доказательства правильности своих суждений. Как и вчера, в поддержку себе перечитывал слова Сталина об отношении крестьян к земле на Западе и у нас. И Апейка, и Гайлис никак не могли втолковать себе, понять простую истину, что земля у нас не частная собственность, что никому не дано право ее присваивать. Башлыков в мыслях переносился в Курени, на глинищанский сход, с возмущением вспоминал голоса-угрозы: «Не дадим», «Не согласны». Какое право имели они не отдавать землю, которая принадлежит не им, а народу, государству. Он пожалел, что тогда, на собрании, в деревне, сам не додумался, не сказал этого.

Отсюда вытекало другое важное, что Башлыков прочитал в речи. Он, Башлыков, не ошибся, увидев опасный ход в Апейкиных поучениях о «психологии» и некоем индивидуальном подходе к крестьянину. Вот тут, где Сталин вспоминает про Энгельса и про нас, он же фактически высмеивает «мудрых подходчиков». Фактически строго осуждает оппортунизм, миндальничество, спекуляцию на «чуткости»! По существу, судить надо Апеек и Гайлисов.

Снова, как и вчера, его особенно волновала и радовала та часть выступления Сталина, где он объявлял о переходе от политики ограничения кулачества к раскулачиванию. Башлыков еще вчера сразу отметил этот факт как факт необычайный, в полном смысле исторический. Сегодня трезвый его, пронизательный ум еще сильнее осознал все значение этого, одного из самых решительных шагов в революции на селе. Здесь, видел Башлыков, Сталин особенно крепко бил по остороженьким тихоходам типа Апейки, с особой смелостью звал вперед. Башлыкова просто захватила твердость и решительность Сталина.

На память, между прочим, невольно приходили глинищанское собрание, разговоры в Куренях, и в душу вселялось предчувствие близких великих событий, решительных действий. Он всей душой жаждал этих решительных действий. Так и надо! Довольно слов, осторожности, миндальничания!

Башлыков с удовлетворением одобрил, что вопрос: можно ли допустить раскулачивание, — смешной. Такой вопрос могут ставить только недотепы-бухаринцы или подобные им недобитки. Такого вопроса нет и

быть не может у настоящего большевика! Башлыков снова засмеялся, когда прочитал: «Снявши голову, по волосам не плачут!» Очень понравилось Башлыкову это умение Сталина в нужный момент стегануть словцом, поговоркой. Тут оно казалось особенно удачным.

Так, «по волосам не плачут»! Вообще, плакать нам не для чего! Нам если что, то радоваться! Боремся решительно! Даем последний бой кулачеству! Твердость, напористость Сталина словно передавались Башлыкову, полнили его уверенностью, стремлением идти вперед, сделать все, что требуется, хоть сейчас готов был сделать все, что потребуют законы классовой борьбы, для победы над последним затаенным врагом. Непреклонно, беспощадно.

Дочитав, встал, энергично зашагал. Снова, как и вчера, почувствовал, что спала с души скверная тяжесть. Было чувство радостного облегчения. Пока читал, будто становился сильнее.

Вышагивая по комнате, посмотрел на портрет. Сталин, стоя во весь рост, словно вглядывался в будущее. Башлыков невольно остановился. Смотрел минуту с признательностью, уважением. Подумал: какое умение видеть глубоко и учить нас видеть! Так ясно видеть может только один он.

Все было зримым. Ясным и простым. Ясным было положение. Ясными задачи.

«Как дважды два!» — вспомнил Башлыков слова, которые вырвались у него вчера. Удачно сказал: действительно после речи все как дважды два! Все видно.

Походив, вернулся снова к столу, склонился над газетой. Но читал уже не все подряд — отдельные строки. Хотел запомнить наиболее важные, острые выражения дословно. Для будущих своих выступлений.

Запомнить самое важное дословно — в этом была особая заслуга прочтения.

Снова ходил, думал. О том, что сказал Сталин. О том, как выглядит положение района, его деятельность в свете выступления. Какие выводы сделает из выступления Апейка. Что надлежит сделать райкому, всем организациям района для выполнения указаний Сталина.

О многом думал.

И в эти думы врывалась одна. Она не была высказана в речи, но Башлыков считал, что вытекала из нее. Он считал, что ее заметили все пронизательные люди. Она не высказана открыто. Из соображений, как он отмечал, политики.

Раскулачивание, считал Башлыков, имеет значение не только как справедливый акт против кулака, который вырвет из среды крестьян

классового врага, обезвредит его для государства, расчистит почву для нового. Башлыков убежден — хоть об этом в речи не сказано ни слова, это еще более важно, — раскулачивание даст почувствовать другим, что советская власть не собирается долго уговаривать. Не собирается слишком церемониться. Даст почувствовать не только кулакам, а и всем остальным, что, безусловно, подействует и на другие слои крестьян. Этот момент был весьма важным для Башлыкова, для теперешнего положения в районе. Раскулачивание, предвидел он, должно побудить многих других, особенно середняков, в колхозы. Опасность лишиться всего — имущества, дома, сесть на песок, на болота — вряд ли вызовет у кого охоту.

Тревожило, как медленно идет коллективизация в районе, но теперь он видел обнадеживающий просвет. Был просто уверен, что самых неподатливых быстро сдвинут. Не может быть, чтоб не сдвинули!

Он чувствовал близкую желанную перемену, горел нетерпением начать действовать сейчас же. Но какое-то время мешала несобранность. Не сразу удалось сосредоточиться.

Бюро. Надо готовить бюро. Дело Гайлиса и других. С этого начнет.

Это будет началом нового этапа в его деятельности. Этапа решительной деятельности.

4

С этим все время, почти не утихая, жило другое. Что ни делал, о чем ни думал, помнил: «Сегодня. Как стемнеет...»

Почти неотступно, ходил ли, работал ли за столом, ощущал радость и ее, ту, глинищанскую. Но и останавливал себя — не ее время. Ее время будет позднее. Вечером, как стемнеет. По дороге из деревни. Где березы...

А сейчас у него дела. Важные обязанности ответственного за целый район человека. К тому же у него сегодня такое событие, такой важный документ перед ним. Этот документ означает, можно сказать, новое направление в его жизни, надо хорошо подумать над многим, сосредоточиться. Нельзя рассеивать внимание.

А в важные районные заботы, как ни противился, врывалось то, тайное, непозволительное. Сжимало сердце радостью и нетерпением, туманило голову. Вспоминались школа, встреча, снова и снова бередили сердце. Представлялось — вечер, березы, она; кружилась голова...

За окнами все сновало белое, блестело солнце. И, похоже, металось, горело что-то в душе Башлыкова.

Радость, нетерпение не были одиноки в душе. И раз, и другой точила назойливая мысль: что ты делаешь? Ты руководитель района. В такое время. Вместо того, чтобы думать о деле, о районе, думаешь о непозволительном. О женщине. К тому же о случайной женщине.

В конце концов, рассуждал он, если уже так захотелось женской ласки, разве мало тут девчат, симпатичных и надежных. Преданных делу. Девчат, которые могут стать настоящими товарищами в труде. Сколько девчат, комсомолок, с радостью пошли бы навстречу, если б ты пожелал этого. Чего ж ты прошел мимо них и прилип к какой-то неизвестной?

Башлыков возражал себе: почему неизвестной? Знает и ее и даже ее родителей. Тоже наш человек, хоть и не комсомолка. И что, вообще-то говоря, помешает ей, когда придет время, стать тоже комсомолкой, товарищем по работе? Родители — бедняки, можно сказать, пролетарии сельские. Правда, не колхозники, это, понятно, минус, пятно. Всему виной мать, темное, злое существо, неприятная, скажем честно, особа. Видно, из-за нее и покинула дочка родительское гнездо. А отец — человек что надо. Хотя сразу мог бы на новую дорогу пойти... Единоличники — это, конечно, минус. Но, коли так, она уже не с родителями. Свое положение у нее — служба. Советская служащая. Да и с родителями должно исправиться. Быть не может, чтоб не исправилось. К тому идет.

Вместе с тем примешивалось неловкое: положение ее. Техничка в школе. Уборщица. Он, руководитель района, и уборщица школьная!.. А что уборщица, возражал себе. Разве на всю жизнь это — уборщица. Разве не ясно, что случайно там! Что пристроилась, видно, на время. Поссорившись с матерью-собственницей. Решив начать новую жизнь. Сегодня — техничка в школе, а завтра — работница артели. Может быть, активистка новой жизни.

Уборщица. Можно подумать, что сам секретарем родился. Ни с чего начинал. Сколько прошло с того времени, как подметал за хромым сапожником. А уже вон какие замашки. Аристократические не аристократические, а мещанские — это явно. Мещанином здорово пахивает.

Раз за разом в рассуждения вторгалось горькое. Такое, отчего, казалось, попадал в тупик. Из какого одни выход — назад. Это обычно было тогда, когда вспоминал встречу в школе, ту минуту, когда пришла Параска. Неловко снова было, что скрывал, врал фактически. Но наверняка догадалась она, знает. Человек умный, не понесет новость по свету. Но, как там ни таись, завтра известно станет многим. В деревне все на виду. Все на виду и в районе.

Рано или поздно откроется, станет известно и здесь тоже.

Как он будет выглядеть перед людьми, перед районом! В такие минуты первой мыслью было: остановиться, пока не поздно. Не ехать, не встречаться. Покончить.

Все становилось неожиданно ясным. Не до нее, особенно теперь, когда такие дела. Всего себя необходимо отдавать делу. Не дробить.

Но легкость и ясность были недолгими. Каждый раз видел ее перед собою, близкую, зовущую, и чувствовал, как вопреки всему захлестывает чем-то горячим, пронизывающим сердце, как кружится голова. Неведомая сила лишает воли, влечет наперекор холодному рассудку.

Тогда не впервые задавал вопрос: что в ней такое, почему взяла такую власть над ним? Иной раз, злясь на себя, казня себя и ее, пытался задавить умышленно грубо: во всем виновата его дурацкая впечатлительность, мягкотелость! И то, что кровь дурная гуляет, молодая, дикая. Все оттого, что захотелось женщины, бабы! И оттого, что характер, натура дурные. Если захотелось чего, не в силах отступить. От природы такой. Не может сдержаться себя.

Когда чуть поспокойнее становился, объяснял все иначе. Увлёкся. Встретил случайно и влюбился. Не разглядел толком в тот вечер, а прикипел. Не разглядел, а не ошибся. Сколько видел женщин, а такую, кажется, первую встретил! За всю жизнь первую такую. И где!.. Как будто никого не было до сих пор равной ей! И еще в душе — будто не встретит больше такой, как она!

А может, и не встретит. Не встретил же раньше. Не было же раньше такого ни к одной. Может, это судьба его. Нет, нет, это не просто так, это редкость. Такая красота, такой ум. И, чудо какое, небезразлична к нему. Видно сразу. Льнет душой. Рада была. Волновалась. Разумно ли потерять все это. Самому отказаться, загубить все. Загубить и потом не найти больше.

Что с того, что он руководитель, разве требования к нему особые? Уже и любить нельзя?

В эти минуты тревожило практическое: где бы найти пристанище для встреч? Ну, сегодня встреча короткая, можно и постоять под березами. А потом? Не стоять же посреди дороги или в лесу, морозить ее? Но что делать? В Юровичи привезти, к себе? Теперь, когда они друг другу еще неведомо кто? Обращать такое внимание на себя? В школу к ней тоже нельзя. Нельзя и в Курени, к родителям. Нельзя.

Как бы он ни объяснял, что у него серьезные намерения, это вызовет кривотолки. На его репутацию безупречную ляжет пятно. Его авторитет

будет подорван. Загодя можно сказать.

Он от души пожалел, что не живет в Гомеле. Там все было бы легче.

Нелегко и непросто пришлось в этот день Башлыкову. Не раз еще подсказывал разум: остановиться, не ехать. И каждый раз за этим охватывало: ехать, увидеть. Хоть один, хоть последний раз. То и дело нетерпеливо взглядывал на часы. День тянулся медленно.

5

Под вечер приказал запрячь коня. И Миша, и возница знали, что надо в Загалье, на собрание.

Когда запряженный конь стоял уже под окнами, Башлыков вышел на улицу. Едва подошел, как возница натянул вожжи, собираясь занять обычное место. Впереди. Башлыков спокойно остановил его.

— Дайте, — он взял вожжи, кнут. Объяснил: — Один доеду. — Пошутил: — Коню легче.

Заметил, возница неохотно отдал вожжи, кнут. В глазах было удивление и недоверие: первый раз секретарь выбирается один. Никогда раньше такого не было.

— Дорога тяжелая... — сказал Башлыков.

Возница кивнул: тяжелая. Свежий снег. И все ж было странно. Конечно, странно. Но что поделаешь. Нельзя иначе.

Башлыков нащупал наган в кармане, уселся в возок. Прежде чем дернуть вожжами, приказал Мише, который также удивленно наблюдал за ним, чтобы сводки были в порядке. Ночью вернется. Тузанул коня.

Ехал беспокойно, не видел ничего вокруг, даже не заметил толком, как въехал на гору. Только здесь, на горе, опомнился: местечко осталось позади. Позади и сомнения: ехать — не ехать.

Раздираемый душевным смятением, понимал: едет. На доброе или на худое — едет.

Что бы там ни было, должен ехать. Не может не ехать.



Глава четвертая

1

На дворе было свежо и тихо. Слегка мело.

Обошла школу, тропинкой, протоптанной ребятишками, выбралась за село. За гумна.

В поле, как глазом окинуть, белизна, чистота. Только поодаль ветряк крутил крылья. Ветер свежий, мягкий.

От загуменя к шляху вела дорога, вылизанная санными полозьями. Между ними снег, побитый копытами лошадей. И колеи, и следы копыт чуть припорошены свежим снегом.

Шла колеей. Идти было легко, только ноги иногда скользили. Тут, в поле, светлей стало на душе. Не надо было скрываться от Параски. Но не одну радость несла в себе, радость омрачалась неподвластными думами. Чувствовала себя так, как бы грех брала на душу, виноватой.

Она оправдывалась перед собой: не перед кем ей виниться! Нет! Вольная птица. Все ж если не виноватость, то неловкость некоторая грызла душу, и она подумала рассудительно: может, такое потому, что не девка уже. Что была, да сплыла пора на свидания бегать. Что надо бы уже жить, как живут солидные люди. За ум пора взяться. Что-то воспротивилось в ней: такая она уж, что ей и о счастье помечтать грех? Что же, для нее все кончено?

Не только радость пела в ней, хотя будто кто-то подгонял нетерпеливо, приманивал: быстрее, быстрее! Тайный голос нашептывал, омрачал, давил на плечи, цеплялся за ноги, остерегал: не беги, остановись, пока не поздно, вернись. Но, как ни досаждал голос разума, не то что вернуться, и остановиться уже не могла. А после Евхима, после всех тех не забытых еще оскорблений, издевательств как ей было остановиться, не бежать, если впереди сверкнула надежда. Как ей было остановиться, если звала надежда.

«Что будет, то будет!» — ударило в голову горячее, необузданное.

Слева среди поля затемнела рощица, Ганна вспомнила, ее называли так же, как деревню, Глиници. Дальше, на монотонной белой равнине, долгий, со щербинами, виднелся строй старых берез. Шлях. Издалека заметила, навстречу из-за берез выскользнули сани. Лошадь быстро трусила, приближая какого-то к ней. Она всмотрелась и успокоилась: не он.

Наверно, кто из глинищанских.

Пошла тише. Постаралась принять равнодушный вид. Когда подъехали, отступила с дороги, валенки увязли в снегу. В санях были трое: двое дядек и тетка. Дядька и тетка сидели, другой дядька лежал, уткнувшись головой в воротник, видать, пьяный.

— Куда ето против ночи? — крикнул во все горло тот, что правил конем.

Тетка недобро зыркнула из-под платка. Тот, что лежал, шелохнулся, но не поднялся. Не ждали ответа, проехали себе дальше.

Она снова выбралась на дорогу. С тем же сложным чувством пошла скользкой колеей дальше.

Вот и березы. Из-за березы взглянула в одну, другую сторону — никого. Поглядела еще со шляха. Пусто. Задело, стало грустно, досадно: должно быть, ошиблась. Бежала, спешила, дурная, а тут никого. Попробовала себя успокоить: рано еще.

Что делать? Не торчать же тут, на виду! Может, шляхом пойти навстречу? Нет, еще чего не хватало.

За шляхом начинался лес. Стой стороны, у березняка, темнел кустарник. Вон и протоптанная тропочка к нему. Свернула к заснеженным зарослям, переждать.

Тихо, зябко, метет немного. Сколько простояла, неизвестно, когда донеслось аккуратно из Юровичей — раз-другой фыркнул конь. Сразу вся насторожилась, вскоре услышала, как поскрипывает упряжка. Когда скрип приблизился совсем, выглянула на дорогу и молниеносно укрылась за кустом. От неожиданности похолодела.

Надо ж такое! В санях горбился Евхим. Шапка была нахлобучена, воротник поднят, но она сразу узнала. Чуть не столкнулись! Притаилась в не очень густом кустарнике, ждала. Увидел или не увидел? Будто посмотрел в ее сторону. Нет, поехал дальше...

Уже когда миновал, выглянула совсем. Евхим ехал по дороге, все удаляясь. Вздохнула с облегчением: опасность миновала. От пережитого испуга не сразу дошло, что Евхим поехал не своей дорогой. На Курени поворот был дальше, он же свернул тут, на Глинищи. Где школа.

В школу наведаться решил? Глядела вслед саням уже с другим беспокойством: заедет, дознается, чего доброго, кинется сюда... Не, не кинется, успокоила, убедила себя. Не вернется. Параска не скажет. Пошлет, не иначе, в другую сторону...

Чуть опомнившись, почувствовала, начали мерзнуть колени. Холод все больше забирал, залезал в валенки. Она притоптывала, била валенком о

валенок. Как медленно тянется время, как медленно темнеет, темь как-то осторожно, несмело наступает. И тишина, от которой ломит в ушах. А на дороге ни звука.

Рано пришла, подумала она. Сказал же: «Как стемнеет». Точно оправдываясь, разговорилась с ним в мыслях, объясняла: пришлось раньше выйти. Не очень-то приятно идти впотьмах. Одной в поле. Да и от Параски избавиться хотелось пораньше...

Потемнело уже. Можно и выйти на шлях. Стала около березы, спряталась за нею от ветра, прислушалась. Ни звука. Одни березы чуть слышно шумят. И метет снегом. Дороги почти не видать.

А может, и не приедет, осенило вдруг. Может, напрасно она бежала, попусту мерзнет тут в темноте, дурная. Может, только так себе сказал, а она и поверила, прибежала. Это, однако, не очень беспокоило, думала об этом словно невзначай. Сомнения эти исчезли мгновенно, их отогнало сильное, упорное: нет, не так себе сказал. Хотел встретиться, сама видела. Может, решила, неувязка какая вышла. Не сумел почему-то, дело срочное. Не то с упреком себе, не то с сочувствием подумала: есть когда ему заниматься этим.

Мело, и шумели березы, нудно, безнадежно. На дороге ни души. Но вот сквозь метель и темень разглядела коня, когда он подошел уже чуть ли не вплотную. За конем увидела темный возок и человека. И конь, и возок двигались неслышно, медленно.

Было видно, возница придерживал коня. Он был один и как будто приглядывался. Снова охватило волнение. Сильно забилося сердце. Прижалась к березе ближе. Возок проехал потихоньку, потом вернулся, остановился. Он. Пусть постоит, пусть подождет, подумала вдруг горделиво.

Он постоял минуту, стал разворачивать коня на дорогу к школе. Навстречу ей.

Она оторвалась от березы, шагнула на шлях. Несмело окликнула:

— Эй, дядько!

Он повернул коня к ней, подъехал. Спрыгнув с возка, поздоровался.

— А я уже решил... — проговорил Башлыков весело, о издевкой над собой. Но спохватился, сказал торжественно: — Ну, с Новым годом.

— И вас также!

Видела, рад. От волнения сначала молчал, не находил слов.

— Давно тут?

— Не. Только что. — Какой недотепой показалась бы ему она, если бы призналась, как рано прибежала, как дрогла здесь. Как могла скрывала радость, старалась быть спокойной. Попросил, ну и пришла. И всего-то.

— Не замерзла?

Она едва сдерживала дрожь.

— Не.

Башлыков еще помолчал. Догадалась, думает о чем-то. Потом он предложил:

— Садись.

Сказал не очень уверенно. Не знал, наверно, что делать. Она села в возок. Под ней были кожух, сено. Он зашел с другой стороны возка, сел рядом.

— Поедем, — сказал веселей, чем надо было. Как бы подбадривая не только ее, но и себя.

Снова отметила уже известное ей: он не такой с ней важный, железный, как на людях. Деликатный и даже будто растерянный. Как бы смущается и не хочет, чтоб заметила. Как хлопец. Ей это нравилось.

Башлыков дернул вожжами. Хотел ехать по шляху. Она остановила:

— Лучше сюда... В лес...

Когда он повернул коня, больше из-за того, чтобы не молчать, добавила по-дружески, тихо:

— Дорога тут тихая... Тут днем мало кто... А теперь...

Ее неудержимохватило волнение. Звенело в голове, колотилось сердце, чуть не колотило всю ее. Счастье или призрак счастья, что из того, завладели ею. Даже если бы ожидала ее гибель, все равно Ганна непременно пришла бы, кинулась, не раздумывая, не жалея.

Самое невероятное было в том, что, она чувствовала, и он тоже волнуется. И у него то же самое, как и у нее. И что, хоть только сидят рядом, они будто одно целое. В тишине этой, во тьме, в лесу, ночью. В возке, в котором они одни. И оттого, что он молчит, так бережно относится к ней, это их единство ощущалось еще острее.

— Придержи! Давай постоим, — попросила она, когда проехали немного. Сказала тихо, смущенно, будто боялась нарушить что-то. Будто заговорщица.

Почему-то хотелось стоять. Стоять среди тихого, с еле угадываемым шорохом леса и молчать. Молчать, как эти зачарованные затаившиеся деревья.

— Ты замерзла, — заметил, что она дрожит.

— Не, ничего...

Он достал кожух, накрыл ей плечи, прикрыл колени. Заботливо и нежно. Опасливо насторожилась — а ну обнимать станет, прижимать. Почему-то очень не хотелось сейчас этого. Не разрушить бы то хорошее, что наполнило ее. И рада была, обошелся с уважением.

Отметила только, рука на миг задержалась на ее коленях. Долговато укрывал ей колени. Но оторвал руку.

— Я ненадолго, — сказала она.

Сказала неизвестно почему. Кто ей не давал тут быть долго? Сама себе будто приказала. Будто боялась чего-то, если останется подольше.

— Я тоже, — и добавил озабоченно: — Собрание в Загалье.

Заметила, чем-то недоволен. Не поняла, чем. Что-то он далеко в мыслях. И весь он, пригляделась, далекий. Нет, не ровня они, чужие. Подумала с упреком о себе: что еще придумала! На что надеялась! Чего пришла! Едва сдержалась.

— Есть у вас хоть часок для себя? — спросила небрежно, недобро.

— Теперь времени мало, — ответил он. — Теперь не до личных дел.

— Как же жить так?

— Горячая пора у нас теперь. Ответственная.

Он сказал искренне, просто, с надеждой, что она поймет, посочувствует ему. Она вспомнила вдруг то давнее собрание в школе. Пожалела его, но близость, которую так остро ощущала, не вернулась. Какое-то время помолчали, рядом разные, далекие.

Он, видимо, уловил эту отчужденность, она ему, конечно, была неприятна, но он не сделал ничего, чтоб развеять ее. Или неискушен в таких делах. Очень могло быть, что и не знал, как держаться, о чем говорить.

— Как ты живешь? — повернулся к ней. С трудом произнес «ты».

— Так и живу...

Сказала нарочно вызывающе, беспечно.

— Надо выходить на дорогу, — посоветовал. — На свою. Настоящую.

— Где она, та моя? — спросила с горечью, дерзко.

Он не откликнулся на ее дерзость, сказал серьезно, протестующе:

— У тебя хорошие способности. Ты многого можешь достигнуть.

— Аге! — подхватила она насмешливо. — С моей-то грамотой.

— Сколько ее у тебя?

— А нисколечки!

— Совсем не училась?

— Училась и долго. Только не тому, что некоторые. Коров доить, на кроснах ткать.

— Надо учиться.

Теперь он нашел себя. И говорил, и держался уверенно. И, похоже было, доволен своей ролью. Сильного, опытного. Мужчины!

— Теперь всюду требуются грамотные. На любом заводе. В артелях. Да и в колхозах. У вас же в школе кружок есть!

— Есть.

— А что ж не учишься!

— Попробую.

— Надо.

Он помолчал. Ганне показалось, о ней, может, думает: вот с какой темнотой связался. В душе вскинулось заносчивое: не все счастье в вашей грамоте. Своя грамота есть. «Связался!» Недолго и развязаться. Никто не набивается. Он вдруг ошеломил:

— А то, может, в местечко давай? — Опережая ее вопрос, добавил: — В местечке легче будет учиться.

Она представила себе местечко, чистое, нарядное, себя в нем, приодетую, незнакомую. Местечко было, что там ни думай, чем-то недостижимым, оно тянуло. И слова Башлыкова манили, аж закружилась голова в предчувствии неизвестного, прекрасного.

Она постаралась скрыть свой нелепый, казалось, восторг, сказала холодно, с усмешечкой:

— Что же я делать-то буду!

— У нас артели там, — ответил Башлыков спокойно, уверенно. — Работницей можно устроить. Сначала подучиться надо, конечно. Побудешь ученицей. А там мастером станешь! Рабочий класс, можно сказать. Ну, а затем и дальше можно пойти. Оттуда все дороги тебе открыты.

— Гляди! Так уже все просто! — хмыкнула она про себя, хоть от слов этих еще кружилась голова.

— Не просто, но не так страшно, как думаешь. — Он, чувствовала, злился на ее недоверие. Заговорил горячо: — Я, ты думаешь, с чего начинал? С того же, можно сказать, что и ты. Расписаться едва умел! Но решил: возьмусь, одолею все! И взялся! Кружки, курсы, комсомол! Работа и самообразование! И добился!

— Дак то вы! — запротестовала она.

— Главное, захотеть, проявить настойчивость. И всего добьешься! Ты сможешь, я вижу!

Через несколько минут он вдруг прервал разговор, сказал резко:

— Ну, мне надо ехать. Дела ждут.

— Надо дак надо, — согласилась она не без тайного сожаления.

Он повернул коня, дернул вожжи. Возок легко, неслышно поплыл к шляху, пересек дорогу. Когда по сторонам уже пошла серая гладь поля, предложил:

— Завтра выберусь, чтоб подольше. Сможешь?

— Приду.

— Туда же?

— Добре.

3

Башлыков подвез ее до гумен и сразу повернул. Скоро возок его исчез в темноте.

Она прошла несколько шагов и остановилась на тропинке, охваченная смутным волнением. Стояла одна среди потемневшего поля, между загуменьем и школой, в тишине, которую вспарывали лишь пьяные голоса, долетающие откуда-то из села. Там пробовали петь. Она не думала ни о чем, не пыталась разобраться в том, что произошло. Как будто понимала, что ни к чему теперь эти думки, не додумается все равно ни до чего.

Просто хотелось постоять одной, побыть наедине с собой. Побыть под этим прояснившимся небом, с которого перестало сыпать снежной пылью. Тешиться холодным ветром, что обвевал, свежил лицо, радоваться ощущению свободы, простору, которые так милы теперь ее душе.

Может, после Башлыкова неприятно будет увидеть Параску. Может, и такое будет. Но она не думала об этом. Не хотелось думать ни о чем. Наслаждалась ночью, тишиной, свободой.

Неохотно побрела к школе. Окно в Параскиной комнате светилось, и вновь пришла виноватость. Все же неловко вышло, не просто будет видеться с Параской, смотреть в глаза ей. Мелькнуло: лучше б она спала уже. Чтоб не встретиться сейчас, не срамиться.

Напряженность была, когда замедляя шаги, переступила полосу света из Параскиной комнаты. Ждала, вот выйдет из дверей сама, поглядит, поймет все. Не вышла. На кухне Ганна нащупала лампу, зажгла больше для того, чтобы приглушить сумятицу в душе, стала перетирать чистую посуду, переставлять то, что стояло уже на месте.

Вела себя так, будто вернулась из села, ходила проведать. Параска все не показывалась, корпит, наверно, над своими тетрадками. Или, может,

понимает все и не хочет досаждать. Ганна как бы чувствовала осуждение, которое унижало, ранило ее гордость.

Постепенно возвращалось спокойствие, возвращалась и уверенность. Даже захотелось уже взглянуть ей в глаза. Пусть не думает о ней, Ганне, чего не следует!

Смело открыла дверь.

— Портишь глаза все? — сказала почти с вызовом.

Параска неохотно оторвалась от стола. Но встретила неожиданно довольной, даже счастливой улыбкой.

— Пьеску выкопала! Такая смешная! Смеху будет на все Глиници! Тут одна ролька есть вдовы-барыни! Хочешь, дам тебе по знакомству?

— Нашла, о чем, — упрекнула Ганна.

— Нет, я серьезно! Соглашайся, пока не поздно! А то передумаю, сама возьму! Завидная ролька! Карьеру можно сделать мигом! Сразу прославленной артисткой стать! На все Глиници прогремишь! Ну?

— Хватит мне той славы, что есть уже.

— Вот чудачка! Удачи своей не берешь! Ну, что ж, я предложила! Дело твое! Кусай потом локти себе! — Параска помолчала, почти не меняя тона, сказала — Заезжал твой бывший. — «Бывший» сказала с нажимом.

— Говорил что? — не скрыла тревоги.

— Нет, ничего. Посмотреть захотел! Соскучился!

— И не подождал!

Поговорили еще в том же духе. Параска вдруг с какой-то решимостью отчаяния предложила:

— Давай гульнем! Первый же день нового года как-никак. Не будет же больше первого!

...Вчера был вечер в школе. Полно мужиков, баб, учеников. Как всегда, и в классах, и в коридорах, и под окнами. Доклад был Параскин про новый год, ученики группками и по отдельности пели песни, читали стихи. Поставили и пьесу маленькую. Поздно начали и поздно кончили, за полночь. Параска, счастливая и утомленная, поздравила Ганну и завалилась спать...

Параска вдруг забегала, кинулась в угол, где стоял шкаф с одеждой, выхватила оттуда бутылочку, которая блеснула густо-красным.

— О! Наливка вишневая!

— Галина Ивановна спит уже, — попробовала угомонить ее Ганна.

— Ну, так мы тут!

Параска смела со стола книжки, журналы, тетрадки, поставила бутылку. Ганна поспешила на кухню. Стараясь не шуметь, второпях

принесла что было закусить. Как знала, с утра приготовила студень. Так что закуски оказалось достаточно.

— Ну вот! — И слова, и взгляд Параски говорили, что она добилась того, чего хотела. С пониманием важности момента подняла чарку с наливкой, стукнула ее о Ганнину. — Чтоб добрый был год!

— Хорошо бы.

— Да и не год. Десятилетие начинается, — сказала Параска задумчиво. — Десять лет... Какими они будут?

Она тут же смахнула грусть: не для того сели за праздничный стол. И говорила, и держалась весело, по-дружески, вида не подала, что в обиде на Ганну. Наоборот, подчеркивала, что желает Ганне только добра.

Ганна видела, что доброжелательность ее от души, и ей становилось все легче, вольнее. Наконец разошлись так, что друг друга со смехом сдерживали, напоминали: Галина Ивановна спит.

Спать ложились веселые, довольные вечером, друг дружкой.

В кровати, в темноте, Ганна почувствовала, как все поплыло. Забрала, захмелила сладкая Параскина наливка. Во хмелю Ганне чудилась дорога среди белого поля, пустой шлях, Башлыков в возке. Видела и себя рядом с ним так явственно, будто и вправду сейчас сидела там с ним. Память воскресила их разговор, слышались, заволновали его слова: «Надо учиться!.. А может, в местечко давай? Там легче будет учиться... У нас артели там... Оттуда тебе все дороги открыты... Я сам с того начинал. Расписаться не умел... Главное... проявить настойчивость. И всего добьешься!.. Ты сможешь, я вижу!..» Слушая это, наполнилась неукротимым, радостным волнением. Представила себя, незнакомую, чисто одетую, статную, в местечке, в Юровичах. Не одна была там, с ним! Совсем уже городская, такая грамотная, как Параска. Мечты эти неотступно пыталось сломать недоверие: «Навоображала себе бог знает чего! Так это все просто!» И все же видела местечко и себя в нем и Башлыкова, и голова кружилась от неисполнимого, что чудилось уже как реальное. «Новый год, — пронеслось в мыслях, — принес важное. Новое начинается. Началось!..» Чувствовала, как бы разорвалось или вот-вот разорвется все, что опутывало, связывало ее.

И вдруг холодком обдало: знает ли он про Евхима? Что у нее такой муж, из такой семьи. А если не знает и доведается, то что скажет? Но это развеялось легко: мало ли кто был ее мужем! Что было — сплыло.

Во сне ей привиделся город. Не Юровичи, а какой-то невиданный, громадный. И снилось, что она блуждает, блуждает по незнакомым улицам, ищет и все не может найти свой дом. В отчаянии пытается отыскать

Башлыкова, он знает все. Но и его не может никак найти...

На другой день в сумерки, под вечер, она снова была у дороги. Сразу в потемках увидела возок. Башлыков еще издали высмотрел ее, быстро подъехал. Когда свернули в лес, Башлыков спросил неожиданно:

— Ты была в Наровле?

— Не... — удивилась она.

— Я всего один раз. Съездим?

Она поняла, сказал не случайно. Обдумал заранее. Ответила не колеблясь:

— А чего ж.

— Так и быть, отметим Новый год и встречу!

Он повернул возок на дорогу. Мимо двух косогоров спустился к гати. На гати, где по обе стороны раскинулось открытое поле, вольнее буйствовал ветер. Болота. Когда поднялись шляхом, миновав их, по дороге навстречу прошли сани. Молча разминулись. В темноте не разобрать, кто. Их, должно быть, не узнали.

Снова остались одни, наедине с темнотой, с ночью.

— Устал я, — признался откровенно Башлыков. — Все эти ночи — собрания, сходы. И безуспешно, можно сказать. Не поддаются мужики. Руками и ногами за клочки свои держатся. Как в твоих Глинищах.

Он упомянул про Глинищи без издевки, как бы шутя.

Ей нравились его искренность и доверие. Тронуло и то, что так просто признался, будто у нее поддержки искал.

— Трудно это людям, — сказала она, успокаивая его. — Все ж кровью наживали. А тут сразу отдай.

— Знаю, что нелегко... Но объясняем же, вбиваем в головы: никто не отбирает. Объединяем ради вашего же добра. Чтобы вылезть из бедности, из голода.

— Много слышал мужик всяких посулов на веку, потому и верить непросто.

— Да, наследство прошлого живет. Но пора уже и отвыкать от этого наследства!.. Глушь, понимаешь, дикая! Сколько ни толкуй, не доходит!

— К мужику подход нужен, — как более искушенная, добродушно посоветовала Ганна. Попрекнула по-дружески: — У тебя подходу не хватает. Горячий ты, быстро хочешь! По-городскому все меряешь!.. Ты

гляди вот, как Апейка!..

— Апейка, Апейка!.. — раздраженно прервал ее Башлыков. — И глядеть не хочу, как Апейка! Апейка хромает — правый уклон явный!

— Уклон или не уклон, не знаю. А только у него подход! Хитрый он!

— Хитрый. Это правда, — согласился он охотно. Засмеялся даже: ловко подметила. — А я не люблю хитрить, — признался в чем-то очень ему важном. — Я люблю просто, по-рабочему! По-партийному... Я все время до сих пор среди рабочих жил, — с гордостью и доверительностью приоткрыл он частичку своего прошлого. — На железной дороге... Привык резать напрямик. И впредь так буду.

Ей не хотелось спорить с ним. Но была не согласна с тем, что он говорил, в жизни не всегда это разумно — резать. Решилась помочь, подсказала:

— Знаешь, временами в обход быстрее дойдешь, чем напрямик.

— Это на болоте, — отозвался резко, даже с насмешкой. — В политике надо только прямо идти.

Она промолчала. Затаив обиду, подумала: все ж они разные очень, самолюбивый он чересчур, не умеет слушать. Ехали снова молча и словно чужие. Башлыков, видимо, чтоб разрядить эту тягостную молчанку, отчужденность, разоткровенничался:

— Не приживусь я никак на вашей земле, не привыкну к вашим порядкам. По дому своему тоскую. — Как затаенную мечту открыл: — Вот выполню тут задание и попрошусь назад, к своим. В Гомель, на чугунку.

И это не понравилось: хоть и посмеивался, а словно бы хвалился городом, порядками городскими. Будто превосходство свое высказывал. Но не откликнулась на его попытку примирения больше из-за прежней обиды. Пусть знает, и мы тоже не лыком шиты, и мы с гонором.

Башлыков замолчал. Потом вдруг взволнованно заговорил о том, как был в Куренях, в ее хате, как с родителями ее познакомился.

— Мать у тебя с характером!

— С характером... — согласилась она.

Все, что было до этого, мгновенно выветрилось из души. С нахлынувшим холодком в груди ждала, что скажет сейчас про Евхима. Ждала, как удара.

Долгим, нескончаемым казалось это ожидание. Пока ждала, злилась на себя, на Башлыкова, что затеял этот разговор, душа словно закаменела. Готова была уже как могла встретить удар, когда Башлыков настиг ее вопросом:

— Ты почему одна? — Пояснил: — Не замужем?

Она прислушалась, стараясь понять: искренно ли он это, правда ли не знает или пошутить над ней вздумал? По тому, как спросил, трудно было понять, чувствовала только, что вопрос этот для него важен. Что, может, думал об этом.

Нелегко одолела волнение, выжала будто в шутку:

— Не берет никто...

— Не похоже, — твердо, серьезно сказал он. Не поддержал шутку.

Она помрачнела. Ответила небрежно:

— Попробовала. Больше не хочу.

— А что... разошлись?

Боже мой, неужто и правда ничего не знает! Не знает, определенно же. Что сказать ему?

— Разошлась. Разошлись. Нет его, считай. Помер.

— Помер?

— Не хочу про него! — отрезала.

Ехали снова молча, каждый сам по себе. Тогда он заговорил, стал покладистым, раздумывал, о жите своем рассказывал. Может, потому, что виноватым почувствовал за то, что причинил ей боль, а может, оттого, что упоминание о ее родителях напомнило о своем. Оказалось, и ему хлебнуть довелось: не в хоромах рос, в темном бараке, безотцовщиной. Отец бросил семью, мать — неграмотная женщина, зарабатывала гроши. Работала, света белого не видела. После работы на складе уборщицей ночами, выходными днями стирала белье тем, кто побогаче. Жили так, что хлеб не всегда был на столе.

Он старший. Едва научился ходить, пришлось помогать матери, зарабатывать. Началось с белья, которое мать стирала, разносил по домам. Потом отдали в мастерскую учиться на плотника. Немало перепробовал он работ, пока нашел свое место. Но и теперь не просто у него дома: сестра, Нинка, несчастная, брат, здоровый, избалованный, совсем спятил. На нэпманской дочке надумал жениться, сделать его, Башлыкова, свояком нэпмана...

Последние слова про «сваяка нэпмана» Ганну кольнули, но отогнала мысль об этом. Откровенное признание Башлыкова взволновало ее: кроме того, что небезразлично было все, что ему пришлось испытать, тронули Ганнино сердце его душевность и то, что он, не таясь, открыто ввел ее в свою семью, в свою жизнь. Взволновало и то, что жизнью своей он похож на нее, можно сказать, близок ей.

От привычки за добро платить добром она тоже хоть и сдержанно, коротко, рассказала ему про своих — отца, мачеху, Федьку. Рассказала

искренне, без утайки, ни словом, однако, не упомянула Евхима и Василя. К тайне этой не захотела допустить его.

Он или не почувствовал это или не придавал значения. Обнял Ганну за плечи, прижал к себе. Она не сопротивлялась, не пыталась высвободиться. Не девка, знала, что это будет. Раньше или позже будет. Глубоко храня свою тайну, слышную только ей, молчала, послушная в его объятиях.

Если бы не тайна эта, было бы совсем хорошо. Но тайна была, жила в ней. Невольно, в мыслях: неужто он так и не знает ничего про Евхима? Для них, для партийных, это, кажется, важно. Или знает и не показывает. Смелый такой? Любит так? Прямая и открытая, все же не отважилась выяснять. Боялась рисковать тем, что имела. Отогнала тревожные мысли, молча радовалась его ласке, тишине, бегу возка, сероватой во тьме дороге. Мельком заметила, ехали незнакомым полем. Дорога на Юровичи осталась давно в стороне. Тянулось и тянулось это серое тоскливое поле. Потом поле кончилось, выглянули навстречу дома, кинулась под лошадь собака. Когда дома отступили, стал набегать черными купами лозняк. Возок сильно клонило с боку на бок, так что сама приникла к Башлыкову.

За лозняком пошла ровная дорога. Река, видно. Что-то сверкнуло впереди, похоже, на взгорке огонек. Потом еще один, другой. Вдруг выросла почти вплотную незаметная прежде гряда — берег. Оврагом подымались на нее, выехали на улицу. Чем дальше — больше светилось огней. Башлыков отклонился. Сидел уже ровно, держал вожжи.

Заметив какого-то человека, Башлыков остановил лошадь, спросил, где тут столовая. Дядька рассказал, как проехать к ней. Башлыков поблагодарил, тронул дальше. На площади еще остановил кого-то, переспросил. Наконец придержал лошадь возле светящихся окон. Попросил подождать, соскочил на землю. Вернулся довольный:

— Тут. Приехали.

В большой комнате со множеством столов было почти пусто. После дорожного полумрака и холода приятно жмуриться от света, чувствовать уют и жилое тепло. Свет и тепло сулили радость.

С ожиданием этой неведомой радости Ганна и села за стол, который выбрал Башлыков. Он снял шапку, но не сел, стоя у стола, озабоченно оглянулся. Был он теперь сосредоточен, строг, похож на того, каким видела его на сходе в Глинищах.

Появилась, что-то дожевывая, тетка-толстуха в фартучке, бросила недобрый взгляд на Башлыкова, на дверь, недовольно крикнула: кто открыл дверь? Подскочила к ним, отрезала:

— Все! Закрыто.

Объявила так, что спорить было излишне. Башлыков не шевельнулся. В лице появилось что-то жестокое. Он, едва сдерживая себя, спокойно проговорил:

— Мы с дороги. Нам перекусить.

Тетка икнула. Железно повторила:

— Сказано. Закрыто.

Лицо Башлыкова еще посуровело.

— А где заведующий?

— А что заведующий?! Нет заведующего!

— Тогда позовите буфетчицу.

В голосе его слышалась такая твердость, что толстуха, если не дурная, должна была бы сообразить, с кем имеет дело. Но она не отступала, все наседала со своим «сказано».

Башлыков не счел нужным препираться с ней, молча зашагал к буфету. Буфетчица копошилась за длинным столом со стеклянным верхом, встретила не ахти как приветливо, но ответила ему, и он решительно открыл дверь рядом с буфетом. Появился скоро в дверях с молодым худощавым прихрамывающим человеком. Тот что-то сказал буфетчице и позвал официантку, которая возле одного из столиков рассчитывалась с людьми.

Нехотя, сделав вид, что оскорблена, официантка не пошла, а поплелась к буфету.

Вся сцена вызвала у Ганны и неприязнь, и досаду. На ее характер, она от такой любезности поднялась бы давно и, стегнув подходящим словом эту толстуху, с презрением вышла отсюда. Нужен он ей, этот ужин, если так встречают. Но вместе с тем она не могла не отметить, как держался в скверной этой истории Башлыков. То, как разговаривал, как настойчиво добивался своего, вызывало не только уважение к нему, но и признательность: заботился, можно сказать, о ней. Втайне она восхищалась и гордилась им: с таким нечего бояться, такой в обиду не даст.

Он принес из буфета темную бутылку и два стакана. Бутылку поставил между ними, один стакан перед Ганной. Был еще возбужден, но испытывал удовлетворение оттого, что добился все-таки своего.

— Есть только котлеты, — буркнула толстуха, ставя тарелку с крупно нарезанными ломтями хлеба.

— Давайте котлеты, — Башлыков и не взглянул на нее.

Вино красное, густое, похожее на вишневку. На бутылке, однако, была бумажка с какими-то зелеными ягодками, горами, красивыми золотыми буквами.

— За наше счастье, Ганна, — Башлыков смотрел ей прямо в глаза внимательно, нежно. — За Новый год!

В голосе его слышалось что-то особое: и обещание, и будто надежда. Голос этот где-то в глубине неясно волновал и тревожил ее.

Вино было хорошее, сладкое. Не вишневка, неизвестно какое. Не то что гадость эта самогонка. Вино хотелось пить смакуя. Она и смаковала, хотя старалась не показывать этого.

Он выпил, отметила, до дна, отметила с удовлетворением, потому что помнила, Параска сказала, не пьет вообще. Ради нее, значит, выпил. Она все же удержалась, отпила половину, как и положено. Половину оставила с стакане. Он заметил, попросил допить, но она не поддалась. Пусть знает, что помнит о приличии, и ела котлету с толченой картошкой, тоже не забывая, не как голодная.

Башлыков долил ей в стакан и себе снова наполнил. И снова она не допила. Ели молча. Держались, как просто знакомые, даже чужие. Ганне все это было по душе: чего срамиться перед людьми, выставляться напоказ. То, что в душе, в душе и должно быть. Для них одних. Башлыков на людях вел себя так, будто за ним все время наблюдают. Она — понимала все — держалась тоже так, чтоб никто не заподозрил ничего. Не глядела даже на него, хотя несколько раз остро ощущала его взгляд на себе. Но, хотя почти молчали, почти словом не перекинулись, было у Ганны и наверняка у Башлыкова тоже доброе чувство близости, праздничности.

Ко всему и вино, хоть и слабое, а все ж потихоньку забирало все больше и больше. Туманило голову, хмелило. Ганна чувствовала себя легко. Веселел и он. Веселел и будто красивей даже становился, проще, ближе.

Скоро они поднялись, вышли. Около возка Башлыков взял Ганну за локоть, склонил голову прямо к ее лицу, сказал улыбаясь:

— Ты знаешь, с самого приезда к вам у меня первый такой вечер...

Он удивлялся себе. Захмелевший, был совсем другим — открытым и добрым. И выглядел моложе.

Здесь, в потемках, в уединении, было лучше, легче: не обижала

толстуха, не надо было так оберегаться чужих глаз. Свободней было. И после тепла и вина в радость был холодный ветер, который начинал кидать снегом.

Они сели в возок и поехали по местечку, безмолвно обступавшему их каменными и бревенчатыми строениями, деревьями, темнотой, в которой еще довольно часто проглядывали светящиеся окна. Но все это мало интересовало Ганну: местечко как местечко, будто те же Юровичи.

На морозном ветру хмель быстро выходил, в голове прояснялось. Все вроде бы, как и раньше, было хорошо, но чаще и чаще набегали, цеплялись, бередили душу разные мысли. Ночь. До дому не близко. Когда доберутся? Как явится к Параске в такой час? И не так Параски боялась, как Галины Ивановны. Она не то что Параска — строгая, вечно недовольная. Поймет сразу, выговаривать станет. И до дня далеко: когда наступит тот, теперешний, поздний день. День, когда можно будет вернуться, будто из гостей. Вдруг осенило: можно, пожалуй, заехать в Березовку, к тетке! Можно было бы, возразила себе, но не среди ночи!.. Как ни думай, усмехнулась, оставалось одно: ночевать в поле или в лесу, на морозе!.. А чего ж, мелькнуло дерзкое, можно и в поле, на морозе! Какая беда!..

О чем-то, может, о том же самом думал и Башлыков. Она вообще не любила, когда он втягивал подбородок в воротник пальто, задумывался. Точило подозрение, наверно, грызут его недобрые мысли. Теперь, возможно, и жалеет, что придумал поехать неведомо зачем в такую даль.

Она первая бодро объявила, что пора домой! Нагляделись, наездились уже. Башлыков будто только и ждал ее слов, сразу повернул лошадь, видно, к берегу. Ветер бил теперь почти навстречу, закидывал свежим снегом. Метель все расходилась. Ганну не пугала метель, даже радовала, вызывала какую-то странную веселость. Разгоняла тоскливые мысли. Что-то метельное, вьюжное билось в самой Ганне.

Сквозь всерьез разбушевавшуюся метель и вьюжную суету она чутко отзывалась на редкие уже огоньки в хатах. Метель разбушевдалась всерьез, нещадно гасила эти огоньки. Огоньки эти тревожили ее и манили: там, где они светились, чудилась Ганне жизнь, какой она не знала никогда, совсем не похожая на ее. Там с этими огоньками пробегал мимо мир, не только незнакомый ей, но уютный, наполненный светом и теплом. Мир, который чуть-чуть было приоткрылся ей благодаря Башлыкову. И который должен вот-вот исчезнуть.

Что их ждет там, в поле? В разгулявшейся метели? На самом выезде из улицы, где уже серела широкая снежная гладь, сверкнул еще огонечек, как последний зов. И она вдруг в порыве, который завладел ею мгновенно,

схватила Башлыкова за руку, за вожжи.

— Давай заедем!

Он осадил коня, оглянулся на окно. Некоторое время глядел туда. Оторвал взгляд, думал, колебался.

— Домой поздно, — сказала нетерпеливо. — Да и пурга...

Он без особой охоты подъехал ближе, сошел с возка. Постучал в окно. Там, за морозным узором, появилась чья-то тень. Башлыков попросил:

— Выйдите на минутку.

Тень еще какое-то время чернела на стекле. Потом пропала, в доме, наверное, шел совет. Наконец скрипнули двери, пропела калитка у ворот. В ней отчетливо виднелась темная фигура, можно было рассмотреть — мужчина в кожане.

— Кто тут? — В голосе его слышались любопытство и тревога. Но он скрывал их, спрашивал спокойно, почти равнодушно.

— Метель разыгрывается, — сказал Башлыков нерешительно. — Нельзя ли остановиться у вас, покуда стихнет?

Ганна заметила. Башлыков чувствовал себя неловко. Но можно было подумать, неловкость эта оттого, что надо просить, обременять людей хлопотами. Видя, что хозяин приглядывается к ним, охотно помогла:

— В Хвойники едем. Из Михалок. В гостях были, да вот поздно выбрались.

Она легко придумывала, было весело оттого, что она вот лучше Башлыкова сумела сообразить, что сказать.

Дядька пригляделся, открыл ворота. Заехали, распрягли коней, поставили в хлев, бросили с возка сено. Вместе с дядькой поднялись на крыльцо. Башлыков долго отряхивал, обивал снег на крыльце, в сенях.

Все, кто был в хате, с интересом уставились на них: и немолодая, деревенского вида женщина, что-то чинившая; и чернявая, похожая на мать девчонка лет двенадцати, сидящая за столом с книжкой. Один хлопчик, чуть помладше девочки, стриженный, белобрысый, сидел на полке у печки. Двое или трое выглядывали сверху с печи.

Ганна и Башлыков весело поздоровались.

— Попросили у вашего хозяина позволения переждать ночь. Метель разыгралась... — сказал Башлыков хозяйке, стараясь держаться проще.

— А чего ж, побудьте, — ответила доброжелательно женщина. — Тут и заблудиться немудрено. И днем, бывает, с дороги собьешься. Если в метель перебираешься с той стороны...

Башлыков, заметила Ганна, был насторожен. Перехватила, как остро окинул взором хозяина, будто проверял: не знаком ли, не узнал вдруг, кто у

него в гостях. Хотя старался держаться уверенно, Ганна чувствовала, что внутренне обеспокоен. Неспокойна была и она. Даже пожалела, что подбила его завернуть сюда. В этот миг не такой уж и страшной представлялась ей ночь в поле.

Но изменить что-либо поздно. Заехали так заехали, надо приноравливаться к тому, что есть. Повела беседу, какую надлежало вести в чужом доме, чтоб показать себя с наилучшей стороны. Поблагодарила за уют: на улице метет страх как, холод пробирает, конь умирался. Упрекнула себя за неразумность: поздно выбрались, не послушались добрых людей, уговаривали же подождать до утра.

— Правда, — рассуждала вдумчиво, — кто знал тогда, что будет, Тихо ведь совсем было!

Потом взялась расспрашивать про семью. Прежде про девочку, что склонилась над столом, как зовут, как учится, похвалила: сразу видно, что старательная. Поинтересовалась хлопцем на полке и теми, что посматривали с печи. Башлыков говорил мало, Ганна удивлялась, до чего неловким он выглядел тут. Правда, хозяин попался тоже не слишком разговорчивый, но неужто нельзя ему, такому образованному, расшевелить дядьку. Молчали оба. Одно лишь — дымили папиросами.

Похоже было, Башлыков все не мог свыкнуться с тем, что заехал сюда. Ругает, верно, себя, ее. Разозлилась вдруг на него, ну и пусть, сам виноват! Сам придумал ехать на ночь глядя! А мерзнуть в поле она не намерена! Велика охота околевать в поле в такую ночь! Тут хозяйка в разговоре как бы ненароком показала на Башлыкова: ваш муж! Ганна от неожиданности чуть не сказала всю правду, но вовремя спохватилась, ответила безразлично, будто давно уже привыкла к этому — ее «муж». Позднее не вытерпела, хитровато сверкнула глазами на Башлыкова, сдерживая смех: значит, уже муж и жена! Как он к этому, неожиданному «муж»?

Хозяйка прервала беседу, захопотала: надо же дать повечерять людям с дороги. Она сразу попросила простить, что живут бедно, да и поужинали уже, так что пускай гости не обижаются. Башлыков кончил дымить, встал, твердо сказал, что поужинали тоже совсем недавно, заехали в столовую. Ганна поддержала его. Но хозяйка знала закон: поставила миску с огурцами, миску с капустой, нарезала хлеба. Ганна для приличия взяла огурец, съела с ломтиком хлеба. Попробовала капусту, похвалила все, поблагодарила. Следом за ней попробовал и Башлыков.

— Мы вам в боковушке, — сказала вдруг хозяйка.

Ганна от этой новости замерла. Невольно взглянула на Башлыкова.

Тот не проявил беспокойства. Он уже встал из-за стола, собирався,

видно, снова задымить, потянулся в карман за папиросами. Услышав слова хозяйки, перехватив Ганнин взгляд, ответил уважительно, сдержанно:

— Не надо, — и обвел глазами лавки вокруг стола. — Нам вот тут. На лавках.

Но хозяйка рассуждала по-своему.

— Вы не думайте ничего, — успокаивала она Башлыкова и Ганну. — Там чисто.

— Я не о том, — ответил Башлыков. На миг запнулся. — Что ж мы, приехали и сразу — выселять хозяев.

— А ничего, — не отступала женщина. — У нас такой порядок. Гостю угоди, говорят.

— Гостю угождай и себя не забывай! — поддержала Башлыкова Ганна.

— Не забудем, не забудем, — заговорила хозяйка, — на полатах поспим. А вы не сомневайтесь. Там чисто. Добро будет. Идите передохните. Рано ж ехать, да и дорога не близкая.

— У вас тут на лавках хорошо, — снова попробовала отговорить Ганна. — Лучше не надо!

Хозяйка посчитала их отказ, должно быть, за обычную отговорку ради приличия. Приказав малым спать, спросив старого, закрыты ли ворота, предложила Башлыкову и Ганне:

— Лампу возьмите.

Сопротивляться было бессмысленно. Ганна для вида сказала:

— Ничего. Так постелемся.

Через открытые двери Ганна уже разглядела: боковушка была узенькая, сразу за дверью у стены стояла кровать, застланная домотканым, в клеточку одеялом. Ганна вошла туда, почувствовала, как охватывает ее озноб, колотится сердце. Ясно понимала, хозяева следят, ждут, стоять нельзя, надо действовать. С равнодушным видом сделав все, что положено, преодолевая холодок в сердце, тревогу, зашла в боковушку и вдруг разозлилась на себя: чего это она, будто на виселицу! Почуяла прилив смелости, хоть с горы головой вниз. Решительным движением сняла валенки, скинула жакет, положила на спинку кровати, у окна.

Не раздеваясь больше, быстро откинула одеяло, укрылась.

Без тревоги уже слышала, как размеренным шагом вошел Башлыков. Закрыв дверь. Впотьмах сел на край кровати, чуток подождал, будто еще подумал, стал шаркать сапогами. Снимал их. Сначала один, потом другой. Распоясался, снял гимнастерку. Делал все медленно, с трудом, как бы раздумывая — делать, не делать. Лег наконец.

Лежал неподвижно. Может, думал, правильно или неправильно

поступил. Муж и жена! Ганну вдруг разобрал дурашливый смех, едва удержалась, чтоб не захохотать.

Не захохотала. Помнила, хозяева не спят, слушают.

Он долго лежал, думал. Потом Ганна почувствовала, повернулся к ней. На плечо легла горячая рука. Погладила плечо.

— Давай спать! — прошептала она.

Он не послушался, обнял, прижал к себе. Она поцеловала его и решительно отодвинулась. Приказала:

— Спи!

Он силой притянул ее к себе. Стал нетерпеливо искать ее губы, целовать. Целовал губы, целовал щеки, шею. Загорался. Руки лихорадочно ходили по спине, по плечам. Прикасались к груди, дрожали. Она отвечала на его поцелуи, отзывалась на его ласку, ее самое все больше охватывало огнем. Хотелось сгореть в этом шальном, нестерпимом огне.

Но, когда рука его, погладив колено, быстро пошла выше, она стиснула руку, отвела ее. Выдохнула горячо, неколебимо:

— Нет.

Он или не поверил ей, или не мог удержаться. Стал домогаться, злился, хотел взять силою. Но чем больше возбуждался он, тем больше нарастало в ней какое-то несогласие, обида. Что-то такое, через что она и сама не могла переступить, что было сильнее ее.

Он не понимал этого. Не добившись, обессилев, глядел куда-то в потолок. Может, ругал ее про себя. Не мог понять.

А в ней росла обида. Обида и разочарование. Долго не могла заснуть.

Проснулась она оттого, что рядом вспыхнул огонек.

Со сна первое время не могла сообразить, кто рядом, где она. Кольнула тревога: Евхим? Потом уже припомнилось вчерашнее.

Башлыков осветил спичкой часы.

— Надо вставать, — сказал озабоченно, заметив, что она проснулась.

Он поднялся, поискал руками впотьмах, натянул гимнастерку, стал обуваться. Когда оделся, обулся, она вскочила, нашла валенки, быстро нащупала жакет. В окне было темно, видно, зорька только занималась.

Под дверью засветилась полоска света, прорезался свет и в щели сбоку от двери. В хате зажгли лампу.

— Чего ж так рано? — встретила их хозяйка, когда они, жмурясь от

света, вошли в комнату.

— Пора, — сказал Башлыков сосредоточенно. — Дорога не близкая.

— Добро ли спали?

Вопрос этот кольнул Ганну. Казалось, не только гостеприимная доброжелательность была в нем.

— А как же, — спокойно ответила. — Хорошо. Только легла, сразу как в омут. И не шевельнулась.

Хозяйка, больше для приличия, предложила, может, перекусили б перед дорогой. Но Башлыков, не колеблясь, отказался:

— Спасибо. Не хочется еще.

Ганна заметила, выглядел сегодня более скрытным и каким-то будничным. Лицо твердое, строгое. И она ощущала все буднично и трезво. Как после похмелья.

С таким настроением оба молча одевались возле порога. Завязав платок, она поблагодарила хозяйку, хозяина за то, что приютили, спасли, можно сказать. Озабоченная, вышла во двор. Башлыков задержался, уже одетый, не пошел следом, подумала, а вдруг заплатить хочет.

На дворе было еще очень холодно. Еще и не рассвело. Заметила острый прощальный взгляд хозяйки, замешательство хозяина: возможно, что-то заподозрили. Догадались, наверное, какие они муж и жена. Не дай бог, еще за ночлег платить вздумает! Вовсе удивит, насторожит...

Легче стало, когда выехали за ворота, остались одни. После метели стало проясняться, во мгле она различала хаты в стороне, которых вчера не видно было. Спустились по склону, очутились на темной, неприветливо однообразной глади. Вокруг только снег в этой просторной тишине, и они одни среди снега и тишины.

Запах снега был чистый, свежий. А в душе ни свежести, ни чистоты не было. Не было ни легкости, ни радости.

Дорога плотно занесена сугробами, и лошадь грузла, шла медленно. Ее никто и не подгонял, спешить нечего, времени было достаточно. Уже ехали другим берегом, когда развиднелось, просторно раскинулась широкая белая ровность. Почти все время Башлыков молчал, жил какими-то своими заботами, своими думами.

Когда показалась невдалеке Березовка, Ганна попросила остановиться. Сказала, пойдет дальше пешком.

— Подвезу еще, — буркнул он.

— Не надо.

Он остановил лошадь.

Она не сразу сошла. Сидела еще, уткнувшись в воротник, думала.

Потом вскинула голову, отважно посмотрела в упор в глаза. Осмелилась на то, что угнетало ее и что боялась открыть. Что будет, то будет! Пусть знает!

— Ты чего? — удивился он.

— Вот думаю. Виновата я перед тобой... Виновата. Очень. Не сказала тебе, что нужно.

— Что?

— Кто был мой муж.

— Кто он?

— Евхим. Глушак Евхим. С Куреней.

— Евхим Глушак?

Она видела, лицо Башлыкова тут же сделалось серым. Но вместе с тем Башлыков глядел на нее, точно еще не веря, будто ждал, что вот-вот скажет — пошутила.

— Вы развелись? — спросил, точно искал просвета.

Беспощадная к себе, ответила:

— Доля нас развела.

Она спрыгнула с возка. Собиралась уже идти, но постояла, повернулась к нему. Какой-то миг смотрела на него, точно ожидала чего-то, а чего, и сама не знала. Что-то взметнулось в ней. Быстро, порывисто подошла к нему.

— Вот и все! — сказала решительно, жестко. Обняла, поцеловала. Отдала поцелую, казалось, всю себя.

И с той же решительностью оторвалась. Пошла от него. Ясно понимая, что уходит навсегда. Что все кончилось.

Едва начавшись.

На этом обрывается роман Ивана Павловича Мележа.

Далее публикуются наброски, эскизы, которые остались в архиве писателя.

Наброски, планы, записи неоконченных глав романа

Тяжело, трудно и горько это – разбирать рукописи, наброски, которых недавно еще касалась рука Ивана Павловича Мележа, и попробовать из этого сложить то, что должно хоть отдаленно напоминать его произведение, которое и самому автору не виделось еще до конца.

Невозможно это – восстановить течение памяти, фантазии, многолетних размышлений, колебаний, сомнений, что стояли за каждой записью, за каждой строкой...

Но дать читателю материалы, которые могут помочь ему представить хотя бы направление работы и поисков Ивана Павловича над неоконченными главами его последнего романа, попробовать это можно. Тем более что материалы есть, остались, а некоторые части, главы представляются почти законченными и, возможно, в таком виде вошли бы в роман «Метели, декабрь», если бы Иван Павлович успел его полностью завершить и опубликовать в конце 1976 года, как это он собирался сделать.

Когда опубликованы были первые главы романа «Метели, декабрь», Иван Павлович не раз говорил о том, что все-таки, может быть, в этой книге он исчерпает, завершит «линию Башлыкова». Снова и снова возвращался к этому разговору. И еще говорил о том, что вот у Бальзака каждая книга его «Человеческой комедии» хоть и связана внутренне со всем «циклом» романов, но может существовать для читателя и самостоятельно. Ибо основные характеры в каждой раскрыты исчерпывающе.

Было и это – эстетическая потребность закончить «линию Башлыкова» именно в романе «Метели, декабрь», где Башлыкову дана была возможность раскрыться до конца. Но и еще проскальзывало в тех разговорах намерение не останавливать, не откладывать до следующего романа некоторые свои замыслы, цели, идеи, сцены, художественные находки. Скрытая тревога, что не успеет сделать, осуществить всего задуманного, поднять всю целину, которую один он видел из конца в конец. Здоровья нет – это у него звучало, как жалоба хлебороба «погоды нет»...

На листах, на листочках из блокнотов, а где и на картоне (от папок) собраны его записи, наброски, планы, а также почти законченные главы, которые должны были продолжить сюжет, углубить образы романа «Метели, декабрь», завершить это произведение.

Остались (еще ранее написанные) целые главы о дальнейшей судьбе Ганны, Василя, Евхима, Миканора, предвоенные и даже военные. Но это, видимо, откладывалось на дальнейшее – для следующих книг полесской хроники. (Покушение Евхима на жизнь Василя или Миканора – тяжело ранил при этом Ганну, – бегство Евхима за границу, возвращение в свои места вместе с немцами.)

Не может быть уверенности, что ранее, давно написанные эти главы в таком виде вошли бы в последующие книги хроники. И вообще, что все вошли бы. То, как шла, как пошла работа над романом «Метели, декабрь», свидетельствует о все большей, возрастающей зыскательности Ивана Павловича ко всему им содеянному.

И эти страницы, главы будут, разумеется, публиковаться – в собраниях сочинений, в специальных изданиях. Мы же посчитали целесообразным дать только отрывки из того, что могло быть использовано Иваном Павловичем непосредственно в романе «Метели, декабрь».

Закончив в 1965 году «Дыхание грозы» и вынашивая замысел новой книги (будущего романа «Метели, декабрь»), Иван Павлович написал на картоне от использованной для «Дыхания грозы» папки – как наказ самому себе:

Писать — сразу же — самое главное, важное, коллективизацию...

Роман должен быть динамичным. Действие, действие, действие. Смены, смены. Все ломается. Поворот за поворотом.

Драматизировать события как можно. Напряжение необходимо!.. Драматичное время. Полная драм жизнь!

Показать через личное «*страсть эпохи*».

Философия поведения героев того времени. Философия взглядов автора. И не бояться.

С этого начинается работа над романом «Метели, декабрь». Новый подход, новое ощущение материала и самого себя как писателя.

Пишу не потому, что задумал цикл и надо продолжать, а потому, что это созрело во мне и я могу что-то сказать и совсем новое...

Закончил Иван Павлович опубликованные главы романа, помните, нежданной и для обоих желанной встречей Ганны и Башлыкова, ночной поездкой в райкомовском возке — ночью, которая обещала им счастье надолго. А расставаясь, Ганна неожиданно говорит Башлыкову то, что — знает загодя — перечеркнет и эту ночь, и саму возможность подобных встреч в будущем. Она открывает, кто был ее муж.

Затем Ивану Павловичу представлялось так.

Далее: Башл[ыков] возвращается. Дома [в РК] искали с вечера, телеграмма в Минск. Звонили. Звонит: поехали уже.

Сразу собирается.

В дороге — ошеломленный — о Ганне. Ошеломлен собою: такое учинил. Как легкомысленный малец.

Временами: подшутила, может, она?

Не кулачка ли? Кулачка не кулачка, а лучше подальше...

Трусость. Какой пример он подает? Что будут думать о нем?

Пятно. Надо рвать. Хорошо — в самом начале. Никто не знает...

...Скверно: в рабочее время. В такой момент бросил работу. Личным занялся. Чем? Как затмение нашло. Захватило. Любовь. Любовь ли? Может быть, и любовь, да еще такая? А кто же знал?

Б[ашлыков], едуци в Минск, рассуждает логично и здраво.

О Ганне. Кто она? Как с ней? Не ошибся — не простая штучка. Случайно там, в школе. Далеко и высоко лететь. А вот сидит — техничкой.

Как она связалась с тем? Такая умница, крестьянка. Что толкнуло? Мать?

Как он несерьезно с ней? Не разузнав. Кто же знал такое? Сам же осудил Бориса. Неудобно было: как грубо добивался ласки ее. Стыдно стало. Словно гомельский кавалер с улицы. Что она думает о нем! Она — такая деликатная, нежная. Дала ему урок пристойности.

Омерзительно чувствовал себя. Поражало — не впервые: как он, так высоко взлетевший, мог так низко упасть. Пережитки или что — гомельские, былые. Привычки живучие. Скотские...

О ней: ум какой. Вот тебе и деревенская девка. Чем она привлекает? Откуда такая сила! Смогла же сломить долю. Ошиблась и смогла — такого зверя покинуть.

Не по себе: вот какова жизнь. С одной стороны та, с другой он. Два мира.

Писателю виделась и такая сцена:

Когда Ганна входит в кабинет.

Принимает. Достоинно держится. Стремится не показывать слабости своей.

— Как ты это, за него?

— А как ты? Со мной?

Замолчал.

— Да...

Подобрела.

— Момент! А на всю жизнь. — Горечь в голосе. — Вся жизнь — моменты. Только другие — ничего особого, а один бывает на всю жизнь. Все калечит.

— Да... Но вырвалась же?

— Вырвалась. Дальше б вырваться куда.

— Заходит? Угрожает?

— Ну, конечно, не без того. Только я не такая. Не шибко боязливая.

— Такая смелая?

— Ну не такая, а все ж.



В Минске. В комнате еще двое и секретарь. Башл[ыков] — опоздал на день. Просит у него: постановление ЦК о темпах. Прочитал.

Чувствует облегчение. Есть время. Запас времени. Собраться с силами. Секретарь также думает.

Но все выступают: перекрыть темпы. До весны.

Секретарь — его сосед — выступает: до весны.

Башл[ыков] думает: почему так? Трусость? Он не трус. Он не хочет

быть трусом, тем более что борьба. Не хочет, чтоб думали так о нем — трус, устраняется.

Апейка все же повлиял на него. «Расслабляет». «Неверие уводит». «Бороться с апейковщиной». «Довольно миндальничать с самим Ап[ейкой]». «Прочь Гайлисов и Ап[еек]». С этого начнет.

...Башл[ыков] любил пленумы: свое, единомышленники. Сила. Тут все четко. Ясны отношения.

Цвет народа, партии. Тут решаются судьбы тысяч, миллионов, народа. И он тоже решает.

Здесь сама история. И он один из участников этой великой истории.

Все это вызывало душевный подъем. Чувство значительности, праздничности. Сама обстановка, внимание и тишина в зале были значимы и торжественны.

Кажется, в разной мере, приблизительно то же чувство испытывали другие.

И уверенность. Твердость.

...Он выступает. Неколебимо — за темпы. До весны.

Едет домой. Все ясно у него.

Они приехали рано, среди первых. Около окружка стояло только два возка.

Совсем мало кожухов и пальто было на вешалке. В небольшом вестибюле перед залом, где собирался пленум окружка, как обычно, уже сидела женщина с листом бумаги. Список тех, кто прибыл, короткий.

Башлыков, веселый, оживленный, едва зарегистрировался, сразу энергично куда-то зашагал. Харчев и Апейка остались вдвоем; Харчев встретил знакомого, заговорил с ним, Апейка подался к киоску купить газету, посмотреть книги.

Только отошел от киоска с газетой, которую купил, когда Башлыков появился снова. Был он, как и раньше, оживленный, энергичный, шагал, по своей давней привычке, хозяйски уверенно, но и что-то новое, непонятное таил в себе. Это непонятное светилось в глазах, вело его с особой легкостью.

Башлыков с радостной и загадочной улыбкой уверенно взял Апейку под локоть, неторопливо оглянулся, ища глазами Харчева. Бросил одно притаенно, значительно:

— Новость!

Потянул Апейку к Харчеву.

Отвел обоих в сторону, приблизившись вплотную, доверительно объявил:

— Не зря позвали!

Он не спешил объяснять, молчал значительно и важно. И весь полнился радостью. Оттого, видно, что должно было произойти, и потому, что эту весть первый услышал, он словно чувствовал в себе особый вес: такое знает!

— Так вот оно! — сказал взволнованно. — «Это есть наш последний и решительный!..» — Он перевел взгляд с одного на другого, глаза в глаза; взгляд и предупреждающий, и вопросительный: понимаете, что начинается?

С тем же чувством особого своего значения смотрел пытливо. Будто ждал, когда дойдет до них, когда будут в состоянии разобраться как следует.

— Это новость!.. Я предчувствовал. Когда читал Сталина — выступление перед аграрниками-марксистами... Понял, начинается!.. — Закончил выразительно — «Решительное наступление! Ликвидировать — как класс!»

Снова посмотрел глаза в глаза: понимаете?

Теперь, кажется, поняли. Видя, как захватила обоих новость, улыбнулся довольно, дружески. Как бы связанный с ними известием, которым поделился.

К ним подошли несколько человек — только что с мороза. Или поняли, что здесь взбудоражены чем-то интересным, или просто так. Кто-то, заметив, что они умолкли, сдержанно осведомился:

— Что будет?

— Будет важное. — На лице Башлыкова снова появились загадочность и значительность. — Не ошибетесь.

— Надо думать! А что?

— Услышите скоро.

Он сказал мягко, но уверенно. С таким смыслом, что придет пора и вам станет известно. Надо ждать.

Как бы отделяя от всех, что не были еще приобщены к новости, весело взглянул на Апейку и Харчева.

— Спустимся! Пока собираются!

Повел вниз, со ступеньки на ступеньку. В тесной каморке, похожей на склеп, помещался буфет. За столами несколько фигур, Апейка узнал — дальние, туровские. Проголодались, что ни говори.

Они, юровичские, не были голодны. Башлыков заказал три кружки

пива, но Харчев отказался, сказал, что хочет чаю. «Погреюсь!»

— От черт, не вскипятил, — рассмеялся Башлыков, — собрался назавтра заказать.

Он горел уже радостным нетерпением.

— Приедем — списки сразу. Собрания бедноты и — решение! Под корень!

— Хватит церемоний, — поддержал Харчев, загораясь.

Апейке не понравилась эта игра — чего-то не договаривать. Интересно, что именно он знает, но расспрашивать не стал. Словно не хотел унизить себя.

Почему-то бросилось в глаза: окно напротив все в снегу, до основания. Оно и летом чуть ли не доверху под землей.

Когда поднялись наверх, было видно, народу прибавилось. Всюду группы, разговоры. Чувствовалось волнение.

Он хотел подойти к одной послушать, но позвали в зал. Все теснились у дверей. Сев у окна, Апейка огляделся: собрались руководители районов со всего округа. Руководящие работники окружкома.

Некоторые еще стояли в проходе, когда из дверей около сцены вошли в зал секретари окружкома, председатель окрисполкома, другие члены бюро, зашли за стол президиума. Все поспешили сесть, быстро наступала тишина.

Секретарь стоял, оглядывал зал.

В этой тишине женщина, которая регистрировала приезжих, деловито подошла, подала секретарю список. Он, стоя, просмотрел его, посчитал, спросил, кого нет. Не было только из Лельчиц.

— Ну что ж, семеро одного не ждут.

Апейка почувствовал, у всех было одно настроение — взволнованности и собранности. Ожидание необычного, важного. Тишина пронзала — нетерпеливая, напряженная.

За окном мело. Ветер то и дело сыпал в окно снег порывами, волнами. Подумалось: великое и привычное, все вместе. Такое начинается, а тут снег валит, крутит...

— Товарищи, — сказал секретарь. — Мы собрали вас, чтоб довести до вашего сведения весьма важный документ. Это постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» от 5 января 1930 года. Я думаю, — продолжал он деловито, — что мы прежде всего прочитаем его и тогда обсудим. Прошу

слушать внимательно.

Он сам же начал читать, стоя за столом. Апейка и весь зал прониклись вниманием. Апейка сразу отметил: «В последние месяцы коллективное движение сделало новый шаг вперед, охватив... целые районы, округа и даже области и края... Все намеченные планами темпы развития коллективного движения превзойдены...»

— Таким образом, мы имеем материальную базу, — ровно и с нажимом читал секретарь, — для замены крупного кулацкого производства крупным производством колхозов... Это обстоятельство, имеющее решающее значение для всего народного хозяйства СССР, дало партии полное основание перейти в своей практической работе от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике, — секретарь выделил голосом, — ликви-да-ции кулачества как класса.

«Вот оно, на что намекал Башлыков!» — дошло до Апейки. Он заметил, в зале зашевелились — все поняли значение этих слов.

Да, постановление было необычайно важным. Следующим пунктом оно сообщало, что предполагаемый к концу пятилетки охват коллективами 22–24 миллионов гектаров земельной площади будет значительно перевыполнен уже в настоящем году. Апейка отметил: постановление выделяло важнейшие зерновые районы — Нижнюю и Среднюю Волгу, Северный Кавказ — коллективизировать к осени 1930 года или к весне 1931. Коллективизацию других районов, Апейку это особенно взволновало, постановление намечало, «в основном», закончить осенью 1931 «или, во всяком случае, весной 1932 года».

Апейка возбужденно повернулся к Башлыкову: еще почти два года или даже два с половиной! Такие сроки их зоне, им, Юровичскому району, а не три-четыре месяца — это уже другой разговор!.. Он тут же спохватился, стал слушать дальше: ЦК требует увеличить темпы строительства заводов — тракторных, комбайновых, сельскохозяйственных. Увеличивается кредит на колхозное строительство, должны перестроить свою работу машинно-тракторные станции... А вот обращение непосредственно к нему: решительно бороться с недооценкой конной тяги, создавать смешанные конно-машинные базы. Ускорить подготовку колхозных кадров, широко организовывать ускоренные курсы для колхозников...

И еще весьма важное: главная форма колхозов — сельскохозяйственная артель, в которой коллективизированы, секретарь подчеркнул, основные средства производства. Мертвый и живой инвентарь, хозяйственные постройки, товарно-продуктовый скот... Товарно-продуктовый скот... Наркомзем вместе с колхозными организациями

должен в наикратчайшие сроки выработать примерный устав колхозной артели...

...Возглавлять колхозное движение, стихийно растущее снизу... Решительно бороться со всякими попытками сдерживать развитие коллективного движения из-за недостатка тракторов и сложных машин... Вместе с тем ЦК со всей серьезностью предостерегает... против какого бы то ни было «декретирования» сверху... могущего создать опасность подмены действительно социалистического соревнования по организации колхозов игрой в коллективизацию.

— Вот и все, — секретарь умолк, обвел взглядом ряды. Как будто хотел проверить, как дошло все, что он прочитал. Взгляд на мгновение остановился на Апейке, перешел на Башлыкова.

Воцарилось на минуту молчание. Потом кто-то бодро произнес:

— Яс-но!

Секретарь остановился, бросил взгляд туда, откуда послышался голос. В рядах зашевелились, загомонили.

Апейке было не то что непонятно, но как-то все еще переплеталось, путалось. Он лучше разбирался, когда читал сам. Мог, если нужно, остановиться, подумать, перечитать заново, чтоб запомнить, постичь глубину. Вот и теперь хотелось взять листки, перечитать самому. Однако из всего того, что смутно волновало, два обстоятельства уже и теперь выделялись особо. Первое то, что начинается новый этап в политике — ликвидация кулачества как класса; и определение сроков. Первое обстоятельство свидетельствовало, что в его жизни и жизни района происходят весьма важные события, начинается как бы новая и жестокая атака, которая потребует собранности, твердости. Второе облегчало, подсказывало выход из того критического положения, в котором они оказались. Он с радостью вспомнил и предупреждение «против какого бы то ни было декретирования сверху», игры в коллективизацию. Этим как бы вносилась ясность в его сомнения, в его споры с Башлыковым...

Секретарь спросил, есть ли вопросы по постановлению.

Кто-то поинтересовался неожиданно, что такое живой инвентарь, и в зале засмеялись. Потом, как быть с коммунами теперь — оставлять или как-то переделывать... Разумеется, оставлять. Колхозы со временем должны подняться до коммуны...

— Когда начинать это — раскулачивание?

— О сроках будут даны указания дополнительно... В ближайшее время необходима быстрота в подготовке к делу. Чтоб провести его

надлежащим образом... Я скажу об этом потом...

— Расскажите, как практически это будет, — нетерпеливо попросил кто-то. — А то есть неясность. Каждый думает по-своему.

— Практические указания дадим. Подробные, когда придет время.

Секретарь окружкома сообщил: в каждом районе, как и в округе, под руководством райкома организуются штабы. В каждом сельсовете — комиссия по раскулачиванию. Эти комиссии и должны проводить опись хозяйств и конфискацию их...

— Еще какие вопросы?

Тогда поднялся Апейка.

— Как с теми директивами, которые были даны раньше? Например, Юровичскому району.

— Какие директивы?

— О сроках коллективизации.

— Директивы надо выполнять.

Апейка ощутил упорство в себе.

— Мы должны коллективизировать район к весне. Провести всеобщую коллективизацию. Постановление дает нам срок — к осени 1931, а то и до весны 1932 года...

— Постановление дает этот срок как крайний. Для завершения.

Надо было бы сесть, Апейка заметил, что секретарю не понравились его слова. Да и все притихли, слушали. Но он не мог теперь сесть.

— Уже видно, что к весне не управимся.

— Разумеется. Если вы будете так рассуждать.

— Я думаю, — продолжал Апейка упрямо, — исходя из опыта. Из реальности.

— Вы думаете, надеясь на тихий ход. На спячку... — Секретарь окинул зал взглядом. — Есть еще вопросы?

Апейка сел. Взволнованный, плохо слышал, что спрашивали другие и что отвечал им секретарь.

Собрался с мыслями только тогда, когда первым в прениях взял слово Башлыков. Он начал с того, что сказал, какое важное значение имеет это постановление, которое является, можно сказать, боевой задачей, началом нового и решительного наступления на последний эксплуататорский класс. «Это есть наш последний и решительный бой» — вот что означает это постановление. Оно обязывает каждого из нас еще смелей идти вперед, разрушать крепости кулачества, быстрее расширять колхозный сектор.

— Задача тяжелая. Но она по плечу нам. И если мы в Юровичском районе не справляемся еще с нею, то потому, что в нашей работе многое

пускаем на самотек. Это значит, что мы должны подтянуться и действовать еще более решительно. И я хочу тут решительно отмежеваться от слов товарища Апейки. Это личные соображения т[оварища] Апейки и ни в какой степени не отражают взглядов райкома. Наоборот, они противостоят тем установкам, которых придерживается наш райком партии, вся наша парторганизация...

Он заявил, что большевики Юровичского района сделают все, чтоб выполнить свою задачу.

Как ни волновался Апейка, слушая Башлыкова, все же заметил, что выступление его по душе секретарю.

Все время, когда говорили другие, жило в Апейке желание выступить, доказать то, с чего начал спор с Башлыковым. Объяснить, что сказал не потому, что сроки желает растянуть в отличие от товарища Башлыкова, а потому, что его тревожат очень нездоровые явления, которые есть уже в районе. Многие крестьяне вступили принудительно, колхозы сегодня созданы формально, дисциплина низкая. Нельзя загонять в рай дубинкой, черт подери! И нельзя бежать наперегонки, без оглядки. Мы не дети... Правильно сказано: не играть в коллективизацию! Это не игра!

Думал, собирался и все откладывал. Или оттого, что не хватило решительности, или потому, что понимал заранее: бесполезно. Очень может быть, что сдерживала неуверенность, была в нем ненавистная ему осторожность, но он успокоил себя, вроде все и пристойно, главное, что он высказал уже...

Споры завершил секретарь.

Он начал с того же, с чего начиналось и постановление, — стал рассказывать, как стремительно идет коллективизация. Что она в целом далеко переросла все предварительные планы. Доказывал успехи примерами того, как идет коллективизация в республике, в основных зерновых районах — в Поволжье и на Кубани, в целом по стране. Он располагал, чувствовалось, самыми новыми и точными цифрами и фактами, и это вызывало интерес и доверие. И одновременно как будто поднимало его самого.

После этого стал объяснять значение перехода к новой политике по отношению к кулачеству. Напомнил, подробно то, что сказал Сталин в выступлении перед аграрниками-марксистами. Затем подвел разговор к тому, какую яростную борьбу развернуло против колхозов кулачество. Напомнил, как оно пыталось сорвать хлебопоставки в 1928 году, взять нас за горло голодом. Теперь оно перешло к открытым террористическим действиям: убивают активистов, селькоров, колхозников. Ежедневно гибнут

от руки врагов лучшие люди.

— Перед нами на ближайшее время стоит серьезнейшая задача: нанести решительный удар по кулачеству! По последнему эксплуататорскому классу! Ядовитый сорняк — прочь с большевистского поля! С дороги прочь! — Его слова поддержала бурная, горячая волна аплодисментов. Переждав аплодисменты, он заговорил строго: задача чрезвычайно ответственная и тяжелая. Нет сомнения, что враг свои позиции добровольно не сдаст. Он всюду, где только сможет, будет оказывать сопротивление, не исключено, что и вооруженное. Это потребует большевистской смелости, твердости и бдительности. На решение этой задачи надо будет поднять всех коммунистов и комсомольцев, весь районный актив, бедняцкие массы крестьянства... В наших рядах не должно быть никакого колебания, никакой растерянности. Надо решительно бить по правооппортунистическим настроениям. По всяческой мягкотелости, слюнтяйству!..

Слушая это, как бы протрезвев после первой информации, Апейка уже без прежней уверенности думал о своем недавнем споре. Была в нем неясная тревога и неловкость за себя, за невоздержанность. С беспокойством ждал, что скажет секретарь, когда начнет говорить о темпах. Не минет его, не иначе, не минет...

— Постановление ЦК внесло полную ясность и в вопрос о сроках коллективизации, — дождался наконец Апейка, стал вслушиваться, весь внимание. — Нашей республике, как вам известно, установлен срок — осень 1931 или, во всяком случае, весна 1932 года... Что значит этот срок? Этот срок означает время, к которому мы должны закончить коллективизацию в округе. Короче говоря, это крайнее время, к которому мы должны решить задачу. Означает ли оно, что мы обязательно должны стремиться прийти только к этому времени? Нет. Если б мы думали так, то это было б похоже на то, что пятилетку надо выполнить только в пять лет. А наш народ, наша партия решили иначе — пять в четыре! Ясно, что и задачу, поставленную перед нами, мы должны так же решить. Добиваясь наикратчайших сроков, сокращая их до минимума. Мобилизуя все, все силы! Только такой ответ является большевистским ответом! Всякий другой ответ будет потаканием оппортунизму. Будет попахивать правым уклоном!..

Апейка не мог не отметить: была в этом своя правда. Но разве он, Апейка, имел что-либо против этого. Он же говорил про реальную возможность.

— Есть тут «реалисты», — как бы предчувствуя возражения, сказал

секретарь, — которые считают взятые нами темпы нереальными. Которые, фактически, считают, что нам надо ослабить темпы. Отпустить поясок. Дать поблажку себе... Так они, — в голосе секретаря послышалась насмешка, — поняли постановление ЦК. Но мы понимаем его иначе. Мы понимаем его так, что нельзя демобилизовываться! Нельзя ослаблять движение. Нельзя ослаблять удар по врагу! И никакой паники!

— А у кого паника? — вспыхнул Апейка.

— У тебя, например.

— У меня ее нет. И не было.

— Ты только что продемонстрировал ее!

— Я говорил о том, что есть в нашем районе. Реально.

— Я знаю, ты реалист. — Снова насмешка. — Некоторые реалисты вообще сомневаются, стоило ли браться, начинать коллективизацию!..

— Я из тех реалистов, которые писали это постановление, — нашелся Апейка.

Секретарь, покраснев, мгновение молчал.

— Это мы посмотрим! Из каких ты реалистов!

Когда кончилось совещание, столпились в вестибюле, около вешалки, одни подходили к Апейке, пожимали руку. Будто выказывали уважение, поддерживали. Другие обходили, отводили глаза в сторону. Осуждали.

Харчев подошел спокойно. Апейка почувствовал даже уважение к себе — не иначе, за откровенность, за смелость. Вряд ли за взгляды. Что до Башлыкова, Апейка понимал, ругает за все. Тут понятно. Это ощущалось и в еще более откровенной сдержанности, и в том, как избегал встретиться взглядом.

Произнес Башлыков только одно, считает, сразу же надо ехать.

Апейка кивнул. Нельзя было тратить время попусту.

Одевшись, вышли на мороз. Сели в один возок Башлыков с Кудрявцом, в другой — Апейка с Харчевым.

Лошади сразу же рванули вниз, к реке. Впереди возок Башлыкова, за ним Апейкин. Апейка понял, едут кратчайшей дорогой — через реку.

Быстро побежала навстречу набережная. Деревянные обшитые дома и каменные, одно- и двухэтажные, узенькие тротуары. Дома по обе стороны поначалу бежали на одном уровне, дальше — на разных. Справа — поднимались по склону горы, слева — прятались за берег, так что виднелись иногда одни крыши. Справа вставали крутые склоны горы, а слева, за рядами домов, белела сероватая снежная гладь реки.

Она все шире прорывалась меж строений, дома встречались реже.

Пошли одна за другой приречные вербы. Между верб свернули с берега и, подгоняя коней, стали съезжать к реке. Легко побежали ровной колеей, поскрипывая по наезженному снегу. И в непривычной ровности дороги, и в топоте копыт четко ощущался под снегом лед...

На реке вольнее налетал, бился встречный ветер. Сильнее забирал мороз, крепчал под вечер. Кружил снег.

Быстро густел унылый вечерний мрак. Уныние придавали мерзлые купы лозняка справа, темный, едва заметный пояс леса.

Чем дальше, все больше темнело, все больше вихрилась метель. Рысью бежали кони, легко плыл возок, стегал ветер, а облегчения на душе у Апейки не было. Может, от этой тьмы, что обступала все плотнее, от этой снежной суетни. Так не по себе, неприятно было ему. И холод, и тоска, и непокой.

Может, виновата темнота, которая все густела. Что-то печальное, непонятное было в этой темени.

Может, от темени или от езды дремалось. Вероятно, от езды: давно уже привык, едучи, дремать, чтоб отдышаться и время скоротать. Все же в дремоту, в уныние лезло разорванное, разное, и мелкое, и значительное, и просто невесть что. Ни с того ни с сего увидел луг с кустами лозняка близ реки, себя с косою. Луг залит солнцем, и все вокруг сияет. Почувствовал внезапно в себе ту былую радость и силу. На какое-то время вернулся к реальности, закачались перед глазами крупы коней, замотались хвосты, заскрипел тоненько снег. Потом снова нахлынуло: Бойкова из орготдела сочувственно пожала руку. Как будто пожалела, подтвердила свою верность. Пришло то грустное, вроде виноватое чувство, что было к ней. Знал, равнодушна к нему, не может забыть, смириться, все словно надеется на то, чего нет. И что вызывает всегда и чувство вины перед ней и жалость. Бойкова, Зина Бойкова, знаю, что на всем свете нет друга надежнее, чем ты. Знаю, что бы ни случилось, не отступишься, не изменишь. Вот другие могут, а ты нет. Тотчас память вызвала Веру, навеяла грусть. Вера не отвернется тоже. Не отойдет. Но почему порой она не понимает его? Почему не доходит до нее?..

Снова мотались хвосты, крутило снегом, мело. Снова задремал. Вырвался из дремоты, во внезапном возбуждении подумал: высказал наконец, что думаю, на таком собрании. Перед всем окружкомом. Перед самим. Почувствовал радость, как всегда, оттого, что сказал честно то, что не просто было. Сказал. Сразу же нанизывалась досада: а что толку? Никакого толку. Только раздражение у первого... Обвинил, как маловера какого-то. Как ненадежного.

А Башлыков в своем репертуаре. Молодчина Алексей! Вовремя выступил и как надо. Это засчитается. Посмотрим только, как ты исполнишь свои клятвы. Наконец, не так уж важно, как ты исполнишь, важно, что сказал как надлежит.

Всегда хорошо кричать: вперед... Слышал, стремление вперед — вперед изо всей силы, без оглядки — захватило многих, широко. Не остановиться и не остановить. В постановлении не зря сказано про «игру», про декретирование. Может, это так, для вида! Хотя игра и декретирование очевидны. Слепому видно.

Все же стало веселее, когда поле открылось шире и проглянула вдаль дорога. Будто специально для них в постановлении: осень тридцать первого или, во всяком случае, весна тридцать второго. Что бы там ни говорили в окружке, а постановление ЦК — это постановление ЦК. Видно по некоторым выражениям, Сталин писал. «Осень или, во всяком случае...» — его стиль. Теперь срок этот — совсем другое!.. Совсем другое дело...

Захватили мысли о раскулачивании. Очевидно, надвигается решительный момент. И потому, что понимал это, больше, чем когда-либо, тревожила неясность. Еще слишком много неясного. Куда девать этих раскулаченных? На заброшенные земли? Где они, те заброшенные? И какой смысл в том, чтобы собрать кулаков вместе, создать поселки? Кто-то — кажется, на сессии ЦИК — правильно сказал об этом. А больше тревожило: не все ясно в том, кого практически раскулачивать. Ну, есть явные, тут понятно, а сколько таких, где и так, и так можно считать? Где все станет решать искренность и сердце того, от кого это будет зависеть. Как будут решать, если кое-кто думает, лучше перегнуть, чем недогнуть. Тут, конечно, необходим внимательный контроль районного руководства. Но как будет контролировать Башлыков, судя по всей его прежней линии?

И в это, как ни отгонял, нагнеталось свое: Савчик. Тоже из тех, о ком можно и так, и так решить. Очень, очень может быть, что и решат в ту сторону. Очень может быть, тем более что дурень, как нарочно, выхваляется. Сам на рожон лезет. Апейковская упрямая порода!.. Не только порода, а и глупость. Нарочно лезет, чтоб доказать, мол, и он не хуже брата, которому из-за него жестко сидеть в председательском кресле. С таким и впрямь в случае чего могут и так, и этак решить. Который сам любит о себе напомнить, может, и на беду свою.

Все же твердо решил: что бы там ни было, в судьбу Савчикову не вмешиваться. Как будет, так будет.

Башлыков чувствовал себя уверенно. На ветру, что холодил лицо, в

беге возка как-то особенно брало нетерпение. Хотелось быстрой езды. И мысли бились живые, нетерпеливые и беспокойные.

Он вспомнил выходку Апейки и свое выступление. Знал, что Апейка поступил по-глупому, не сомневался в этом, а сам, тоже был уверен, выступил хорошо. Сказал как положено. Отмежевался, дал правильную политическую оценку. Он, все видели, правильно политически действует и правильно нацеливает район... Заявление Апейки явно разоблачило его как человека с оппортунистическим настроением. С явным правым уклоном. «Деятель» этот открыл себя партийному активу, руководству окружкома. Фактически показал, на ком лежит большая вина за отставание района. Мелькнуло скрытое, омерзительное: в случае чего вина наибольшая ляжет, конечно, на Апейку. Тут же отогнал: ни на кого он спихивать вины не будет. Он ответит за все и все возьмет на себя. Уклоняться не станет. Но он не доведет до беды... Не допустит прорыва. Он выйдет вперед... Обстановка явно благоприятствует скачку вперед. И он, Башлыков, решит быстро...

Он чувствовал в себе силу. И с этим ощущением подумал об Апейке: надо его поступок разобрать на бюро, и незамедлительно. Дать политическую оценку до того, как это сделают в окружкоме. Хватит споров, постоянных уговоров. Сегодня же на бюро дать оценку его выходке. Серьезно предупредить... Довольно миндальничать...

Думал о постановлении. Названные в нем сроки вызывали противоречивые чувства: и как бы гарантию — на всякий случай, и вместе с тем похоже было, что сроки у них будут сокращены. Но куда больше его волновало то, что он узнал о раскулачивании. Надо сказать, что он, хоть и скрывал это, был несколько разочарован. По тому, что услышал по секрету перед совещанием, ждал большего. Ждал практических и решительных действий. Неотложных. Это вытекало из того, что он уже знал из выступления Сталина. Постановление же, хоть и звучало сильно, как будто повторяло прежнее, давало только общие указания, не ставило практической задачи, которую он ждал. И какую, по его мнению, надо было поставить... Время было действовать уже и здесь!..

Во все это важное лезло непрошенно, назойливо то, что он не открыл бы никому. И темень, и снег, и бег возка чем-то напоминали другую темень и другой бег, другую ночь. И так напоминали, что временами терялась разница, чудилось, что та же и темень, и дорога, и она. Он как бы ощущал ее рядом. Не рядом, а в себе. У него ныло внутри от ее близости. И, как в бреду, мелькало в памяти все, что было: и первое застолье у Параски, и встреча один на один в ее комнате, и первая в замети ночь. Ночь, необыкновенная, позорная и прекрасная, в чьем-то чужом доме. И то

протрезвление, когда расставались. Когда она сделала страшное признание. Когда он думал, что между ними все кончено. Когда он так легко и просто принял это. Как освобождение.

Каким все оказалось обманом — облегчение, освобождение. Не освободился, а только сильнее привязался. Прямо на беду. Привязался так, что не разорвать. Чем больше старается он разорвать, тем больше чувствует, как крепко связаны. Скованы. Наперекор здравому смыслу, разуму. Сознанию, в которое он так верил и верит.

Ах, как нужна ему она. Как он чувствует ее, ее руки, щеки, губы. Как слышит ее голос. Как видит ее глаза, один взгляд которых зажигает его, делает подвластным ей. Если бы он верил в предрассудки, мог подумать о какой-то сверхъестественной силе. Но он сознательный человек, он знает, что ничего сверхъестественного не может быть. Есть физиология и есть сознательность. Низкая, от диких предков физиология и высокая классовая убежденность — великое приобретение человека нового времени. Каким он, безусловно, является. Почему он думает о ней, которую так мало знает, с запятнанной биографией, если так много настоящих девушек — товарищей, каждая из которых рада была бы протянуть ему руку?

Или проклятое наследство, которое брата увлекло в нэпманские объятия? Проклятая сила, которая опутывает, губит людей, столько загубила? Он с отвращением думал о брате и вот, кажется, сам несколько не лучше. Хуже даже, потому что от брата всего ожидать можно было. А вот он, Алексей Башлыков, руководитель района, человек такой закалки, сильной воли...

«Не надо было начинать. Сразу надо было зажать, задушить! В самом зародыше... Не надо было рисковать. Хорошо, что обошлось так, что не знает никто. А если б дознались... Да и разве легче от этого — знают, не знают, сам-то знаешь!.. От себя не спрячешься». Грызет совесть. Нечистая совесть.

Прочь, прочь надо гнать. Не думать, Не может же быть, чтоб нельзя было одолеть. Если, наконец, нельзя уже иначе, познакомиться с кем-нибудь. С толковой какой-нибудь дивчиной, своей по духу... Верно, пора пришла...

Соскочил с возка, стоя в снегу чуть не до колен, пропустил его вперед, трусцой побежал следом. На бегу в голове билось: пора пришла, пора пришла...

Долго ехали правым берегом меж кустов голой лозы. Раз за разом лошади влезали в наметанные сугробы, ступали тяжело, натужно. Потом

пошли сосны, лес. Близилось местечко.

Когда в темноте засветились желтоватые огоньки, Башлыков поравнялся с Апейкиным возком, подошел твердым шагом.

— Бюро соберем.

Апейке послышалось в голосе что-то напряженное, нехорошее. Как бы угрожающее. Не выходя из возка, ответил хрипло:

— Бюро так бюро. Перекушу и приду.

Заехал домой, пообедал без аппетита. Вера смотрела вопросительно, ждала новостей мозырских, но он не стал рассказывать. Не было времени и не было желания.

Когда приехал в райком, Башлыков с Харчевым сидели за столом Башлыкова. Сбоку, около стены, пристроились еще два члена бюро. Остальных пока не было, ждали.

Башлыков с Харчевым проглядывали списки. Апейка заметил, на открытой странице был как раз список жителей Глиниц. Башлыков смотрел возбужденно, нетерпеливо.

— Вот где пройтись надо! — сказал убежденно.

Не мог никак забыть собрания. Красным карандашом с нажимом поставил несколько галочек.

Когда подошли остальные, отложил список, поднялся, энергичный, полный желанием действовать — будто и не было дороги, нелегкого дня, — молодым, звонким голосом стал рассказывать про пленум окружкома, постановление ЦК. Отметив, что в постановлении указаны сроки коллективизации, что это вносит полную ясность в вопрос, одновременно объяснил, как бесспорное, что сроки эти крайние и что задача, почетная задача наша в том, чтоб перекрыть их в минимальное время. Только так большевики района должны понимать свою задачу. С особым подъемом, как о самой важной, Башлыков рассказал о той части постановления, где говорилось о новой политике по отношению к кулаку. В голосе его, в молодой, обтянутой аккуратной гимнастеркой и военным ремнем фигуре крылись сила и решительность. Задача эта, бесспорно, самая ответственная и тяжелая, и ее надлежит выполнить со всей большевистской твердостью, не допуская никаких колебаний.

Апейка слушал Башлыкова с настороженностью.

«Каждый вычитывает в книге то, что понравится...» — невольно думалось Апейке. Но больше смущало его в этот момент другое: Башлыков ни словом не коснулся его, Апейки, выступления. Решил не уводить внимания в сторону?

С этим недоумением он и слушал, что говорили члены бюро. Голоса

были взволнованные, постановление затрагивало весьма острые, близкие всем вопросы, жизнь района, жизнь каждого из них. Апейка, слушая эти голоса, некоторое время колебался, высказать свои соображения или промолчать. Соображения эти тревожили, не давали покоя, но жизненный опыт останавливал. Высказался уже. Да и стоит ли излишне задираться.

Все же не вытерпел, будто подтолкнул его кто-то. Щадя самолюбие Башлыкова, не задевая его, мягко обратил внимание на указание о сроках, на предостережение от «игр». Увидел, как наливаются лицо Башлыкова, суживаются глаза. А в глазах неожиданно злой блеск.

Что значит это злорадство? Откуда оно?..

Сразу после Апейки разговор утих, кое-кто заговорил о своем, о личном. Решили, что бюро кончается. Но Башлыков заставил всех умолкнуть:

— Есть еще один важный вопрос. — Голос его был жестким. — Я обязан доложить бюро о выступлении товарища Апейки на пленуме окружкома. Товарищ Апейка в полный голос высказал сомнение в тех сроках, которые мы взяли. Он призывал снизить темпы. Своим выступлением он проявил неверие в наши силы, призывал к ослаблению классовой борьбы. Его позиция, в общем, капитулянтская!

— Ого! — насмешливо бросил Апейка.

— Выступление было решительно осуждено, — голос Башлыкова еще набрал силу, стал настойчивее. Несокрушимо пошел дальше: — Мы должны отмежеваться от заявления товарища Апейки. Как заявления, которое не соответствует мнению бюро, расходится с ним! Осудить его как, по существу, непартийное заявление.

Апейка сразу поднялся, слово за словом отметал предъявленные обвинения. Говорил горячо, зло, насмешливо, и это, чувствовал, убеждало. Убеждало в главном, что он ни в чем не погрешил против постановления. Против мысли товарища Башлыкова — может быть, а против постановления — нет. Башлыкова его выступление и злоба, и насмешливость раскалили, и он заговорил еще более жестко и напористо. Стояла тяжкая, неслыханная тишина. Люди недоумевали. Этот узел взялся развязать Харчев. Он не похвалил Апейку за выступление, упрекнул за то, что оно может привести к расслабленности, демобилизовать. Но не поддержал и жесткого тона Башлыкова, его выводов. Это, однако, не уменьшило той отчужденности, которая возникла между Башлыковым и Апейкой.

Бесконечно долго, казалось, шло обсуждение, большинство членов

бюро ощущали неловкость, пытались примирить их. Этому явно способствовал Харчев, которым, не скрывая этого, Башлыков был крайне недоволен. Наконец приняли предложение заведующего отделом пропаганды: «Считать, что в своем выступлении т. Апейка высказал свое личное мнение, и указать ему на неправильную тенденцию, которая может привести к смычке с правым уклоном».

Расходились почти все молча, утомленные, с ощущением той же неловкости. Башлыков остался в кабинете, за столом. Склонив голову, начал снова разбирать бумаги.

Он не скрывал недовольства.

Местечко спало. Дома тонули в темноте. Ветер притих. Покой и мир чувствовались вокруг. Апейка, тоже крайне утомленный, удивлялся такому слепому спокойствию. Спят и не чувствуют, какие события подступают к этим окнам и дворам. Спят и видеть ничего не хотят.

Было в этом глухом, вековечном покое ночи и как бы умиротворение, меньше чувствовались неприятности, тревога перед их размахом. По мере того как неприятности отдалялись, в посвежевшую от морозной ночи голову врезались разговоры о подлинном значении того, что сбылось, что начинается, разворачивается.

Харчев, усталый, шел молча, и это словно сближало их.

— Все-таки ты, брат, подумай, — сказал неожиданно Харчев как бы издалека. До Апейки не сразу дошло.

— Ты что? — не понял Апейка.

— Атака начинается, понимаешь? А ты подпругу хочешь отпустить. Перед самым прыжком. Знаешь, что может быть?

— Знаю. Седло с седоком под коня может уйти... Так?

— Знаешь.

— Да ты ж тоже знаешь, что не всякую позицию с наскока взять можно! Вот я о чем.

— Черт его разберет тут! Только, я убежден, и зевать нельзя. И сила нужна! Силой брать надо! Без силы тут ничего не сделаешь.

— Да к силе ум нужен. С умом надо за силу браться!

Харчев промолчал. Потом сказал откровенно:

— Не нравится мне, что он, Башлыков, не по-товарищески как-то поступает. Скажи ты, умней он всех и правильней. Все нули без палочки перед ним... — Подумал, добавил: — А так мужик смелый. Далеко пойдет!.. — Добавил невразумительно: — Если не споткнется!

Снова шел молча. Уже около дома проговорил задумавшись:

— Д-да, живем! Не соскучишься!

Разошлись каждый к своему крыльцу. Двери не были заперты. Вера сразу зажгла лампу, стала собирать ужин.

Апейка ел без охоты, привычно зашел в боковушку посмотреть детей. Они спали. Постоял возле них, испытывая нежность и внезапный наплыв грусти, повернул назад. На этажерке лежали сегодняшние газеты, взял, развернул. Стал читать, но смысл того, что читал, не доходил.

Снова подступила недавняя тревога, всплывали неприятности. Будто заново вернулся на пленум, будто снова повторил, что сказал, что услышал в ответ. Припоминались жестокие, злобные слова Башлыкова. Он встал, закурил, заходил по комнате.

— Что случилось? — встревожилась Вера.

Он нахмурил брови недовольно — не спрашивай. Она и не пыталась, но он чувствовал, следила за ним, старалась догадаться сама. И он не выдержал, коротко и будто шутя, намеренно легко пересказал ей, что произошло.

Она выслушала внимательно и поняла всю серьезность случившегося. Она вообще была человеком, не в пример ему, очень осторожным. Молчала, и это молчание растревляло Апейку, словно упрекало.

— Не задирайся, — сказала она потом. Так, как говорила ученикам. — Один ничего не сделаешь. — Немного позже: — Там, наверху, тоже думают. Обдумали.

У нее была слабость — как более трезвая, более практичная, она поучала его. Слабость еще смолоду. Апейка не любил эту черту в ней вообще, а сегодня нотации жены просто раздражали его.

Она или заметила это, или догадалась.

— Тебе больше всех нужно, — сказала мягко, ласково.

Лежа рядом, долго не спали. Думали, конечно, об одном. Но Апейка не сумел преодолеть отчужденности. За упрек, за поучительный тон ее злился, за нечуткость.

Он понимал ее: за детей волнуется, за судьбу семьи. Но это не оправдывало ее и не смягчало отношения его к ней. Разве он не думает о них, не заботится?

Он понимает ее, а вот она не может понять. И, чуть только что нависнет, всегда это недовольство ее и непонимание.

Словно один остался. Когда так необходимо чувствовать друга рядом.

Что делать? Что будет?

Интересно и важно, вероятно, отметить такую особенность работы

Ивана Павловича: события, сюжет — это также «планируется» в его набросках, записях. Но основное внимание направлено на характеры. Разгадывая характеры, открывая их для себя и в то же время создавая их, «планируя», писатель планирует и строит свой роман. Башлыков... Ганна... Апейка... Дубодел...



Башлыков

Башл[ыков], в сущности, человек малограмотный. Раньше мало учился. Не до того было, надо было зарабатывать. Потом тоже не до того, заботы другие. Только месячные курсы, лекции, доклады. Газеты урывками. В сущности, следил за тем, чтобы быть в курсе событий. Был в курсе, но все по верхам. Поверхностный весь.

Ссылался на Ленина. Но Ленина самого почти не читал. Не знал. И совсем не читал ни Маркса, ни Энгельса. Что же касается других философов — просто отбрасывал как никчемное.

Неуч, по сути, убежден был в своей исключительности. Смотрел на других свысока. Жило где-то в глубине его ощущение своей исключительности.

Как же, человек в курсе всего, что происходит. Ему все ясно.

Дать Башлыкова изнутри. Его понимание времени, событий. Ему все ясно, просто. Он гордится этим... Считает себя выше Апейки.

Башлыков убежден, на таких, как он, все держится. Боец. Не уклоняется.

Он не хочет знать слабости. И не будет знать (Ганна).

Башлыков на распутье. Что делать? Никогда никого так не желал.

Женился бы. Жена кулака. Пропадающая жизнь.

Сама же не кулачка — из бедняков. Докажи потом. Все равно тень.

Сердечные муки (первые). Сердечные муки Башлыкова.

Гордится своим рабочим происхождением. Апейке: какой ты рабочий! Ты обыкновенный городской люмпен-пролетарий.

Хотя, по-моему, происхождение — далеко не все. Рабочий — покажи, какой ты. Они тоже пестрые. Разные. Не надо ссылаться на происхождение... Происхождение происхождением, а надо совесть иметь. И голову.

Ганна как-то приходит в райком. Засомневалась. «Свое счастье подсекла». Встреча в райкоме. Башл[ыков] неприступный.

Ганна все поняла. Идет назад: баба дурная. Знала же: не ровня. Надо было сунуться.

Успокаивает себя: хорошо — все ясно. А хотелось плакать.

Ганна решила поехать в местечко. Начать новую жизнь. Не век же

техничкой. Ведет ее прежний совет Башлыкова.

Приходит к нему. Он словно закаменел. Жена кулака.

Не подает руки (помощи).

Апейка

После того как Башл[ыков] обратился в о/к [окружном], приехал человек проверять Апейку, готовить бюро. Апейка предвидел, чем кончится. Хорошего не жди. Волнуется, и в это время — так не в пору — брат. Явился.

Брат приехал к Апейке. Апейка возвращался и увидел его коня.

Приехал с братом и отец. Жалеет обоих. Дали землю. Хозяйствуй. Веди культурно хозяйство. Выписывай, читай журналы. Поддерживай культуру! Грамоты давали! «Апейка — культурный хозяин, берите пример!»

Апейка брату: иди в колхоз. Если примут.

— Дулю.

— Раскулачат.

— Ну и пусть! — Злобно. — Пусть! Все одно!

Их, апейковское упрямство. Глупое упрямство. Зло у Апейки на него. Прямо ненависть. Балда, ничего не хочет. Семью погубит. Всех погубит.

Вспоминает потом, как брат важничал. И гордился грамотами. Если бы правильно все пошло.

Беспокоится за себя (ищет оправдания себе). Надеется на справедливость.

Секретарь окружкама, старый большевик, колеблется: наказывать ли Апейку? Понимает его правду. Но жизнь подталкивает секретаря. Требует от него. Он поддается жизни.

Они подгоняли жизнь, жизнь подгоняла их.

Вопрос их был вторым. За дверью чуть слышны голоса.

Апейка, Башл[ыков], Харчев сидели молча. Башл[ыков] иногда вставал, прохаживался, смотрел в окно. Стройный, красивый, энергичный.

Есть в нем привлекательность, признал Апейка. Харч[ев] просматривал газету. Апейка не читал и не думал. Удивительно, ни о чем не думалось. Даже чувства ожидания не было. Ни беспокойства, ни тревоги. «Прошли тревоги».

В приемной еще много народу. То переговариваются, то молчат. Сосредоточенность, общая.

Вышел помощник секретаря, сказал:

— Тов[арищи] Башл[ыков], Апейка, Харчев, прошу вас.

И вот уже за дверями, там. Башл[ыков] приветливо, с достоинством поздоровался. Апейка также кивнул. Отметил тишину и внимание. Есть нечто особенное в этой тишине, во взглядах. Будто первая проверка. Состояние, как у школьника. Как первый раз на экзамене. Где ему могут поставить неуд!

— Прошу садиться, — вежливо, по-деловому пригласил секретарь.

Он объявил их вопрос — о руководстве Юров[ичского] райкома и райис[пол]кома коллективизацией в районе и о мерах усиления темпов ее.

— Я думаю, первым дадим слово тов[арищу] Башлыкову, как секретарю райкома.

Башл[ыков] легко, уверенно поднялся.

— Сколько вам требуется времени? По программе-минимум? Пять минут достаточно?

— Постараюсь уложиться.

Апейка просто позавидовал его умению докладывать: четко, ясно. Умению держаться. Заметил, члены бюро слушали с вниманием, благожелательно. Он же никак не мог преодолеть мрачного настроения, хотя знал, что это ему не на пользу. И не мог собраться с мыслями. Разбросанность непростительная.

Так всегда, упрекнул себя, когда заранее «подготовишься».

Отметил правильный тон доклада Башлыкова: после краткого вступления строгая самокритичная оценка. Сдержанность, деловитость, самокритичность — идеал руководителя.

— Я думаю, вопросы потом. Вместе товарищам Башл[ыкову] и Апейке. Согласны? — Взгляд на Апейку доброжелательный. — Товарищ Апейка.

Апейка с минуту молчал. Чувствовал, как затянулась пауза. Тишина. Начал не так ясно, четко, легко. Слова не слушались, раскалывались. И некоторая будто фальшь была в голосе. Сам ощущал: неприятный голос,

неприятная манера говорить. Неестественность. С чего это? Может, понимал, что он не просто докладчик и дело вовсе не в том, что скажет. А в том, что скажут другие. Нет, и его слова важны. И они будут значить. Почему же он так неудачно выступает?

За каждый фразой заминка, тяжелые, корявые слова. И внимание невольно сосредоточилось на постороннем: Васильев что-то самозабвенно рисует, на окно вспорхнула синичка. На склоне горы за окном мальчик. Беспечный мальчик.

— Вопросы?

— Что там у вас с Гайлисом, прошу более подробно.

— Я думаю, об этом скажет товарищ Кондратович, — Васильев кивнул в сторону инструктора.

Башлыкова попросили рассказать о шефской работе в колхозах. О методах пропагандистской работы. Он снова заговорил легко, гладко и, было видно, нравился.

— Ну, что ж, слово товарищу Кондратовичу. — Васильев выразительно взглянул на инструктора. — Пятнадцать минут... Товарищ Кондратович выезжал в район, изучил вопрос, — объяснил он. Поставил галочку на листке бумаги.

Апейка насторожился: пошло главное. Кондратович начал с общего. Положение в районе тяжелое (будто у кого другого легкое). Сроки коллективизации неудовлетворительные. (Район, правда, не последний, это правильно.) Обострение классово-борьбы в деревнях, прямые выступления кулацких элементов. Особенно плохо с государственными показателями. Большая задолженность по налогам. Варварское уничтожение скота. Все это справедливо.

— Такое, прямо скажем, угрожающее положение накладывает на руководство особую ответственность. Требуется особая твердость, решительности и деловитости. И партийного единства.

В последних словах Апейке послышался особый смысл.

На бюро окружкома. Докладывает инспектор.

— В такой ответственный момент разброд в руководстве. Мы тщательно разобр[ались]: кто виноват? Тов[арищ] Башлыков — молодой руковод[ящий] выдвиженец, недавно на ответственной работе секр[етаря] райкома. В новых условиях, в с/х [сельском хозяйстве] время тяжелое. Тов[арищ] Башлыков — энергичный, преданный. Деловитый. Тов[арищ] Апейка — старый, опытный работник. Знает район. Должен был бы понять положение. Каз[алось], окажет помощь молод[ому] руковод[ителю]. Вместо

этого повел себя неправ[ильно]. Надо открыто сказать: тов[арищ] Башл[ыков] проявил стойкость.

— Мы расследовали причины. Тов[арищ] Апейка и раньше страдал либерализмом. Поддержка чуждым элементам, оппортунизм. На чистке указано было.

В последнее время, когда Башл[ыков] стал навод[ить] порядок, Ап[ейка] откровенно занял оборону. Странная, мягко говоря, позиция.

— Выводы?

— Выводы. Мы считаем, что необходимо принять срочные меры, оздоровить обстановку. В первую очередь в руковод[стве]. Мы считаем линию т[оварища] Башл[ыкова] правильной. Деловая сторона — удовлет[ворительная]. В отнош[ении] тов[арища] Апейки комиссия считает необходимым потреб[овать] строгие парт[ийные] выводы. В том числе оргвыводы.

— Конкретно?

— Комиссия предлагает: тов[арища] Апейку освободить от занимаемой должности. За проявленные колебания в провед[ении] линии партии тов[арищ] Апейка заслуживает исключения из партии.

Апейка предпол[агал] многое. Но не знал, что наплетут столько. Все собрали. Раздули.

Дело Апейки разбирают в окружке. Припис[ывают] ему все, И давние «грехи» офицера, Степана. И брата его. И чистку. Не учел уроков.

...А главное — нетерпеливость и нетерпимость тех дней. *Жесткость обхождения. Психоз.* (Апейка чувствует психоз.)

Чувствует, что оправданий не слушают, и это расслабляет. Не находит сил в себе.



Кончить Башлыковым. Приехал домой. В кабинете. Довольный. Устранил с пути все препятствия. Путь свободный. Район в его руках. Он поведет район как следует. До победы.

Дорога. Башлыков едет. На лошади. День морозный, хмурый. После раскулачивания. Объезжает район.

Правда, режут скотину. Кой-где припрятывают инвентарь. Агитация. Есть указания не останавливаться. Озлобленность.

Но это второстепенное. Главное — лед тронулся. Сопротивление врага сломлено. Вот главное.

Коллективизация идет полным ходом.

Район стал на новые рельсы.

Недолго и до сплошной. Можно будет доложить — задание выполнено.

Он не обманул надежд, которые возлагали на него. Оправдал. Теперь притихнут те, кто стал было сомневаться в нем.

Он твердо вел линию. И победил. Не поддался нытью, подобно некоторым слюнтяям. Например, Апейка. С иронией: знаток крестьянской души! Жизнь! Учитель непрощеный! Со своей гнилой мягкотелостью! Явно с правым уклоном! Теперь ты видишь, чья правда!

Насколько легче стало, когда убрали его из райисполкома! Когда перестал тянуть время назад. Когда кончился разнобой!

Да, тяжело, конечно, ломать! Сам он, Башлыков, разве не понимает, не видит! Но в том и сила — задушить жалость к себе, показать твердость! Преданность свою!

Он показал! Показал — и доказал! Про Харчева: неплохо в целом! А все-таки тоже колебался. Иной раз тянул Апейку. Втягивал...

Итак, поворот — испытание. Немногим удастся.

Башл[ыков] с Ганной намеренно строг, официален. Будто мстит за слабость свою.

Время от времени Башл[ыкова] берут сомнения. Задумывается. Но душил сомнения, как слабость.

Старается быть твердым.

В тот день, когда надо было ехать в Мозырь, Башл[ыков] зашел в райком. Надо посмотреть последние сообщения, еще раз проверить на всякий случай, что подготовлено.

Когда он читал, явился Миша со свежей газетой. Башлыков завел такой порядок, что газеты, особенно «Правду», сразу приносили в райком. Секретарь райкома должен быть в курсе событий в стране первым.

Газета как бы приближала к жизни страны, давала ориентацию. По газетам Башл[ыков] определял и свои задачи на ближайшее время.

Пришла как раз «Правда», номер за 1 февраля. Глаза сразу выделили боевой заголовок: «Не назад, а вперед». Башл[ыков] развернул газету, торопливо склонился над передовой. Что-что, а передовую надо прочесть, отправляясь в такую дорогу.

...Башлыков выхватил карандаш и стремительно подчеркнул наиболее

важное: «Представители правого уклона на практике будут фактически саботировать...», «Сплошь и рядом сидят и в колхозах, и в партячейках, и особенно в сельсоветах...», «*Решительное преодоление их сопротивления* — одно из необходимых условий быстрого и твердого проведения этих мероприятий...»

«Мы поставили перед собой задачу ликвидации кулачества как класса. Это серьезная и большая политическая задача... — Башлыков быстро пробежал первые строки, все это было известное, общее. Но дальнейшее уже взволновало, захватило энергией: — Разрешение ее требует *большевистской твердости и решительности* и в то же время *умелого и правильного подхода, тщательного учета политической обстановки* в каждом... районе».

Вторую часть этого предложения Башлыков принял с одобрением, но спокойно. Это были аксиомы, каких он никогда не забывал, какими всегда руководствовался; в чем другом, а в политическом взгляде на вещи, Башлыков знал, он был сильным. И умения в подходе также не надо было одалживать. Это касалось других. С привычной пронизательностью Башлыков отметил главное: большевистская твердость и решительность.

Дальнейшие строки подтвердили его догадку. «В наших местных организациях, — с нетерпением пробежал он глазами, — есть элементы, которые до сих пор не усвоили лозунга ликвидации кулачества как класса в районах всеобщей коллективизации, которые до сих пор топчутся на месте и не принимают решительных мер против кулака».

Башлыков выхватил карандаш и стремительно подчеркнул наиболее важное: «...которые до сих пор топчутся... и не принимают решительных мер против кулака», «представители правого уклона на практике будут фактически саботировать», «сплошь и рядом сидят и в колхозах, и в партячейках, и особенно в сельсоветах», «*решительное преодоление их сопротивления* — одно из необходимых условий быстрого и твердого проведения»...

...Ощутил в себе прилив радости: каждая строка подкрепляла его линию, подтверждала его партийное чутье. Он с тем же рвением вчитывался дальше, но тут пошло другое, которое разбредило тайные сомнения, вселило тревогу: «Существует и другая опасность. Необходимо с самого начала предостеречь от попыток возможных административных перегибов, от попыток замены и подмены администрированием *самодетельности бедняцко-средняцких масс* в деле ликвидации кулачества...» «И нужно решительно предупредить малейшие тенденции распространения тех мероприятий, которые партия проводит против

кулачества, и *только против кулачества*, на середняка...»

Путало мысли его предупреждение, что могут найтись товарищи, «которые пожелают практически поставить вопрос о раскулачивании вне районов сплошной коллективизации». После рассуждения о том, что темпы коллективизации в разных районах страны разные и, значит, разная политическая обстановка, снова подкрадывалась мысль, что ликвидация кулачества может вестись только в районах сплошной коллективизации, что для других районов остается в силе прежний лозунг отмежевания и вытеснения кулачества.

Конец статьи, как и начало, захватывал бодрим, боевым настроением: «За двенадцать лет мы поднялись далеко вперед, на высшую ступень. И на этой высшей ступени мы даем последний и решительный бой остаткам капитализма в нашей стране... В этом бою мы *победим*... Партия сумеет с непоколебимой большевистской твердостью и выдержкой это дело довести до конца».

Башлыков, как очень важное, подчеркнул эти строчки и стал собираться.

...Когда он потом в дороге вспомнил статью, душу охватило уныние. Уныние, вызванное той неясностью, которая осталась после чтения, после разговоров о разной политической обстановке и разных методах борьбы с кулаком. Тревожило предостережение от перегибов, о подмене администрированием *самодеятельности* масс. Все это вызывало в душе противоречивость, которая путала все.

Самодеятельность масс... В душе Башлыков не то что слабо, а можно сказать, почти не верил в эту самодеятельность. Он был убежден, что надежда на нее, на самодеятельность, в сущности, чистый оппортунизм, он так бы и сказал, если б не газета. И, как ни был высок авторитет газеты для Башлыкова, он не мог отвязаться от мысли, что там есть пункты, которые могут быть использованы разными маловерами, охотниками топтаться на месте, а то и врагами, которые обрадуются такой поддержке.

Стремясь, как всегда, к ясности, определенности в мыслях, поймал себя на том, что самое важное сказано в начале статьи. Там, где говорится о засилье правых саботажников, о той, что необходимо решительно отбросить их, твердо вести линию на ликвидацию кулачества. «Не назад, а вперед» — вспомнил он название статьи, увидел в этом как бы весь смысл. Вперед быстрыми темпами.

Чутьем своим понимал, что статья эта предсказывает: начинается бой с кулачеством. Видимо, по этой причине и вызывают в округ, и, значит, в

Мозыре ожидает не отчет, не обычное совещание, а совещание перед боем, перед последним и решительным наступлением.

События в местечке, где свои драмы, страсти, проблемы (Башлыков — Апейка — Харчев и т. д.), и события в деревнях (Глинищах, Куренях) в планах-набросках Ивана Павловича все время следуют одно за другим; как в зеркале (увеличительном) отражается в деревнях то, что делается, завязывается в Юровичах, в Минске, что приносят газеты.

Вот наброски из главы, которая названа «Жизнь в мест[ечке]».

На полях: Апейка говорит, что комиссия в выводах на стороне Башл[ыкова], что Ап[ей]ку будут слушать. Первый недоволен. Апейка предчувствует, что ему влепят. Что только? Беспокойство. Буду обороняться. Докажу. Слабая позиция. Ветер в лицо ему, в спину Башл[ыкова].

Едва вошли, Башл[ыков] приказал дежурному позвать Мишу. Когда тот появился, попросил созвать членов бюро.

— Завтра на десять всех секретарей ячеек и председателей сельсоветов.

Он был радостно взволнован. Полон желания действовать. Взволнованный, но, пожалуй, более суровый, расхаживал по комнате Харчев.

После совещания все по сельсоветам, к вечеру сходы бедноты. Вынести решение и сразу приступать.

— К вечеру навряд ли удастся, — сказал Апейка. — Люди могут быть в отъезде.

(Создать комиссию по раскулачиванию.)

Местных активистов-комсомольцев — мобилизовать. Кудрявец Миша.

Наедине Б[ашлыков] думает о Ганне. Перед списками раскулач[иваемых] тоже. Намеренно — твердость. Не поддастся глупой мягкотелости.

На бюро.

Башл[ыков] весел, все время подъем. Как наступление, и он командир. Башл[ыков] информирован о том, что было в окружке. Завтра совещание с утра. Распределили членов бюро по сельсоветам.

Еще продолжалось бюро, когда во дворе послышались голоса. За Харчевым в соседнюю комнату ввалилась шумная толпа.

(На полях: местные активисты-комсомольцы, молодежь. Радость, смех, кипение. Миша.)

Члены бюро. На бюро. Важное сообщение: совещание секретарей партячеек с/с [сельских Советов], уполномоченных по раскулачиванию. Историческое, можно сказать, совещание.

Съезжались сани, возки. Первые заворачивали во двор, устраивались там. Двор был небольшой, последние останавливались у изгороди на улице.

Привязывали коней к изгороди, бросали сено лошадям и один за другим направлялись в здание. В тесном коридоре толпились в кожухах, ватниках, пальто. Крючков на вешалке свободных быстро не стало, начали сбрасывать одежду на стол в углу. Кое-кто входил одетый в зал заседаний.

По всему зданию шел оживленный разговор, временами взрывался смех. В этом гомоне можно было увидеть покрасневших с мороза Миканора, Дубодела. Миканор встретил знакомого, тихо заговорил с ним. Гайлис, во френче, суховатый, собранный, сразу втиснулся в кресло в зале ожидания. Дубодел ходил, искал, громко здоровался, казалось, не знал, куда приложить силу...

В коридоре появился Миша, хозяйским взглядом окинул зал, поздоровался за руку с теми, кто оказался ближе. Он живо вернулся в коридор и тут столкнулся с Башлыковым. Башлыков нетерпеливо спросил: кого еще нет? Миша, который на людях вел себя особенно церемонно, ответил, что нет только из Тульгович, но они выехали...

Наконец приехали из Тульгович, и в небольшом зале заседаний райкома опустилась тишина. Тишина важного совещания: все, кто был здесь, уже знали, какое событие предстоит им обсудить. И какая ответственная задача перед каждым из них будет поставлена.

Башлыков, деятельный, собранный, коротко рассказал о постановлении ЦК (сделав особый акцент на той части, где говорилось о переходе к новой политике по отношению к кулачеству. Как бы подтверждая свою решительность в этом вопросе, напомнил, что сказал Сталин: «Смешной вопрос!.. Снявши голову по волосам не плачут!»).

Тем, как строго держался и скупно говорил, он как бы подчеркивал, что задача потребует четкости исполнения и суровости. Очень быстро, так же кратко, решительно он перешел к практике. Объявил, что создан районный штаб по раскулачиванию, сказал, кто входит в него, назвал уполномоченных по каждому сельсовету. Объявил, что в каждом

сельсовете этой работой руководят комиссии, что они должны начать действовать с сегодняшнего дня. Предупредил, что, не исключено, могут быть попытки к сопротивлению, поэтому призвал быть бдительными, действовать решительно.

На вопросы отвечал так же кратко, точно. За ним коротко выступили Апейка и Харчев. Рассказывали, как конкретно должно проводиться раскулачивание; посоветовали особенно следить за тем, чтоб как следует был проведен учет собственности. Чтоб предупредить попытки воровства... Харчев объяснил, как быть с теми, кто попробует сопротивляться...

Списки тех, кого рекомендуется раскулачивать по сельсовету, объявил Башлыков, будут даны сельсоветским комиссиям, каждой отдельно.

Когда Миканор, Дубодел знакомились со списками, Башлыков подошел к ним, спросил Миканора, на какой час они могут собрать свою комиссию.

Сказал, что сегодня приедет к ним сам, чтобы подготовили сход бедноты в Глинищах.

Взволновало посреди дороги, когда увидел, как сквозь строй старых берез стал приближаться перекресток, где они виделись вчера и где договорились встретиться снова. Вот перекресток, а вот и дорога в лес, где они были. Его лес, их лес. Невольно оглянулся в ту сторону, где была школа и она. Подумал, а не покажется ли вдруг на дороге. Ни ее, ни даже школы не видно было. Белое ровное поле только.

Когда Баш[лыков] неожиданно узнал о Ганне (убежала от кулака), думал о ней — как отнестись?

Говорил с Параской в Глинищах. Почему приютила кулачку?! Та отвечает — горячо хвалит Ганну. Двойственность Баш[лыкова] по отношению к Ганне. Понимает, нужна бдительность, и заинтересованность все же.

Более законченными выглядят наброски о том, как и что происходит, делается в это время в Куренях.

До самого Нового года боролась зима с осенью. Оттепели и туманы вступили в схватку с морозами, съедали снег, оголяли мокрую угрюмую землю.

Под Новый год чуть не неделю валил с низкого неба снег, а в самом начале завихрилась, запуржила белой пылью метель.

Перебесившись, метель обессилела, затихла, и Куренями овладела

звонкая морозная тишь. Под глубоким голубым небом остро блестела холодная белизна, морозно поскрипывали шаги на улице. Скрипели мерзлым деревом колодезные журавли, зелено поблескивала наледь на колодезных срубах.

Жили, похоже, будничными заботами. Кое-кто пробовал по снегу пробиться в лес — привезти дров. На дворах там и тут можно было услышать шарканье пилы, тюканье топора. Протоптанными тропками сновали из хат в хлевы — к скотине.

Вечерами из-под низких стрех мигающе выглядывали желтые огоньки. Потрескивали половицы на крыльце, чисто звучали задиристые молодые голоса, плелись сдержанные пересуды стариков. По всему селу, как заведено, собирались на вечорки. Ночи были звонкие, лютые, как пушки, бухали в стенах окоченелые бревна. Раз за разом поднимался неистовый собачий лай: каждую ночь Курени осаждали волки, из леса доносился погребальный вой.

В такую пору в хлевах скотина стригла ушами, храпела, испуганно кидалась из угла в угол...

Внешне эта зима походила на другие зимы. Но схожесть ее в самом деле была обманчива. За как будто привычной будничностью обещала она, как и минувшее лето и осень, близкие перемены.

Еще по бездорожью добралась в Курени новость: есть приказ раскулачивать. Вскоре новость эту, как можно было понять, подтвердили и газеты, которые принес Андрей Рудый.

Все предложения и пересуды в Куренях вертелись теперь вокруг этого. Наверно, потому, что многое было неясно, особенно то, кого будут раскулачивать. Все бросились выяснять. И бросились прежде всего, разумеется, к Миканору и Андрею Рудому.

В эти дни особенно возросло значение Андрея. И не очень-то хозяйственный, и не наделенный властью, он на глазах многих возвышался теперь чуть не над всеми Куренями, как личность, которая обстоятельно знает, что делается повсюду, а значит, и что надвигается на каждого.

Целыми днями в его хате не закрывались двери.

Почти каждый, завязывая разговор для приличия, одним-двумя обычными вопросами, каким-нибудь предложением, затаив дыхание, обостренно-осторожно примеривался:

— Говорят, его, кулачить будут?..

Андрей обычно прежде, чем ответить, затягивался, дымил сигаркой. Углубленный в себя, важно молчал. Показывал, что не впервые слышит, понимает, что значит вопрос. Спокойно подтверждал:

— Будут. Сталин объявил.

Сказал так, будто Сталин сам лично объявил ему.

— В газете, это, написано?

— Есть в газете.

— М-гу...

Что тут говорить: написано в газете — значит, твердо.

Кое-кто из недоверчивых просил показать газету, грамотеи впивались глазами в строчки.

Газету быстро замусолили, и Андрей показывал ее с большой неохотой, с осторожностью. Не напоказываешь всем, беречь надо.

— По волосам, сказал, не плачут...

— Не плачут. Ишь ты!

Случалось, на это важное Андреево замечание откликались не понимая:

— Как это?

— А так... — Андрей молчал, и это молчание значило больше любых слов.

— Кого это будут? — почти неизменно слышал Андрей. — Тех, на которых твердое задание, или как?

Андрей хорошо понимал смысл вопроса, отвечал с надлежащей значительностью:

— Определят. Специально.

Загодя знал уже следующий вопрос, это волновало всех особенно:

— Дак а кто определять будет?

— Будет разъяснение. Дополнительно.

Андрей объяснял спокойно, покровительственно. Его тревоги эти не волновали, они, можно сказать, не касались Андрея. Событие это даже как будто его забавляло.

Все говорили, рассуждали о политике. Рассуждали заинтересованно, озабоченно. Развелось в эту зиму политиков в Куренях!

И удивительно ли, хочешь не хочешь — станешь политиком. Никому не хотелось быть слепым. Все старались разобраться, что ожидает. Во всем разобраться...

Такие же разговоры велись и в хате Миканора.

Миканор возвращался из Алешников, наскочил на волчью стаю. Едва вырвался. Хорошо, что мужики сзади подъехали.

Заведя разговор с Миканором, прежде всего начинали про это. Миканор сначала с намеренной веселостью рассказывал, как было. Потом отговаривался скупым словом, зачем хитрить — давайте про главное.

Он не стоял будто в стороне, как Рудый. Объяснял просто:

— Будем раскулачивать. Как класс... Всех, кто стоит поперек колхозов, сбросим с дороги.

— Как всех? Тут только про кулаков!

— Каждый, кто не идет в колхоз, играет на руку кулакам. Ведет кулацкую линию и, значит, заодно с кулаками. Пускай и получает — как кулак... Думали, хаханьки вам! Плести попусту не будем!.. А то собирают их, сход за сходом, а они как оглохли!

Миканор не скрывал и радости, и гнева.

— Товарищ Сталин ясно сказал: по головке гладить не будем. И головы жалеть не будем. Коли кто станет поперек.

Мать, слушая эти разговоры, качала головой и крестилась.

— Миканорко, что это ты говоришь: голов жалеть не будем? Это так можно с людьми?

— Мамо, людей теперь нет, есть трудящиеся и есть кулаки. Такая наша политика.

— Не можно так с людьми, Миканорко!

— Не лезь ты, старая, не в свое! — вмешался Миканоров отец. Отца, видно было, захватило то, что сказал сын.

— С корнем вырвем эксплуататорский класс! Хватит уже, повозились!

В каждой хате обмозговывали, обсуждали новость. Заранее старались разобраться, что она значит для каждого.

Обговаривали ее и Чернушки.

— Халимончика и Евхима первыми! — сказала нервно мачеха. Сказала прямо-таки с радостью.

Чернушка взглянул на нее: вот злыдня.

— Етих сразу... — согласился. Как бы пожалел.

— Копил, копил Халимончик. И все прахом!

— Копил...

— Задрал нос. Первый богатеи! Не дотянуться!

— Дотянулись же.

— Дотянулись! Язык у тебя поворачивается! — Мачеха плюнула от злости, dokonчила свое: — Обравняют! Советская власть всех обравняет! Коли уже взялася, то обравняет.

— Такая уже ты сознательная стала.

— Сознательная.

— Гляди, чтоб и тебя не обравняли!

— А чего меня обравнивать? Нечего обравнивать. Голые, спасибо богу, с тобой живучи.

— Своячка ж как-никак.

— Было. Да сплыло.

Мысли ее обрели другое направление.

— Как знала, скажи ты, Ганна!.. Это ж так додуматься впору!..

— Додумалась! — Чернушка вздохнул.

Эта его замкнутость вывела ее из себя. Как на никудышнего, взглянула: не понимает выгоды своей, дурень.

— Теперь Евхим отцепится.

— Отцепится...

Отцепится ли? У Чернушки, похоже, не было уверенности. Не представлял, как оно там повернется. Ничего не ясно было. Скрывал страх: как бы Евхим в отчаянии, со зла не отомстил Ганне. Теперь этому все будет нипочем. Беспокоило, что все это близко подступало к Ганне.

Как бы там ни было, оно добавляло новую неизвестность в ее судьбу.

Халимон Глушак еще в тот первый день заглянул к Рудому.

Говорили при нем мало, осторожно. Он нарочно держался спокойно, глядел на Рудого, как на мудрейшего. Вопросы ставил деловые: кто будет назначать на раскулачивание, сколько наберут кулаков по Куреням, куда денут тех раскулаченных.

Андрей объяснял, а он покорно слушал.

— По нонешним временам дак самый большой кулак ты. Газету имеешь. Тебя б и раскулачивать первого.

Не засмеялся. Попросил газету таким тоном, что Рудый не отказал.

В тот же день принес газету, аккуратно свернутую, положил перед Рудым, сказал, что теперь все ясно.

— Берутся за мужика как надо. А то воли много было у него...

Шаркая лаптями, сгорбившись, побрел из хаты.

Больше не показывался на люди, сидел в своей хате.

...Зайчик понес от него по селу, что первых раскулачат — для примера. Что позднее пустят по ветру всех, кто захочет жить по-своему.

С теми редкими посетителями, что заглядывали к нему, был приветлив и ровен. Держался так, будто показывал, что совесть его чиста и что будет, то будет. Он готов на все.

Почти все время маячил при нем понурый Лесун. Смотрел так, будто искал выход, спасение.

— Дак ето все? — выволок он из себя с трудом. Когда остались одни, выпили по чарке.

— Все. Конец.

Лесун молчал, молчал и дико рыкнул:

— Нет!

— Все, Прокоп. Старцами, нищими пойдем. Корку хлеба просить...
Побираться...

Прокоп в отчаянии втянул голову в плечи, затрясся.

Глушак поставил ему еще чарку, хотел сказать что-то, успокоить. Но Лесун отвел резко его руку, замычал, тяжело поднялся.

Не застегиваясь, без шапки, двинулся из хаты. Глушак догнал, надел шапку на него.

Вечером не зажигали лучины. Лежал на кровати под кожухом, пока не застучали в сенцах шаги. Встал, вышел навстречу со свечкой. Двое незнакомых, не куреневских спрашивали Евхима.

Евхим был на своей половине. Старый проводил их. Зажег лампу. Евхима растолкали, он лежал грудью на столе, в дымину пьяный.

— А, Ц-цацура! — зло процедил он.

Глушак узнал одного: душегуб из Горотниковой семьи.

Старый попрекнул Евхима строго: нельзя так гостей встречать.

Тот, кого звали Цацурой, безобидно улыбнулся. Ничего, мы свои.

Евхим пришел в себя, обмяк, попросил к столу. Бутылка была почти пустая. Старый успокоил:

— У меня есть. И закуску найдем.

Когда вернулся, между парнями был мир.

Старый понял, не так просто пришли. Знал, что могут следить, заметить гостей. Но рассудил, осторожность теперь ни к чему, все равно конец. А может, что полезное скажут.

Пили, причмокивали губами, жевали хлеб. Говорили ни о чем. Спьяна корили Евхима, что один, в холостяках.

— Такой мужик! А как жеребец необъезженный!

— Жеребцу и лучшая воля, — сдержал себя Евхим. Скрыл, что разговор ему неприятен. За больное задевает.

Старому нравилась их беспечность. Все вроде и не так безнадежно.

— Погуляем, покуда можно.

Уже когда выпили крепко, Цацура открылся:

— Докуль сидеть будем?

— Мало уже и сидеть осталось... — кручинился старый.

— Мало. Как цыплят, по одному раздавят...

— И так, и так одно...

Под этим, всем очевидным, жило такое, что открывали только немногим, своим. И такое, что хранили в себе.

С первыми сумерками Маня накинула кожух, озабоченно выбралась из хаты. Вернулась она не очень быстро, из-под кожуха вытащила что-то завернутое в полотно, положила на стол.

— Сало, — возбужденно доложила. — Батька — как туча. От Халимона вернулся. Не говорит ни с кем. Мамка плачет: «Будет ли приткнуться где, как из хаты выкинут?..» Неужто выкинут?

Василь недобро отвел взгляд. «Спрашивает. Знал бы кто».

— Не выкинут, — пожалела Василева мать. — А коли что такое, на улице не останутся.

— Ой, не скажите!

— Не останутся.

Маня поутихла.

— Коня, говорит, забрали б... Пусть был бы у вас, добрый же очень конь... И овечек можно бы...

В ее глазах застыл вопрос.

— Самое время брать, — буркнул возмущенно Василь.

Дятлиха не встряла в спор.

Долго стояла тревожная тишина. Тишина эта и обособливала каждого и связывала. Вдруг Дятлиха объявила:

— А Петриковы записались.

— И вовремя, и с умом, — подтвердил с печи дед. — Чтоб не поздно было.

— Аге!

— Как сымут голову, не приставят потом!

Василь не отозвался.

В общем беспокойстве все понимали: вплотную подступила беда. Когда будут раскулачивать, наверняка прежде всего — за Корчами — дело коснется Маниного отца. Прихватят Прокопа, а там, не дай бог, не напали бы и на них, на Дятликовых. Свояки же, одной веревкой связаны.

К этому примешивалось и другое: Маня много добра принесла, а только как бы это боком не вышло. Вдруг докажет кто на них, начнут докапываться, обыскивать, найдут?..

Если Прокопа раскулачат, то, конечно, надо будет дать приют, А кто приютит его и жену его, и сына, как не дочь, не Маня? Стало быть, надо внести в хату головешку, из-за которой и самим загореться недолго.

Вот как оно повернулось, родство это, с ним. Как гиря на шее, так и тянет ко дну. Невольно поймешь беспокойство матери, которая хитро подступает, не записаться ли загодя. Пока не поздно...

Непросто откликнулась в сердцах многих куреневцев опасность, что

подступила к Глушкакам.

Не надо думать, что он был совсем одинок, как это могло показаться. Обособленный от других, он одновременно связан был со многими. Связан невидимыми нитями, но крепко сплетенными — родственными отношениями.

В этих отношениях время, новые нравы и распри многое подорвали, ослабили. И все же в Куренях Халимон Глушак оставался своей родной кровью. Он приходился близким ли, далеким ли родичем чуть ли не четвертой части села. Судьба так распорядилась, что по материнской линии он, как об этом не раз напоминала мать, был свояком самому Миканору.

Кой-где ослабевшие, родственные связи в Куренях все же крепко чувствовались и почитались. Извечные связи эти обязывали держаться друг друга, помогать друг другу. Они сводили вместе на родинах, на крестинах, на свадьбах.

Закон этот крепок до сих пор, для многих он неприменная обязанность, заповедь отцов и дедов, знак человеческого достоинства.

Глушак в былые времена не очень-то жаловал своих, но, как бы там ни было, внешне твердо держался закона: в надлежащее время — на праздники — неизменно приглашал свояков к себе и сам ходил к ним с соответственным угощением. Придерживался он закона и в большем. Хоть и скупой, и со скрипом, но помогал не раз и не одному. Было и такое, что в суровую годину вытаскивал просто из голода, из беды. Помощь эта, правда, почти никогда не оставалась безвозвратной. Платили Глушаку обычно работой, помогали жать, молотить. В конце концов, неизвестно, кто больше имел выгоды из всего, но об этом никогда не думали. Руки человеческие в Куренях не стоили ничего. Добрый же Глушаков поступок помнился и ценился.

Если Халимон Глушак поддерживал родственные связи раньше, то не удивительно, почему дорожил он ими теперь. Глушак, случалось, иногда просто приводил в замешательство своей благожелательностью и даже сердечностью. То молока принесет Зайчику, у которого пала корова, то сало ни за что Сороке, куме своей, для сына ее, чтоб рос быстрее! Родственная солидарность — Глушака просьба-совет — не допускала особенно до чужих глаз такие мелочи, что он кое-кому давал и семена тайком и брал с него потом этот долг, чтоб «с голоду не помереть». И помогал лошадьми также по-родственному, за родственную же отплату.

Известно, в Куренях было немало таких, которые радовались, что вот и на старого хрена нашлась управа. Как ни крутил, ни вертел, а нашлась. Но

много было и таких, что в тяжелом его положении старому сочувствовали. Одни по-родственному, так принято, другие и просто от души. Не у одного в Куренях, особенно у женщин, сердца были мягкие, жалостливые.

Не раз упрекала сына за то, что не помнит закона, нападает на своих, Миканорова мать. И в тот вечер, когда говорили о раскулачивании, после того, как ушли все и Даметики остались одни, предупредила, как мудрейшая:

— Не кидайся ты шибко, Миканорко... Не бери грех на душу...

— Грех, мамо, теперь стоять в стороне. — Миканору неохота было спорить. Но старая будто не заметила. Несогласно pokrutila головой.

— Чего хочешь говори. А на людей грех кидаться, Миканорко. Да еще на своих... — добавила с намеком.

Миканор сразу понял.

— Кто его свой? Халимон? — Миканор опустил ложку в борщ.

— И он, — твердо ответила старая.

— Мамо, я такую родню не признаю, — заявил Миканор. — Сказал уже...

— Свояки. Родня чистая. — Старая не первый раз талдычила: — Он и я — двоюродные брат и сестра. А батьки наши дак родные были. Близкая родня.

Даметиха взглянула на старого, как бы просила поддержать. Тот неохотно откликнулся с полатей:

— Знает уже. Охота плести.

Старая не хотела отступаться. Не теряла надежды.

— На крестинах твоих был. Материи фабричной подарил тогда три метра. Перкаля в цветочки... И потом гостинцы приносил. Ты маленький был, не помнишь.

Миканор встал, недовольно заходил по хате, аж стекла зазвенели от шагов.

— Мамо, етые разговорчики чтоб я не слышал больше. Ясно?

Миканор сказал так, что она поняла: дальше говорить об этом не следует...

За разговорами, за привычными занятиями жила в Куренях большая, непомерная тревога.

На самом разломе жизни пришла она в Курени в эти морозные дни.

Тревога эта была разная у разных людей. Но было одно для всех общее. В Куренях из месяца в месяц все больше убеждались, что жизнь, как льдину, выносит на большую воду, а по льдине этой ползет, ширится опасная трещина. И нельзя медлить, надо выбираться или на ту, или на

другую сторону...

В этой сумятице, что полнила куреневцев, свой, особый мир был у тех, кто вступил в колхоз. Он не был однородным, как не были одинаковыми и сами колхозники. С того времени, как легко и весело сошлись в семью первые, самые смелые, вошли в колхозный дом еще полтора десятка хозяев. Вошли они в большинстве не так уверенно, как предыдущие, и не так легко чувствовали себя под новым кровом. Не раз и не одного брало сомнение, не дал ли он маху, уступив напору, изболевшись прежде, чем сделал тяжелый шаг. И не один такой высматривал, не подвернется ли случай, чтоб отступить назад.

Таким те новости, что приближались, приносили как бы успокоение, уверенность, что совершили неотвратимое, что и другие никуда не денутся. В тех тревогах, какими жили, коллектив был для всех в центре размышлений. Для одних он стал уже своим домом и миром, для других виделся как близкое грядущее и, похоже было, неизбежно ожидал впереди.

Что бы там ни было, коллектив обретал для всех особое значение. Все, как будто совсем разные, приглядывались к нему как к живому прообразу того, что их ждет.

Как самое главное, личное сохраняли то, чем жили: доили коров, кормили коней, кабанов, готовились к весне. По заснеженной, занесенной целине колхозники пробивали пути в лес, возили бревна для конюшни. Использовали мороз, что проложил дороги там, где летом была топь.

Вечерами и свои, и чужие, еще неколхозные, толклись нередко в Миканоровой хате. Внимательно вслушивались, встречали в хозяйственные разговоры. Встречали осторожно, опасаясь притронуться к колхозному, скрывая свои желания.

И все же приглядывались, выбирали, старались загодя определить: что будет?

Чем дальше, тем больше утверждалось в людях чувство, что, как там ни гадай, придет, и, может, в скором времени, их пора. В этом убеждали не бесконечные сходы, на которых перед ними настойчиво выдвигали одно — идите, вступайте, — а то, что настойчивость эта с каждым месяцем и неделей все крепла. И не только на словах. Как к сигналу нового наступления отнеслись куреневцы и к последней новости, которая, по их мнению, касалась многих.

Эти морозные дни были порой чуть ли не самых бурных переживаний в Куренях.

Беспокойство *не убивало вовсе надежд*. Люди тешили себя надеждами, тем, что может еще повернуться и к лучшему. Но надежды не развеивали

волнения.

Топили печи, кормили скотину, носили воду по утоптаным скрипучим тропинкам, возили сено. Жили будто привычной жизнью, но весь уклад, как заведено исстари, заметно ослаб. Жили уже неуверенно, не чувствуя ни былой ясности впереди, ни твердости под собой.

Нередко стыли холодом хаты, звала некормленная, ненапоенная вовремя скотина.

От понимания того, что надо отдать ни за что, загубить самому нужное, родился совсем иной взгляд на добро свое, на хозяйство.

Необычное творилось с людьми: еще недавно расчетливые, бережливые, они теперь не слишком дорожили имуществом своим — каждую ночь из хлебов вырывался предсмертный визг или мычание. Воздух теперь сильнее, чем когда-либо, пропитан был запахом жареного, запахом сытой жизни. И резали, и жарили тайком, прячась от соседей, а тем более от начальства, можно сказать, с большей, чем всегда, оглядкой.

Делали так, будто хватились и боялись не управиться. Отчаяние заливали самогонкой, оттого, что отчаяние, тревога за завтрашнее точили все же. Нарочно взбадривали себя, охотно предавались веселью. Пропитанное хмелем, оно хороводило в хлевах и хатах Куреней.

В тех дерзких разговорах, что прорывались среди захмелевших родственников и друзей, мудро советовали друг другу: «Пустить надо все!..», «Пожить хоть разок — перед коллективом!», «Казна богатая — все даст снова. Из города привезут!»

Как бы там ни было, день за днем все меньше и меньше оставалось в Куренях овец, свиней, телят.

Было бы несправедливо сказать, что в Куренях вообще не думали о завтрашнем дне. Думали, как всегда и, может, даже больше, очень большая жила тревога. Хозяйственных тревожил призрак черного дня, голода. Предвидя заранее, волнуясь, делали что могли, чтоб встретиться с этим днем не с голыми руками. Запасали, прятали все, что могло сохраниться, не портиться. Мешки с зерном и картошкой, торбы с крупами давали некоторую надежду-уверенность на случай черного дня.

С беспокойством за черный день, за то, что невозможно предвидеть, приходило и еще одно. Прятали-закапывали, засовывали в потаенные места наиболее важное для себя — упряжь, ось, новое колесо, уздечку, — все, что могло потребоваться на случай, если доведется ладить хозяйство наново...

Хоня глядел на все, что происходило в Куренях в эти дни, веселыми

глазами. Никогда не было еще так интересно здесь! А, зашевелились, закрутились, припекло. Заходило болото. Лежало, лежало тихое, и вот на тебе, будто черти взбеленились в нем.

Как не смеяться было Хоне, если видел такую трусливость, видел, на какие хитрости идут, чтоб обмануть кого-то. Как кололи, резали, жарили и ели столько, что животы трещали. Если б могли, дак и хомуты и колеса перегоняли б наверняка на горилку или жарили. Потеха, и только!

Весть о раскулачивании Хоню обрадовала. Не надо было быть пророком, чтоб заранее предсказать: первыми под раскулачивание пойдут Корчи. И что старому вырвут корень, рад был, но особо тешило, что собьют спесь вконец молодому Глушаку, Евхиму. Строит из себя. Все ему нипочем. Брала опаска, как бы Евхим ни выкинул чего, когда прижмут, однако опыт подсказывал: ничего не сделает. Кишка тонка, мигом развернутся, скрутят — не та пора!

Чернушка смотрел на всю эту одержимость с сожалением. Сочувствовал людскому беспокойству, не судил строго: люди не виноваты, что опасаются. Каждому добра хочется. Не осуждая людей, Чернушка без злорадства думал и о Глушаке. Как-никак, а Глушаки все ж таки родственники, хоть и никудышные; старый прав, когда напоминал: что бы там ни вышло у Евхима с Ганной, а им нечего есть друг друга. Чернушка и не имел охоты есть никого, мирный характером, он и тут за лучшее считал мир. Не принимал Чернушка злости. Не только потому, что знал, убежден был: злость родит злость, месть — месть. Что толку из всех этих склок? Сказал это и жене, но та не поняла, вся была полна отмищением Глушакам. Полна ненависти к ним, ко всему свету, и откуда набралось столько...

В отношении к Глушаку он рассуждал так: всем надо жить, надо и ему. Обрезали, придержали — это хорошо, а дак пусть живет. Что богатый был, дак то было раньше, да и один ли он к богатству рвался. Разве другие, если могли, не лезли в богатые. Мало кто не лез, да не всем удалось... Евхим — другое, это поганец. Етого зауздали б. Чтоб притих немного, на Ганну не щерился.

Мысли неизменно вели к Вроде-Игнату. Свербило беспокойство, как бы не зацепили и этого: не великий богатей, но и бедняком не назовешь. А главное, по разговорам, по настроению, так и не намного лучше и Глушаков, язык, может, и подлиннее. Да и замашки прямо панские. Но успокаивал себя, склонный видеть все в добром свете: не раскулачат, как-никак, красный кавалерист, герой войны за советскую власть. Не забыли этого, учтут, да и он задумается, не иначе, присмирееет. Это заставит сбавить пыл. Понимая, что происходит, и на него, Хоню, конечно, иначе

взглянут. «Богатей». И Ходоська притихнет, за ум возьмется. Пора кончать волынку. В коллектив пора...

Ганна, Ганна — о чем ни думал, мысли неизменно вели к ней. И все тревоги, и надежды были о ней, за нее. Она и теперь была его самой великой заботой! Не чувствовал успокоения оттого, что в школе. И там достать может ее беда. Да и что это, временное пристанище. Нет у человека надежного места в жизни.

Хоть и заседала Кулина, Чернушка почти ничего не забивал. Не прятал. Держался своего, как велела совесть. И все крепла мысль про колхоз, и убеждал он Кулину: надо идти. Добиваются, значит, надо. По всему же видать, другой доли не будет.; Только эта. Дак чего ждать попусту, тянуть дурное...

Эти дни были самые беспокойные и тяжкие для Миканора. Они ставили его перед трудными загадками. Начать хотя с того, что в колхозе оказалось все не так просто, как полагали. Не все рвались работать, не все болели за общее, как надо бы.

Не всегда вовремя кормили и не всегда хорошо доили коров. И молоко не берегли, не так, как свое. И про подстилку для коров и телят напоминать надо было. И кони, когда возле них ходил Зайчик, не досыта накормлены. Подкинет сена, что под рукой, и доволен. Все хаханьками отделяется. Будто в игрушки играет.

Не только Рудый, а и некоторые другие неохотно шли на грязную или холодную работу. Искали выгоду, полегче и поприятней работу. В мороз в лес или за сеном ехать заставлять надо было.

Были в колхозе, а не забывали старых привычек. К общественной скотине относились по-разному, помнили еще, которая своя и которая чужая. И чужую не очень жалели: и подложить соломы забывали, и гнали немилосердно, и оставить могли в конюшне без догляда. Из-за этого между бывшими хозяевами загорались споры, перебранки, склоки.

Чем больше людей шло в колхоз, тем тяжелее добиваться было порядка. Не только потому, что за всем надо следить, выправлять все, а хлопот прибавлялось. Среди тех, кто приходил теперь, больше было несознательных, они-то и прибавляли новое беспокойство к и без того немалым неприятностям, что имел Миканор. Люди нередко с самого начала делали самое обидное. Уж если уступали, шли в колхоз, Миканор не одного ловил на том, что несли в общую семью не все. То телеги припрячут, то теленка или овечек не отдадут либо отдадут не всех.

Миканор, ловя таких, приходил в бешенство, приказывал не обманывать, обобществлять все. Грозился, что принимать не будет, и кое-

кого не принимал. Но это мало помогало: люди выкручивались, доказывали, что телят и овец тех давно нет, и его же самого обвиняли, что не принимает трудовое крестьянство, которое хочет в колхоз. Запутанность была и в том, что нажимали сверху, требуя темпы, и принимать надо было больше и быстрее, тем более что Курени и сельсовет в целом и так уже отставали от общего движения. А потому сдерживать особо людей нельзя было.

В газетах, которые читал Миканор, писали, что всюду середняки массой хлынули в коллективы. В Куренях и деревнях вокруг Миканор не видел такого. Средняки шли непросто, а беднота временами дак еще туже. Хотя, казалось, и терять-то особо нечего было. Просто из осторожности. И не торопились слишком и, решившись наконец, старались внести поменьше.

Миканор, собственно, не удивлялся — знал своих. Но от этого не меньшей была злость: умнее всех хотят быть. Обхитрить намереваются. Все только о своей выгоде. Все себе только.

С такими добьешься добра, приходило порой безрадостное. Брала, хоть и отгонял как мог, тревога за колхоз, за его будущее.

Честь передового человека не давала ему возможности уступать темной, мужицкой хитрости. Они «умники», и он тоже не дурак, успокаивал себя не раз Миканор, который убежден был, что видит все насквозь.

Когда забесновалась дикая мужицкая сила уничтожения, Миканор решительно бросился в Юровичи к Башлыкову.

— Быстрее обобществлять надо, — заявил не колеблясь. — Пока не перерезали всего. Только так останется что-то.

Башлыков поддержал его. Сказал, что скоро начнется решительное наступление.

Весть о раскулачивании Миканор и принес как обнадеживающее знамение того, что с нетерпением ждал.

Тяжелые, противоречивые мысли Миканора пронизывала надежда на спасительные перемены.

Когда дома внимательно перебрал написанное в газете, старый Глушак понял: конец. В холодных, нелегких для понимания словах вычитал: пощады не будет. «По волосам не плачут».

Все дни помнил речь Сталина. Помнил, то, чем жил, разрушалось. Все, что делал, чего добивался, пойдет прахом. Конец пришел. Конец, от которого ни уклониться, ни отвести.

Приговор уже готовый, самый жесткий приговор: ликвидация. Хоть предвидел раньше, что к этому идет, успокаивал все же себя, глупец, мол, как-нибудь обойдется. Не обошлось. Холодело нутро, когда представлял, как будет дальше.

Целыми днями сидел дома, не показывался нигде. Некуда было показываться. Какой толк показываться?

Слонялся из угла в угол, все валилось из рук. Дрожали колени, одолевала такая слабость, что садился.

Видел, старая горюет, следит одуревшими собачьими глазами. Евхим будто и не чувствует, позеленел от пьянства, непонятливый, безразличный ко всему. И так тяжело, а тут в хате не к кому приткнуться. В хате, среди своих, один. Одинокий, как бревно гнилое. Ни на что не пригодный.

Мерзко было на душе, так мерзко, как никогда. Горше всего оттого, что понимал: никакого выхода нет и не будет. И нельзя было ничего сделать для себя. Оставалось одно: бессмысленно сидеть и бессмысленно ждать конца...

Кое-что все же сделали заранее: хоть по дешевке, сплавил двух лошадей, зарезал теленка, корову одну отдал своему дальнему родственнику в Мокром. Деньги, что остались с той войны, ничемушние теперь, на всякий случай хранил, перепрятал в лесу, приберег одежду в тайнике, сало. Еще осенью сообразил. Хоть болела душа — уничтожить все в своем доме самому, — но осилил себя, хватило ума.

Теперь временами приходило другое: что бы еще припрятать? Укрыть от глаз вражьих. Но по снегу, под приглядом и думать нечего. Да думать и не могло.

Волновало больше практическое: как будет дальше? В тюрьму посадят или на воле оставят? Если на воле, то дадут ли что с собой, на пропитание? Или оставят хоть кладовку какую, где поселиться? А не дадут, как тогда жить? Куда податься? К дочке в Алешники?.. Вспоминал ясно, зять косо глядел. Родная дочка не рада будет. Не захочет.

Нищим ходить? Просить корку? Как последнему побирушке.

Когда приходило такое, кипятком ошпаривало душу, злость заливала всего. Мелькало мгновенное, яростное, слепое: поджечь все, огнем пустить! Перебить скотину всю, порубить все. И спалить. Чтоб никому не досталось. Жгла ненависть к голодранцам, особенно к Даметику, к собаке Миканору. Бил бы, кажется, душил бы!

Но тут наступала привычная проклятая трезвость. Не сожжешь, не порубишь, не задушишь. И силы нет, и смелости нет. Сжечь разве — так так, чтоб и самому сгореть, но сгореть не мог. И богом это, знал, не

дозволено, и боялся. Старый, чем ближе к концу, все больше боялся смерти. Хотел жить, жить.

Просто кричать готов был, так хотелось жить.

Оттого, что хотелось жить, испытывал страх. Страх за завтрашнее, за хозяйство, за себя. Больше всего за себя.

Страх и бессилие, пожалуй, сильнее всего угнетали его в эти дни. Порой думалось: пусть берут все, если уж другого выхода нет. Только пусть дадут жить, работать. Он может работать, не отвык, на себя, заработает.

Настроение, характер, поведение человека очень зависят от его положения. Если б Глушак, как прежде, чувствовал силу свою, другим был бы он, особенно когда берут за горло. Сильный, уверенный, твердый был бы Глушак, дал бы тому, кто потянулся к горлу. Дал бы так, что кровь из носу. Но теперь чувствовал, дать нельзя. Замахнуться даже нельзя, бессмысленно. Нет почвы под ногами.

Это меняло все. Преследовало бессилие, обида от бессилия. Берут за горло, а не дашь в морду, чтоб кровь из носу. В бессилии придумывал себе надежду, хватался за нее. Хотя знал, пустое, просил-молил бога, чтоб сотворил чудо. Чтоб войну послал. Войну! Она одна могла изменить все. Одна надежда на нее. Дак нет же! Болтали, болтали, грозились из-за границы, а все нет. Больше на словах смелые, паны! Вояки!

А раз нет оттуда ничего, дак и здесь нечего рыпаться. Самим подставлять голову под колеса... Вспоминал выходы Цацуры и Евхима и снова повторял себе: дурни. Правильно им сказал: коли жить уже вам неважно, за границу попробуйте. А так нечего и рыпаться...

От бессилия, от обиды плакал старческими, жалкими слезами. В пылу раскаяния вспоминал грехи, молил бога сжалиться, пощадить. Как одержимый, тянулся к богу. Бог был подмогой, единственной надеждой в его одиночестве и беспомощности.

Евхим, к удивлению села, не проявил страха. Да и озабоченность не очень заметна была. В расстегнутой рубашке, в ухарски заломленной шапке, из-под которой торчал чуб, шел по улице так, будто все ему нипочем.

Правда, эта лихость не скрывала от наиболее проницательных курунцев, что нелегко на душе у него. Да, вечно пьяный, не от радости заливал себя самогонкой, и во взгляде вместе с шальной задиристостью застыла недобрая постоянная печаль.

Веселился. Чувствуя, что мало времени осталось, как бы налился вдруг смелостью, силою. Знал, не один со злорадством ждет его беды, нарочно, вызываясь вскинулся — вот я, полюбуйте. Пускай увидят, не

из тех он, что склоняются. Ему наплевать на них.

Дружку своему Ларивону, тот малость струсил, со смехом говорил: «Погуляю до остатка! Возьму свое!»

Ларивон с глуповатым простодушием все хотел выпытать: «А что дальше?» Евхим не сказал, но взглядом пообещал: дальше также не пропадем. Нечего до времени забивать мозги.

В одиночестве, особенно в минуты протрезвления, когда ломило голову от горилки, упрямо охватывали тяжелые думы. Глубоко затаилась злоба на Миканора, на Ганну, на старого, на Зубрича. На весь свет, что давит со всех сторон. Жить не дает.

Болело, жгло по-разному. Воспоминание о Ганне томило больше обидою: не любила, бросила, задавака, строит неведомо что из себя. Пошла искать лучшего.

С наслаждением, с мстительностью унижал ее: захотелось нового хряка. Ругал последними словами и не мог успокоиться — кололо где-то тонкое, унижительное жало оскорбленности.

Об отце думал с раздражением: из-за этого хлюпика, боязливого старика оказался в омуте, из которого черт знает как выбраться. Вместо того чтобы где-то гарцевать на свободе, вынужден ждать, когда затянут на шее веревку. Старая развалина, и сам ничего не делает для спасения и никому не дает.

Как о мошеннике, думал и о Зубриче, балаболке и слюнтяе, что забил ему голову, заставил надеяться. Правда, в мыслях о Зубриче пробивалась иной раз надежда: на всем свете был все же человек, который обещал поддержку. В случае чего.

Самая большая злость была на Миканора — все враждебное ему сосредоточилось в ненавистном рябом лице куреневского активиста. Именно к нему руки тянутся, захлестнуть петлю. Тянутся нетерпеливо, на потеху всей окружающей гольтьбе. Думая о Миканоре, не раз представлял себе: Даметиков выкормыш в луже крови. До нетерпеливого дрожания в руках, просто воочию видел, как целится в ненавистную рожу. Руки сами собой нажимали на спуск обреза.

Мысли, видения бежали, смешивались, путались. То пробивались, словно в тумане, то с болезненной ясностью сплетались желания, мечты, кружили, сжимали голову. Пробовал и не мог выбраться из неодолимой путаницы.

Из путаницы этой старался вырвать главное: как из всего вылезти? Надо решать что-то быстрее, что-то делать. Понимал, надо кинуться куда-то, пока не затянули петлю, но куда? И тут не раз смутно представлял

Зубрича, его поддержку.

Надо броситься, а не бросался. Не мог. Не было охоты, энергии. Не по нему это — удирать, как зайцу. Броситься, дак чтобы знали Евхима, чтобы запомнили. Евхим — это Евхим. Был Евхимом и остался. Броситься — дак чтоб почуяли. Чтоб примолкли, прикусили языки. Тогда вспоминал закопанный на гумне обрез, который ждал до поры.

Пора эта пришла. Ударить по рябой заразе. А тогда уже махнуть куда-нибудь. Хоть за границу, как советовал старый. В Польшу. Недалеко. Или еще куда.

О чем ни думал, приходила на память Ганна. На все будто глядел ее глазами. Будто для нее работал. Хотелось еще раз повидаться. Перед тем, как исчезнуть... Думал, строил планы и все оттягивал. Не знал сам, почему. Может, она, Ганна, держала тут, спутывала...

Пил, думал, ждал.

Василь, как и положено мужчине, старался все время держаться степенно, смело. Но ни степенства, ни смелости теперь у него не было.

Та одержимость, которая владела другими в Куренях, жила упорно и в Василе. Как было не чувствовать, все село жило одним волнением: коллективом, предчувствием, что все идет к нему и по-другому не будет. Об этом говорили на улице, на каждом дворе, этим были полны все в Василевой хате: дед, мать, Маня, малец Володька.

Василь — человек твердый, себе на уме — не мог не прислушиваться к тому, что происходит. Слушать, видеть вокруг следовало ему, как первому, старшему, вожаку в табуне. Вся ответственность, не забывал некогда, прежде всего на нем, проморгаешь — все прахом пойдет, загубишь не только себя, своих, всех и вся загубишь. Позором вечным покроешь.

Чутье, ответственность все время заставляли быть сосредоточенным: момент острый. Все поворачивается, идет на слом, и что дальше, одному черту известно. И, несмотря на неизвестность, надо решать, чем черт не шутит, опоздаешь, все погубишь.

Все вон решают. Один за другим, приберегая кое-что на черный день, бросаются в поток, приставая к тому, неизвестному берегу. А те, кто не бросился, вот-вот готовы последовать за ними. Только, пожалуй, один Вроде-Игнат, друг ближайший, держится за прежнее: что бы там ни было, стоять на своем берегу. Василя поражают его твердость и смелость. Василь для приличия даже поддерживает его словом: так и надо. А в душе такой уверенности нет. Тревожит в душе Василя смелость Игната, кажется просто безумной. И Василь чует, что не знает, чем все это может кончиться для

Игната.

Так что в отношениях Василя с наилучшим его приятелем появилась настороженность и некоторая неискренность.

По-разному высказывая былую самостоятельность, Василь приглядывается к другим, ищет совета. С Чернушками как-то откровенно поговорил, посоветовался; старый душевным, умным словом задел Василя за больное, почти убедил, что никуда не денешься, дорога со всеми в общий котел. Потянуло неожиданно в эти дни Василя к Хоне: чувствовалось, у Хони свой узел крепко затянут, человек тоже на распутье. «Упирается все! — жаловался на жену Хоня. — Но ничего, уломаю, быть не может... А ты иди. Не морочь голову себе лишним!..»

Но Василь не мог не морочить голову. Ясности не хватало: льдина под ногами трещала, а кидаться в воду опасался. Хоть иной раз в отчаянии был уже близок к этому: что будет, то будет! В этом болезненном раздвоении, когда тошно становилось от дум, страхов, дома часто кипел, взрывался. Дома, вместо того чтоб успокоить, поддержать человека, еще добавляли тревог, боли.

Злил его и малый, который, прибегая в хату, радовался бедламу в селе, наслушавшись учителей, мрачно зыркал на Василя. Держится, мол, неизвестно за что. Злила и Маня, которая самыми дурными словами кляла все: и колхозы, и людей, и белый свет. И никак не хотела понять, какой камень повесила ему, Василью, на шею своими родителями, роднею такой. Которая вот-вот потянет их на дно, когда возьмутся раскулачивать. Мало утешал и старый Денис: то советовал не спешить, оглядеться еще, то поддерживал мать — слушаться ее надо.

Многие советуют, а решать Василью одному. И ответственность на нем на одном. И решать после всех советов не только не легче, еще тяжелей становится. Каждый только запутывает.

А тут под боком еще Миканор. Миканорова хата, в которой всегда полно народу, Миканоров двор, в котором каждый день собираются будто совсем не знакомые, разные люди, легкие, отчаянные, невеселые. Все перед глазами. В суете, надломленности, неразберихе. И как бы напоминание: не минуешь и ты. Как бы с упреком: скверно, что до сих пор тянешь. Мозолишь глаза...

В тяжелых, неровных думах проходили дни. И в хлеву, и на гумне все об одном. И неизменно при этом чувствуешь неизбежное: близко конец. Как бы там ни было. И потому все, что делал по хозяйству, все, что видел, окрашено печалью, словно чувствовал прощание. Со щемящей болью видел коня, корову, гумно, хлев. Как никогда, было все дорого, мило душе.

В такие минуты не раз приходила на память Ганна, непонятное, какое-то неясное раскаяние испепеляло его. И то, что у нее так несчастливо сложилась судьба, жгло особенно. Беспокоило, что теперь снова одна, гадал: как она там? И так хотелось прижаться, не пожаловаться, а просто помолчать. Хоть бы что-то милое, близкое почувствовать рядом, когда так болит. Когда неведомо что ждет.

«Не суждено. Теперь поздно», — останавливал себя. Вспоминал, дитя у нее.

Трезвым умом чувствовал, что все, чем жил, что радовало и увлекало, кончилось. Некуда было идти, дороги нет. Была большая, молодая сила, привычка работать, а идти некуда. Нечего было делать. Все потеряло смысл.

«Ничего не поделаешь. Надо к новому приравливаться», — убеждал мудро, по-мужицки себя. Как опытный, как старый. А покоя не было.



Целыми днями слонялся без толку. От безысходности, поддаваясь общему настроению, гнал самогонку, пил. Не любил горилки, от смрада ее мутило, но преодолевал и пил. Легче становилось. Все казалось удивительно простым.

Одного не мог: резать, губить понапрасну скотину, добро свое. Напившись, нередко совался в хлев и там, обняв за шею, покачивался возле коня. Старая Дятлиха подглядывала: шептал что-то коню, как человеку.

Однажды увидела: уткнувшись в гриву, плакал, как на плече у приятеля. Дятлиха сама не утерпела, зашмыгала носом.

Нередко вставал ночами. Не спал, вздыхал...

Ночи долгие были. То небо багряно горело и крепчал мороз. То мело и не разглядишь даже улицы.

Морозными ночами выли волки...

Ночи, ночи. Дни и ночи зимы тридцатого года. Дни и ночи тяжелых, мучительных раздумий, великих решений.

Склоняю голову перед вами с почтением, люди тридцатого года.

Не раз писатель записывает (на полях), «подсказывает» себе:

«Главы надо перепланировать! Есть путаница (может, Гл[иници] выделить в особую главу?). Дать где-то вечеринки, гулянки (гармонист, Алеша). Вообще не должно быть безнадежности. Жизнь идет. У молодых — любовь, вера в свое! Дать, видимо, под конец всех глав. После всех разговоров».

Всюду и позднее давать: вечеринки, гулянки, ухаживания не прекращаются. Над Куренями раздается смех, песни. Молодость. Жизнь идет, свое берет. У детей свое. Скот кормить надо. Жизнь идет.

Вслед за Башлыковым все большее место в романе (и в событиях) занимает Дубодел. Сам выходит, Башлыков выводит, события выдвигают его, Дубодела, на передний план.

Дубодел сразу смекнул. Гайл[ису] хана. Он, Дуб[одел], снова на коне, не сегодня завтра будет.

Дубоделу всегда чего-чего, а энергии занимать не надо было. Не было никогда недостатка энергии. Теперь эта энергия просто выплескивалась из него потоком. С того времени, как его сняли из-за подкопов разных недоброжелателей, швали разной, которой он насолил, у Дуб[одела] жило предчувствие, что эти подкопщики не победили его, и он жил стремлением вернуть свое, взять снова над ними верх. Не такой был Д[убодел], чтоб легко так смириться с тем, что ему вырыли яму и он должен сидеть в ней как дурак.

Он, конечно, знал, что подвели его к этой яме не потому, что давил на людей, бил с ними, щупал и валил баб, когда можно было: кто бы поступал иначе на его месте? Он не глуп, знал, что злились на него и подкололи потому, что не кривит душою, что видит насквозь, кто чем дышит, кто где хочет смошенничать перед советской властью, и что он крепко дает по рукам.

Дуб[оделова] энергия рвалась наружу и потому, что он уже видел, что вокруг творилось, а творилось такое, чего никогда не было. Как Дуб[оделу] можно было спокойно отсиживаться в стороне, не влезать в самое пекло, не воткнуть дубину, не попугать, а потом, когда эти черти снова вылезут, не начать дубасить их по головам?! Он, можно сказать, только и ждал такой поры! Потеха.

Душа тешится.

Можно было бы еще сказать, что Дуб[одел] вообще не умел сидеть в тиши. Он мог быть только на виду. Такая уж его потребность. С энергией и с пониманием особого своего права и обязанностей взялся Дуб[одел] за дело.

(Желание его показать, что не скрутили и не скрутят, показать себя во всей силе.)

Собирает уполномоченных, дает указания: поднять. Не потворствовать.

Носится по сельсовету неумолимо — ожил человек, дорвался!

Процент заметно идет вверх.

Важно: не такой он простой. В том, что делал, был тоже смысл. И Башл[ыков] не ошибся, он знает людей. У Дуб[одела] свой практицизм, могучая хватка. Он сразу ухватил слабое звено: налоги. Стал нажимать тут.

Знал, в каждом селе есть такие, к кому прислушиваются, на кого равняются. Знал, обломать рога таким, принудить пойти в колхоз, значит подействовать на остальных. И он принялся за таких. Оформил несколько дел, отправил в Юровичи.

Одно из них было на Вроде-Игната.

«Я вам не какой-нибудь уполномоченный. Я вас насквозь вижу!»

Стычка Дуб[одела] с Евхимом. Дуб[одел]у не дает покоя жажда власти. Хочется показать свою силу. Коса на камень.

Провоцирует фактически.

Евхима дома не застали.

Глушаку:

— Где сын?

— Он не мальй уже. Не спрашивает у меня.

Насели на старуху.

— Где?

— А я знаю?

Почувствовали по испуганному лицу, знает. Пригрозили.

— Антихристы.

В слезы.

Дубодел выругался.

— Улизнул, гад. Прослышал. Кто сказал?

На Миканора с подозрением.

— Да ты что? Мне не веришь?

— Брату родному теперь верить нельзя!

Сел.

Вроде решил ждть. Пригляделся, беспокойны Глушаки. Может, не улизнул? Снова:

— Где он?

Вышел во двор. Прошелся с наганом. Может, где тут прячется.

— Обыскать, — приказал.

Грибок несмело. Миканор тоже с наганом. Миканору — обыскать двор, сам осторожно к амбару, к гумну, С милиционером.

Около гумна Миканор нагнал.

— Не ищи. Коня нет.

Все же на всякий случай осмотрел гумно.

— Стой возле дверей. Наготове.

Засунул наган в карман. Вилы взял, стал тыкать в солому по краям.

Видать, нет.

Когда вернулись, Миканор приметил, и саней нет. Снова к старой:

— Где сын?

Та уже не плакала. Злость в глазах.

— Ты у кого выпытываешь, гад?..

...Между тем Евхим возвращался в Курени. Уныло тащился рядом с

возом. На возу обрубленные березки, разный подлесок.

Холод выгнал из хаты. Старый донял упреками. Только в лесу, когда стал рубить, повеселел. А теперь снова взяла в тиски грусть-печаль.

Впереди был долгий вечер. Водки не было. Наскучил Бугай. Побавляется, видать, слизняк. Крутить стал. Не податься ли в Огородники с Цацурой душу отвести. А то, может, к знакомой заявиться, чтоб не забывала?

После того разговора с городским, с Башлыковым, ночами думал. Точила тревога. Теперь не тревожился. Надоело тревожиться. Ни к чему это заглядывание вперед.

Уже на выезде из леса выскочила наперерез мать. Издалека заметил, запыхавшаяся, напуганная. Придержал коня.

— Беда, сынок!

Оглянулась назад.

— Криворотый приходил, под стражу хотел взять.

Он стоял. Хотел подумать и не мог. И, удивительно, не испугался. Не мог.

Как во сне было все. Дернул вожжами, чмокнул, пошел рядом с возом.

— Не можно! Сынок! Заберут!

Он не сразу, небрежно отозвался:

— Завезти дрова нужно!

И на самом деле, не мог же он бросить воз. Нарубил, так надо завезти. Там видно будет.

Она шла следом, крестилась, поминая бога. Потом схватила за руку, задержала. Стала молить его не идти. Он почуял тревогу, но не послушался. Как опоенный, двигался к селу. Что же делать?

Село надвигалось уже, таило опасность. Но это как будто и утешало. Как бы играл с опасностью, подстерегал ее. Тихо было. Может, уехали уже. Миновало все.

Вблизи от дома заметил Грибка. Следит, значит, опасность не прошла. Видел, как Грибок осторожно, торопливо подался куда-то. Не иначе, к рябому.

Навстречу выбежал отец, но он, не слушая его, повел коня к повети. Остановил, стал сбрасывать дрова. Уговоры и стоны старых раздражали, мешали слушать.

Держался спокойно, а был уже напряжен. Думал тревожно: что делать? Впервые пожалел: правда, может, надо было остановиться там. Чуял уже беду, которая настигала.



Беда эта, новая, неосознанная, может, от утомленности не давала ясности: что делать? Только принуждала остро следить.

Ага, появились. Из-за хаты заметил криворотого, потом Даметика. Криворотый, покрасневшийся, в шапке, сбитой на ухо, в распахнутом кожаном, вскочил во двор. В руках у него наган. Наган был и у Даметика. Евхима пронзил мгновенный страх.

— Мать накормить вот хотела. Да и погреться надо. — Как бы играл.

— Накормят и согреют! — сказал Дубодел грубовато. «Издевается». — Давай! — ткнул наганом в плечо.

— Ах ты гад!

Евхим бросился на него, ударил по руке. Гроыхнул выстрел. В следующий момент Дубодел ойкнул от боли. Евхим заломил ему руку.

Наган выпал.

Евхим рванулся за угол хаты. И вовремя — ударил наган Даметика. Евхим ответил из нагана Дубодела.

Рябой бросился со двора, за изгородь. Притаился, прицелился. Едва высунулся Евхим, пуля чиркнула возле уха.

Больше Миканору не удалось выстрелить. Разъяренная Глушачиха, прикрывая сына, раскинув руки, пошла на него.

— Ах ты рябой!..

Она норовила достать его через изгородь. Миканор вынужден был отойти. Стрельнул еще два раза, но промахнулся.

— Прочь, старуха! — гаркнул Дубодел.

Он выхватил из рук Миканора наган и, ошалевший, стал бить в сторону Евхима. В пространство. Пока не выпустил всю обойму.

Тогда выматерился. Приказал:

— Сдавайся, сволочь!

Евхим лихорадочно соображал: отступить некуда. Теперь вышку, не меньше, дадут!..

Оглянулся, как зверь. И увидел коня. Старуха наседала на Дубодела. Кинулся к коню.

Почуял ветер за собою, когда летел к загуменью. До самого гумна дорога была свободная. Ворота на дворе как будто нарочно отворены (Дубоделом).

Около гумна оглянулся с коня и на пригуменную дорогу. Все было как в тумане, ощутил только легкость — вырвался. Вырвался...

— Прочь, старуха! — в злобе оттолкнул Глушачиху Дубодел.

Он глянул на пустой двор, заметил, далеко меж гумен мелькнула Евхимова шапка.

— Упустили! — плюнул. Старухе и Глушаку: — Ответите за все. Потом сообразил: — Догнать.

Он бросился с Миканором к саням. Помчали на санях за село. Но вскоре вернулись одни.

В тот же день Дубодел организовал поиски Евхима.

— Никуда не денется! Как миленького поймают!

Приказал Миканору выставить посты, вести наблюдение за домом. Как

только явится, окружить дом, не дать улизнуть. Попробовать взять. Сразу же сообщить в сельсовет.

Тогда же ринулся в Глиници, в школу. Заявился к Ганне.

— Утек твой законный!

— Такой он мой, как и твой!

— Так да не так! Не появлялся? — строго стал напротив.

Смотрел требовательно.

— А чего ему появляться.

— Не бул?!

— Бул. Под кроватью.

— Ты отвечай как положено. Знаешь, что за ето может быть?

— Ну чего ты прилип, как лист!

Дубодел выяснил все у Параски. Не было. Не появлялся.

Тогда заехал к Козаченко, приказал наблюдать за школой. Если что, принять меры.

Из Алешников позвонил Харчеву, известил о бегстве Глушака. Надо было бы раньше, но Дубоделу не хотелось спешить, что ни говори, эта история наложила пятно и на него. Не сумел арестовать.

И обиднее всего, что лишился оружия.

— Эх, раззявы! — прохрипел Харчев с презрением.

Коротко спросил, как случилось, Дубодел объяснил, разумно скрывая подробности, какие могли скомпрометировать его...

— Чем он вооружен? — спросил Харчев.

— Наган у него. И обрез.

— Откуда наган?

— А кто его знает. Припас... Кто-то предупредил, — нарочно перевел разговор на другое Дубодел.

— Куда он может податься?

Дубодел с облегчением изложил свои домыслы.

Харчев сказал, что примет меры. Распорядился следить. Дубодел ответил, что меры он тоже принял.

Но, когда повесил трубку, на душе было тревожно. Черт побери, надо было так неосторожно ткнуться. Все оттого, что выпил, дурень. Развезло. Не был бы выпивши, не выкрутился бы Глушачок.

Так плюхнул его, гад. Самое паршивое — это история с наганом. Что бы ни было, эту историю надо замять. Если выплывет, скажет, дескать, поклеп врагов. Пока же взять наган у Кочана.

В тот же день он выехал в Мокрое. По дороге, в Куренях, заглянул к Миканору, выяснил, что слышно. Новостей не было.

Как бы между прочим попросил временно наган на дорогу. Кочан не сразу согласился, неохотно выпустил из рук.

Как знал, что назад его не скоро получит.

Евхима выслеживали, искали не только в ближайших деревнях, но и в соседнем сельсовете. Никаких признаков его пребывания не нашли. Как под лед провалился.

Вырвавшись от Дубодела, Евхим сгоряча пролетел несколько километров, чуть не выскочил в Мокрое. Но опомнился, свернул, где по дороге, а то и по снежному насту обминул село. Тревога преследовала его и тогда, когда оказался далеко за Мокрым.

Здесь тянулись длинные леса и длинные болота, которые перерезали дороги. Летом тут не было проезжих дорог, только тропки для смелых. Теперь уже далеко не лето, дороги были, но дороги неудобные. Евхиму было все малознакомо. Опасность как бы отступила, но спокойствие не пришло.

Как можно быть спокойным, если и отсюда чудились чужие, следящие за ним глаза. Если положение такое неясное.

Более того, только теперь по-настоящему осознавал свое положение. Осознавал, что произошло непоправимое и дороги назад отрезаны. Что за все тюрьмой ему просто не отделаться. Не иначе, кокнут. Да и сам криворотый может кокнуть по дороге. Но что было делать в зимнем лесу, в холодище. В постолах, в свитке, в штанах, сквозь которые пробирал холод.

Чувствовал, как стынет вспотевшее тело. Как ветер холодит лицо. Слушал тишину, не раздадутся ли шаги, и думал, что делать, куда податься.

Слез с коня — дать передохнуть ему. Чтоб не простыть, пошел тихонько, озабоченный.

Ясно было, назад ходу нет. Там, конечно, подстерегают. Только сунься, заарканят вмиг. Верно, и милицию подняли. Перебирал возможное: к леснику, к которому заходил когда-то? Или в Огородники, к Цацуре?

Все можно было испробовать, и всюду могла быть ловушка. Но надо же куда-то деться: ныло в животе, выбираясь утром в лес, он перекусил кое-как. Да и ночь близко, зимняя, и подохнуть недолго.

Если б не голодный и торба была, мог все же залезть в стог. Болота тут большие, стогов полно, как лозы. В любой — проделай нору и залезай. Закрывшись, переждать можно. Конь как бы не замерз, мороз вроде усиливается.

Недалеко был дом лесника, того самого, к которому он когда-то заходил. С дочкой которого крутил любовь. Верочка уже замужем, но

лесник, верно, не простил ему, что отступился. А все-таки никуда не денешься, пустит в хату, коли хорошенько нажать на двери. Не побежит в сельсовет наговаривать милиции, если намекнуть, что может с ним быть в случае чего. Коли глаз держать остро.

Дом в лесу, в стороне от людского взора, конечно, там не очень надежно. Могут сунуться как раз туда. Не дураки тоже. От Мокрого рукой подать. И выходило — возвращаться назад, лезть самому в пасть.

Но больше некуда. Мир широкий, а дорога одна покуда открыта. Другой не видел. Один на дороге, в мороз, в чужом, незнакомом лесу. Он недолго колебался. Рискованый, даже в чем-то легкомысленный Евхимов характер помог вскоре повернуть коня назад.

Ехал он, однако, осторожно, все время прислушивался. Где-то рубили деревья, отметил это. То и дело нащупывал наган, боялся потерять. Следил, чтоб не попался кто-нибудь на дороге, но обошлось. Дорога была глухая, тяжелая для коня.

Уже вечерело, когда он, оглядываясь, свернул на дорожку, что вела к лесниковой хате. И тут вдруг услышал собачий лай, злой, залиvistый. По лаю сразу понял, что у лесника на дворе кто-то чужой. Торопливо придержал коня и сразу назад. Съехав с большака в чащобу, притаился в ельнике. Не слезая, вслушивался. Успокаивал коня, что стриг ушами и, казалось, готов был заржать.

В тиши раздался топот копыт и говор. Судя по всему, сани с дорожки свернули в противоположную сторону, голоса стали удаляться. Он не вытерпел, соскочил и, увязая в снегу, подбежал к краю дороги, отвел ветку у ели. В санях были трое. Один смахивал на Дубодела.

Евхим переждал и опять двинулся к дому лесника. Подъезжал уже впотымах. Собаки снова подняли гвалт. Он подозвал пса, тот, молодчина, узнал. Молча пошел рядом с конем.

Хозяин вышел на крыльцо и сначала не мог выдать ни слова.

— Ну, остолбенел, что ли? — резко бросил Евхим. Твердо приказал: — Поставь коня.

В хате хозяин, захлебываясь, стал объяснять: только что был Дубодел с двумя, про тебя расспрашивали. Не поверили, обшарили все, сено, солому вилами перепороли.

— Видел их, — ответил Евхим нарочито небрежно. — Значит, можно быть спокойным. Поесть дай, дядько.

Перед тем как лечь, он пригрозил леснику, если тот вдруг вздумает... на том свете достанет. Предупредил, что спать будет одним глазом.

Подушку положил под голову, вытянулся на лавке возле окна. Хотел

быть настороже, но не заметил, как провалился в забытьё. Пробудился сразу, мгновенно, вскочил тревожно, готовый ко всему.

В хате было тихо. В хлеву где-то горланили петухи. Он прислушался, думал, недовольный собою: леснику плюнуть — связать его во сне. Надо ж было так развалиться, как дома.

Он позвал лесника, тот сразу откликнулся.

Значит, не спал. Приказал ему дать харчей на дорогу. Сразу за лесником в потемках встала его женка, хотела собрать перекусить.

— Спасибо, — сказал он, одевшись. — Вернусь когда, отблагодарю за это... Только чтоб покуль язык за зубами, ясно? Вы меня знаете.

Еще только начинало светать. Евхим на дворе одно дозволил — родителям при случае намекнуть. Жив, мол, сын.

День застал его на болоте. А под вечер он был уже далеко, за болотами, за лесами. В другом районе и даже в другом округе.

Здесь, в такой же болотистой, как Курени, деревеньке, жила дальняя родня матери. Родни у Глушаков было немало в разных краях, но теперь Евхиму потребовались именно эти. Они как раз оказались на его дороге.

Сюда Евхим приезжал еще подростком, тоже зимою. Тогда дорога сюда казалась бесконечной и нудной, родственники были бедные, и Евхим не понимал мать, которая тянула его с отцом черт знает куда, к какой-то голытьбе. За десяток или полтора десятка лет Евхим почти ни разу не вспомнил этой родни, да и она только раз выбралась в Курени, и Евхим не был уверен, найдет ли, застанет их, а если найдет и застанет, примут ли его.

Нашел он на диво быстро — какая-то тетка показала хату. Родственники подозрительно встретили человека с конем, будто знали уже, что за гость наведется, по какому случаю. Евхим не очень уверенно назвался, но родственники, сразу как напомним про мать, признали за своего, дядька засуетился возле коня.

Раздевшись, за столом Евхим внимательным глазом высматривал, не знают ли чего-нибудь про него. Быстро понял, не знают, однако чувствовал, беспокоит их: зачем явился, что привело. Сказал, что едет на станцию, отец послал, дак мать попросила проведать, поглядеть. Рассказал о своих, представил себя заботливым сыном, рассудительным хозяином.

Разговор был мирный, дети уже не очень-то обращали на гостя внимание, дурачились на полатах, на печи, а Евхим все прислушивался к шагам, к звукам на улице. Раз шаги затопали на дворе, он подобрался, но зашла тетка, оказалось, соседка, спросила про своего хлопца: загулял где-то.

Пили самогонку, закусывали огурцами и квашеной капустой. Вели разговоры. Тут было то же, что и в Куренях, добивались, чтоб шли в колхоз. Дядька — бедняк, а не спешил, не верил. Евхим сначала подозревал, что ругает ради приличия, чтоб по нраву ему быть, сыну богатея. Но вскоре убедился, говорит искренно. Показался он Евхиму скупым, ненасытным, и чем дальше, тем больше Евхима охватывала неприязнь. Правда, чувство было приглушенное, не до того. Томила Евхима все время тревога и забота: как дальше быть?

Еще днем, когда ехал, обдумывал положение, он остро почувствовал свою неприкаянность. Никогда не был так долго вне Куреней и весь день чувствовал себя как щепка, брошенная в воду. Не знал, куда приплывет. Знал только, что надо подальше, чтоб Дубодел не достал. Чтоб отвертеться от тюрьмы, а может, и от большего. Мерещился какой-то далекий край, какой-то город, куда надо будет добираться чугункой. Конь ему незачем, коня надо было бы продать, тем более что денег ни копейки. Но кому теперь продашь, не каждый и даром возьмет. И среди прочего протрезвевшую голову Евхима заботило и то, что не только денег ни гроша, но и бумажки никакой. Как птичка, без документов. А это значит, на любой дороге сцапать могут, и не выкрутишься. Да и за работу, за харч какой навряд ли зацепишься.

Эта забота и жила в Евхиме. С нею он и поглядывал, примерялся к дядьке.

К полночи лучина на припечке, что бросала отсвет на стол, догорела, дети затихли, задремала на печи тетка. Евхим позвал дядьку на двор, коня проведать.

На дворе он огляделся, пошел напрямую:

— Заехал я к тебе, дядько, не по своей охоте. — Он помолчал, чтобы тот понял значение сказанного. — Дал я там одному гаду в морду. Ну и пришлось драпать. — Дядьке, в темноте разглядел, не понравилось это, напугало. Твердо, как приказ, объявил — Про это не должна знать ни одна душа, ясно? Одному тебе говорю... Оставляю тебе коня. — Видел, это пришлось по душе, дядька заволновался. Евхим, однако, не смягчал тона: — Пускай служит тебе. У вас и семья, и хозяйство, такой конь — состояние... — Дядька закивал, стал растерянно благодарить. Евхим прервал его строго: — Только и ты удружить мне должен: чоботы или валенки, чтоб обуться. — Нарочно, с расчетом начал с обуви. Как о мелочи, приступил к главному: — Бумажки у меня никакой, чтоб билет взять... Спешил из дома, оставил...

До дядьки туго доходило, какая бумажка потребна, все же почувал

некую загадку, испугался. С сомнениями и тяжелыми думами возвратился назад в хату, поклявшись Евхиму, что никому ничего не скажет. Евхим видел, нагнал на него забот как следует.

На другой день дядька, вернувшись из долгой отлучки, позвал Евхима в хлев, не глядя в глаза, вручил бумагу. Евхим прочитал, все как надо. Справка из сельсовета: «Выдана в том, что гр-н Кошель Гаврила Апанасович действительно проживает в деревне...» С печатью и подписью. Все как надо.

— Не хотели давать. В Гомель, сказал, надо, в больницу. Не дал бы Хорик, если бы пол-литра не сунул в руки заразе...

Тем же вечером Гаврила отвез Евхима на станцию. Быстро повернул назад: рад был, что наконец сбыл свояка.

В тамбуре товарного вагона Евхим отправился в Гомель.

В Гомеле был другой мир. Об этом свидетельствовали длинные ряды рельс, вагоны, необычное движение, непривычные, цветные огни. Непривычный, едкий запах гари от паровозов.

Но Евхим не давал себе покоя. Он глядел на этот мир, как на чужой и опасный. Мир, где в любой момент может подстеречь неожиданность, которая погубит все.

...Старый Глушак живет у Сороки. Оглушенный. Стараются держаться. «Надо жить, как набежит».

Стараются помогать Сороке. Но все валится из рук. Даже к старой стал добрее.

Сорока не показывает, угождает. Встревожена. Про Евхима ни слова. Сын ее косится. Недоволен. В глубине побаивается.

Заметили, следят за ними. Евхима стерегут. Глушак беспокоится: лишь бы, дурной, не приперся.

Приехал сын, Степан. С отцом холоден, мать жалеет. «Уберегся. Как знал. Етому все одно. Отрезанный ломоть! Коммунар!»

Глушак услышал, уговаривает старую, чтоб перешла к нему в коммуны... А с ним, как с чужим. Но старая ответила: «Вместе вековали. Вместе и доживать будем».

Глушак думает, как дальше быть. Не знает.

И снова местечко, Юровичи, Апейка, его судьба и его предчувствия. Мысли его о том, что и как происходит. Желание разобраться, понять и, по крайней мере, добиться — не отдавать всего Башлыкову, Дубоделу...

...Грех Апейки. Видит, что колхоз распадается, позволил свиней, кур, одну корову вернуть людям. Это выводит из себя Башлыкова. Антипартийное поведение.

Бюро. Осудить. Спор. Бой открытый. Докладывает в окружном. Вызывают в окруж[ком].

Предложили: 1. Освободить от должности председателя райисполкома; 2. Предложить первичной партийке рассмотреть дело т. Апейки и вынести соответствующее решение.

Его партийная судьба зависит теперь от Башлыкова. Апейка знает эту судьбу. Знает, однако тяжело поверить, не может просто представить себе.

Стоит перед Припятью, думает. Идет домой. Он не ошибся, исключили. Неохотно, но исключили — Башлыков настоял. Харчев заступался.

— Ты думаешь, все окончилось [Башлыкову]. Ошибаешься! Я буду добиваться! Докажу!

Он уже знал, напишет, поедет в Минск, в ЦКК. А если этого мало, в Москву. Он докажет свое.

И он пишет.

Видит, каждое утро Харчев идет на работу. С уверенностью: «Посмотрим, кто из нас будет умным потом!»

Башлыков Апейку будто не узнает. Смотрит, как на столб. Встретились, не поздоровались даже, сделал вид, что озабочен, не видит.

«Наполеончик. К счастью, разбег маловат — один район!.. Для кого к счастью? — Еще пошутил — Для округа! Не для района. К сожалению!»

Тревога: что делать? Режут скот. *Говорит* с Чернушкой.

У Апейки после того, как исключили, сняли.

а) Неправедливость.

б) Дети. Как им объяснить? Надо...

Володя подрался за отца.

в) *Сестры приехали*. Сначала одна (брата укоряет), потом другая — с матерью.

Одна вздыхает, другая плачет. Брат. Словно виноваты. Привозят продукты. Есть что-то обидное в этом. Но продукты нужны. Апейка жил всегда сегодняшним днем. Запасов не делал. Сразу ощутилось.

Как ни оправдывайся, будто виноват.
Есть у людей вера в справедливость. Раз сняли, значит, есть за что.
Предположения. *Слетни*.
Досадно оттого, что знал, некоторые рады.
Сочувствие Зубрича.
С Харчевым (Харчев на бюро против исключения. Строгий выговор).
Потом зашел.
Удивительно, когда Ап[ейку] сняли, даже ближе стали. Он всячески
выказывал поддержку.
Зашел. С бутылкой, закуской.
Откровенный разговор.

— Я так думаю. Начинается новая война. И как в войну: приказано —
исполняй.

— Какая же война?

— Война, Иван. Не лучше гражданской. Все перепуталось... Где свое,
где чужое — разберись...

— Надо разбираться...

— Черт ему влезет в душу. Другой такой ласковый, а что скрывается
там? Заевайся — может... нож всадить...

— Есть такие. Но ж нельзя...

— Думаешь, мне не жаль. Не болит, думаешь, тут, — стукнул в грудь.

— И мне больно. От как раскулачивали Игната с Куреней. Как
высыпали один другого меньше. Пока доехали — сопливые. Как доедут?
Бывает, ночью проснешься, да все вспомнишь. И не заснешь. Также люди.
Если б моя воля, взрослые пускай едут, а малых которые — в интернаты.
Специальные. Пускай перевоспитываются. Ну, если которые волком будут
глядеть потом, тогда другое дело... Взрослые — по всем законам. Особенно
не могу я детей видеть. А дети у каждого, считай... Думаешь, чем они
виноваты?

Апейка молчал, сочувствуя.

— Но я душу гадюку. Нельзя жалеть. Если жалеть — ничего не
сделаешь. Все загубишь. Ты его пожалеешь, а он... Нельзя. Война.

— Пусть — война. Но ж — особая. Нам же жить с ними...

— Вот ты говоришь — убедить. Хорошо. Убедить. Знаешь, как
убеждали! Много убедили?

— Не все сразу...

— Мякотелый ты, Иван. Бабское в тебе что-то. Ей-богу. Злись, не

злись. Строгость нужна. Особенно теперь.

— Я разве против...

— Подожди. Против, не против. Рассусоливать нельзя. Надо значит надо! И нечего тянуть. Пусть почувствуют. Людям нужна твердая рука. Сначала покривятся, а потом привыкнут.

Апейка видел, спорить напрасно. Харчев хлопнул по плечу.

— Вишь, как пошли, когда почували твердость. Только сослали некоторых, переменялись враз. Видят, чикаться не будут...

Задумался.

— А вообще черт знает что. Голова кругом идет. И ночью, брат, проснусь... — Повел сомнительно головой. — Детей жаль.

Наболевшее:

— Не повезло мне с детьми.

Апейка знал, дети помирали, едва родившись... (Харчев советует пойти к Башлыкову).

— Идеальный хлопец. Далеко пойдет, если не свернет голову... — Раздумчиво: — Только слишком сам себя любит. Так любит, что не наглядится на себя. Считает, что и все должны любить его... При том умный, себе на уме. Не сразу и поймешь... Но голова кружится. И может закружиться! А может и далеко пойти. Зеленый пока. Обрастет пером, далеко может взлететь!..

Жена с Апейкой. «Умнее всех хочешь быть». Расхождение. Болела. Практичная женщина, у нее за семью тревога. Устала, нервничать стала. За детей беспокойство. Упреки Апейке.

Она обычно сдерживалась. Скрывала. Но он чувствовал это. Молчаливый упрек еще горше. Мысли овладевали: «Разные все же мы... Суховатость какая-то в ней».

Вспоминал увлеченность ее общественным. Это тогда притягивало.

Увлекся — умная. Теперь видел — ограниченная. И одновременно страх за семью, за детей. Женский страх и женское предчувствие опасности. От этого жалость к ней.

В разговоре. Скрывает что-то. Говорит о школе, о детях подробно. Он чувствует, волнуется иное. Но что?

— Знаешь, у меня на уроке был заведующий... Из района.

(Ого! Внимание, хотел пошутить он.)

Она не поддержала.

— Проверяли...

— Ну и что...

— Ничего. Только, видно, мне недолго преподавать...

— Это почему так думаешь?

— Чувствовала. Вот и пришли.

Воспринимал как упрек: из-за тебя все. Я ни при чем тут. Она держалась. Потом быстро вышла в соседнюю комнату. Плачет. Он не пошел. Знал, что любое утешение теперь принесет еще большую горечь.

Встал. Этого, разумеется, надо было ожидать. Он и ожидал. И все же теперь, когда свершилось, стало препаршиво.

Он и в этом будто виноват.

Харчева подкараулил. Подошел. Заговорил откровенно. Знал, с этим так и надо.

— Ну, я виноват. Почему же она должна отвечать?

— Ладно. Я поговорю.

Он сразу пошел к себе. Однако Апейка знал: сказал — сделает.

К Апейке приходит от Параски Ганна. Надо было в Юровичи.

Приносит сало.

Когда Апейку исключили из партии, когда сидит, мучается без дела, он приходит [к Башлыкову]: дайте работу, любую. В колхоз пошлите.

К Башлыкову посоветовал пойти Харчев. Харчев ходатайствует. Ссорится с Башл[ыковым]. Трещина в их отношениях. Ап[ейка] чувств[ует] себя неловко перед Харчевым.

Жена колеблется. Упрекает: зачем лезть, лбом стену не прошибешь.

Отчуждение. Нелады. Досада.

Встречает Сопота с мельницы.

Тот ему:

— Что подельваете?

— А так, ничего. По хозяйству.

— Не годится.

— А что же делать?

— Нет работы?

— Написал я. Жду ответа.

— Не отвечают?
— Рассматривают, видимо.
— А что рассматривать?
— Ну, проверить надо.
— Мало проверяли?
— Да не сказать, — засмеялся. — А все-таки еще, выходит, надо.
— Чтоб это в такое время человек сидел без дела! — Сопот покачал голову.
— Ну, это недолго.
— Все-таки. — Снова: — Не годится! — Хитровато, добродушно: — Иван Анисимович, дак идите ко мне.
— На мельницу?
— А что ж. Конечно, работа пыльная.
— А я пыли не боюсь. Чего ж, можно и на мельницу.
— Можно за начальника. С вами я готов в помощниках.
— Нет. Я человек не гордый. Могу и в ваших помощниках походить.
— Ей-богу. Лучше, чем так сидеть.
— Я ж говорю. Годен.

Важным для понимания взглядов и «линии» Апейки мог быть разговор-спор, спор-исповедь Апейки в присутствии Харчева (сначала автор на месте Харчева видел жену Апейки, затем Зину Бойкову, которая давно по-женски симпатизирует ему, но потом несколько раз написал на полях — «с Харчевым»).

С Харчевым (или с Зиной).
— Мужик ты, — сказала. Не поймешь, не то с упреком, не то с одобрением.
— Мужик, — согласился Апейка. — Был и остался.
— Жалеешь ты его? — с хитроватым пронизательным взглядом.
— Жалею, — сказал он, ощущая вдруг нестерпимую потребность говорить. Выговориться. — А как же его, мужика нашего, не пожалеть? Мы ж от него требуем, чтоб он отдал самое важное. Землю, плуг, хлеб. То, чем он, жена, дети его живут. Чем жили его отец, дед, прадед. В чем основа их жизни. Требуем, чтоб отдал нам все это под честное слово. Жизнь эта, какую мы обещаем, ему неизвестна, нереальна. Он не щупал ее. А надо пощупать своими руками, увидеть своими глазами — тогда другое дело... Мужик — он себе на уме, практичный, недоверчивый. Много ему сулили все, кому не лень, вот он и не верит. И говорит: погодите, дайте

приглядеться! И правильно говорит!.. Он имеет право и подумать, и рассудить, и усомниться, и надо дать ему подумать! Неужто требуется много ума, чтоб не додумать, как ему тяжело, до отчаяния тяжело! — Апейка помолчал. — Тут одного, кажется, достаточно было бы: уразуметь, что нет у него нашей ясности, и надо отдавать себе отчет!..

— Мужик мужик и есть... — светились Зинины глаза. Умно, благожелательно.

— Вся соль, по-моему, в том, чтоб нам поверили. Поверили, что делаем толковое, надежное. Чтоб дело наше было делом сердец людских. Тяжело это, грустно, и нетерпение нас допекает, но ничего не сделаешь. Надо, чтоб поверили! Единственное средство — переубедить, добиться, чтоб поверили! Только там, где вера, где душа, надежное будущее! Только там человек будет считать все своим, кровным! Не чужим, господским!.. Неоценимая вещь — вера, вера народа! — сказав последние слова. Апейка подумал, что размахнулся широко — вера *народа*, — но уже не мог остановиться. — В революцию мы победили потому, что в нашу партию, в Ленина поверили. Народ поверил. И забывать этого нельзя!..

— Время нас подгоняет, Ваня, — ласково сказала Зина.

— Подгоняет. — Апейка задумался. — В армии хороший командир обмозгует будущую операцию, подумает, Зина, не только над тем, как добиться победы, а и какой ценой. Из многих способов выбирает тот, который принесет наибольшую пользу при наименьших потерях. Хороший командир должен видеть не только то, как быстро он возьмет высоту, а и как надежно закрепиться на ней. Великая радость это — видеть, что каждое слово твое доходит, что понимают тебя.

— Принуждением, разумеется, можно многого добиться. Народ наш привычный к этому. Прошлое приучило.

Много можно добиться принуждением, а и много потерять! Далеко не всего — принуждением!

Мыслей было много, теснили, перебивали друг друга. Как будто заждались, рвались на волю. Мыслями полна была голова в эти минуты, и Апейка радовался, что есть с кем поделиться.

— Чтоб он поверил нам, мужик, надо, Зина, чтоб и мы ему верили. Верили хотя бы в то, что не враг себе. Добра себе хочет!.. Хочется все понять! До всего дойти умом и сердцем! Есть любители считать доблесть в том, что не умеют рассуждать. Партия сказала, партия решила!.. Нечего рассуждать!.. А я хочу думать, хочу понять все, ощутить, как свою правду! Я должен убедиться во всем, а для этого я должен понять все, почувствовать! Умом и сердцем! Подлинный большевизм и есть

убежденность! Мы большевики от убежденности. В этом наша особенность и наша сила! Сила! Ибо нет ничего сильнее, чем твердость убеждений! Я большевик не по билету, а по убеждениям! Был таким и буду таким! Буду всегда добиваться, чтобы не оставалось ничего неясного, непонятного!

Он говорил горячо, чувствовал в себе упорство, не поддающееся ничему. Чувствовал себя способным одолеть все. Видел перед собою Зину, а ему казалось, это Башлыков, все те, кто думал, что осилили его.

(На полях: Апейка делает выписки из Ленина. Дать их. Раньше дать — ночью после Мозыря.)

Он был ничем. Без работы, без партии. Много времени. Куда девать себя.

Никуда не ходит. С людьми тяжело. Читает Ленина. Приезжают сестры, отец, брат.

Развернуть *широко Дубодела* здесь. *Характерная* фигура. Его пора.

К этому. Дубодел едет с Миканором. По гати.

— Лишнее это — сход бедноты. Зачем это. Решили — и все. Сход еще. Волокита лишняя.

— Положено. Чтоб с народом.

— С народом? Наберется всякого, шум подымут. Гвалт. Распушают. А то сразу. Тепленьких взяли бы. Пришли. Так и так, собирайся!

— Нарушение.

— Знаю. Говорю, как лучше. Вот соберешь, скажешь. А у того брат, у того сват!.. Матка одна!

— Это правда.

Миканор сам беспокоился. Конечно, так легче было бы, но решение. А он секретарь ячейки, не кто-нибудь. Должен пример показывать.

Сомнения — о Ганне. Жаль. И правильно ли?

В с/с [сельском Совете]. Когда обсудили списки, Дубодел — о Евхиме:

— Уточнить. С семьей.

— Какая у него семья...

— Есть семья.

— Он один.

— Не один. Женка у него по документам.

— Дак она же бросила.

— Мало что, для виду.

Споры. Но вписали. Уточним.

И еще уточнил: Степана Глушака выписали из коммуны.

— С корнем вырвать. Не оставлять отростков. А то и не оглянешься, как вырастет опять!

Был в селе богатей — злыдня, конокрад. Нажил себе добро темными ночами. Не любили его. Охотнее, чем всех, решили раскулачить, руки поднялись дружно.

Когда о Прокопе — молчание.

Миканор и Дубодел едут «кулачить».

Как и ожидал, основные споры о том, кого раскулач[ивать]. Спорили о Глинищах. Много. Защищали некоторых. Он настоял.

Курени — под конец.

Споры о Ганне. Баш[лыков] насторожился.

Думает: как все делать? Охрана необходима. Не хватит своих. Не будет ли выступлений. Кого в первую очередь?

Куда ссылать будут?..

Угроза ареста над Василем. Василь волнуется. Но угроза минует. Миканор скрыл. Пожалел.

Когда обсуждают в с/с [сельском Совете], кого на высылку, Дубодел к Глушаку привязывает Ганну.

— Дак она ж бросила. Живет отдельно.

— Мало што отдельно. А в прошлом была в родственной связи. По документам, до сегодняшнего дня значится женкою етого гада — Глушака Евхима.

— Чего прицепился к ней?

— С корнем рвать дак рвать. Все отростки.

Башл[ыков]: сложно. Конечно, Дубодел перегибает.

Но заступиться — политически неправильный оборот, зажим инициативы. Можно подумать: прикрывает. (А вдруг знают...) «Личные мотивы надо отбросить».

— Давай дальше, — Башл[ыков].— Вопрос остался открытым.

Можно было считать и так, и этак.
Дубодел это позднее использует по-своему.

...Мать нетерпеливо:

— Все в колхоз вписываться собираются. И Петриковы, и Сорока, и Чернушки. — Горячо: — Василько! Покуда суд да дело! Может, сжалятся! Все заберут да еще в сани посадят! Ехать на край света, на чертову погибель!.. Все пропадет, все! Дак хоть самим остаться! Малое хочу уберечь! Да и деда, куды ему! Да и самому!.. — Василю это не понравилось, заметила сразу. — Ну, за себя не боишься, дак за других побойся! За малое! — Нашлась, сменила разговор: — А и там живут люди! И мы жить будем не хуже других. Там, видно, живут те, у кого руки есть. А мы что, без рук, больные какие!

— Правду мать говорит, — вступил и дед.

Василь оторвался от матери, вышел на двор. Противно было слушать: не потому, что неправда, а потому, что все было правдой и все было просто, не знал, что возразить.

Неспокойный, тревожный был этот день у Василя. Никогда он не предчувствовал так близко беду.

Как на ненадежное, смотрел на хозяйство; что б ни делал, куда б ни пошел, все вызывало чувство неуверенности. Боль и тревога. Пошел в хлев, к коню; странно, глядел как не на свое, будто отдавал уже. И овец видел как не своих.

По хрусткому снегу выбрался за хлев, пошел на гумно, открыл ворота. Скрип пронзил, как жалоба: и нас отдашь?

Пахло соломою, трухою. И снова виделось все, будто свое и не свое. И каким дорогим, милым представилось: и гладкие дубовые сохи с кривыми суками, и цеп, и клеть с соломой, кучка мякины в уголке.

Сел на клеть. Тихо было. Сидел, отдыхал. Почувствовал вдруг, как устал, будто всю ночь и все утро махал цепом. Хорошо, что никого нет. Посидеть можно, не слыша ничего.

Потом уже стали грызть мысли. Правду сказала: нет выхода. Съехать разве, дак куда ж денешься, коли света дальше Куреней не видал. И что за жизнь ему на чужбине. Да и мальй, матка, дед как? Не бросать же их! Он же основа всему, и ему ответ держать за всех.

Василь, когда раскулачивали, не ходил никуда, но наблюдал за всем, что происходило. Видел, как проехал Глушак и Евхим, как повезли.

Потом мать привела Маню, которая билась в слезах. Опустил топор.

Замычал с отчаяния. Увидел корову...

Выскочил. Дикий взгляд. Жена в ужасе назад. Спихватился, но вспомнил — снова в лице дикий гнев.

Выбежал к амбару. Намотал в кармане кресало. Высек огонь, в солому.

Жена заголосила. Стоял, смотрел, как берется огонь. На дворе судачит народ, боятся заходить. Поднял топор, к гумну.

Боятся подступиться. С колом Хоня. Зашел сзади, стукнул. Прокоп — объехал.

Связали, лежал молча, дико шнырял глазами. Около амбара засуетились с ведрами. Дым крутил. Хватились вовремя — потушили. Ветра не было, один амбар сгорел.

Когда раскулачили Н[ибыто-Игната]— семеро малых, голых — не во что одеться, чтоб везти в ссылку. Дырявые свитки не на всех: соседи от жалости стали собирать, что можно, чтоб одеть в дорогу. Кое-как и одели всех. И с плачем, с рыданиями провели. Голосьба на всю улицу. А они, малые, укутанные, только испуганно выглядывают.

Этим жили и другие в хате. Мать, что исчезла на какое-то время, вернулась с новостью.

— Говорят, щэ будут брать. И первыми нас вписали... Как Прокоповых свояков. И щэ за то, что с Игнатом дружил.

Людей на Прокоповском дворе (старого уже не было: сидел, в Юровичах)... Жена, трое детей. Среди них стояла, всхлипывала Маня. Василева мать взялась за нее, уговаривала: «все равно не поможешь», пробовала увести. Был дед Денис — глядел молча. Володька наблюдал жалостливо и с интересом.



Прокоп

Дать надо.

Назначили раскулачивать. Дошло.

Когда уполн[омоченный] пригрозил, молчал, молчал. Пошел грозно на

уполн[омоченного]. Еще немного, сломал бы. Молча подвинулся к дому. Молча — с топором — на двор. Под поветью — сани. Стал бить, ломать. Телеги, козлы для дров. Жена голосить. В хлев. (Замахнулся топором на коня. Рука онемела: глаза коня перед собою.)

Когда Глушака везут селом — мать Миканора в голос.

— Халимонко, Халимонко! Куды ж ето тябе!

— Спроси сына своего, Адарья! — задрожали губы, злость с обидой.

— Ой, не надо! Не надо! Ой, нашто ж ето!.. Не сердись, Халимонко!

Не хотели мы!

— Кто не хотел, а хто — хотел!.. — Он преодолел злость и обиду, сказал великодушно. — Оставайся счастливая, Адарья! Не поминай лихом.

— Ой не! Только — доброе буду! Молиться буду, Халимонко! Чтоб добро було и там.

— Бог не покинет, можа!

Старый Даметик едва оттянул ее.

...Вдруг запричитала Глушачиха. Кинулась к дому. Упала на землю.

— А божачко, а божачко! Да как жа ето идти да из своей хаты? Да куды ж ето, в такой холод. Да в такие годы!..

— Тетко, садись! — Миканор дал приказание ехать. — Нечего тут спектакль устраивать!

Глушак взял старую под руку, довел до саней, посадил. Поклонился, сел сам...

Он при дороге был. Выглядывал, как будут везти. (Встретил. Прощание с матерью. Слезы. Отец прослезился — не поминай лихом). А может — не посмел подойти. Побоялся. Мать отговаривала перед тем.

Самая большая толпа собралась у хаты Нибыто-Игната. Содрогнулись, когда Игнат вывел детей: девятерых, мал мала меньше. Кто во что одетый: в опорках, в лаптях, в кожихах, в свитках. Гайлис тут наблюдал, распоряжался. Игнату (о детях) — Почему не одел получше?

— А вы б выделили, товарищ, из раскулаченных запасов!

Худой, строгий распорядился, где кому сесть. Хадоська, заплаканная, заботливо усаживала, просматривала, куда что положили. Хадоська загоревала. Игнат оглянулся:

— Не плачь! Москва слезам не верит!..

Когда приказали ехать, оглядел всех:

— Спасибо нашему председателю и советской власти за то, что так

заботятся о трудовых людях!..

— Вы не разводите агитацию! — сказал Гайлис.

Хадоська бежит за возом, на котором везут отца, причитает. «И я! Няхай и меня!» Хоня останавливает, вырывается.

Маня всхлипывает: отца ее повезли в тюрьму. Мать одна да братья на возу.

По Глушаку никто не плачет. «Бывайте, люди добрые!..»

Дать жизнь Степана. Образ. К нему в Водовичи приезжает мать — сокрушается. Евхим заехал однажды. Приглядывается. Встретил Степан недобро: и так косо поглядывают.

Когда стали раскулачивать, идет в Курени. Хочет спасти мать. Жалеет ее очень. Говорит с нею. Она плачет, отказывается. Куды ж его одного. Вместе вековали, вместе и пропадать будем.

Сестра прибегает к нему. Или дочка ее — по ее просьбе. Отпустили сбегать. Попрощаться.

Прощается. Он — чтоб осталась с ним. «Куда ж он один». Он: «И я с тобою». Она просит: чтоб и не думал.

Однако он выходит. Ждет.

После бюро, когда Гайл[иса] исключили и Апейке «дали», Криворотый добивается: раскулачить Ганну.

Приходит.

— Собирайся.

— Куда ето?

— За мужиком своим.

— Ты что, гад, смеешься?

— Милиция придет. Уговаривать не будем.

Вышел. Параска успокаивает.

Собирается в Юровичи. Сразу к Башлыкову. Напала на него.

— В Мозырь поеду!

Тот колеблется минуто. Потом:

— Самоуправствовать не дадим никому.

Василь идет к Миканору.

— Поздно. — Миканор не принимает.

...Снова вспоминает Ганну. Правду сказала. Надо было идти. Не было б этого.

Надо было. Кто знал. Надеялся на лучшее. Лучшего ждал. Дождался.
Дурак — на лучшее надеялся.

А может, теперь не поздно. Как бы повидаться? Поговорить.

Дошло: ездит к ней из райкома. Слухи какие-то. Может, сплетни.
Сплетни, конечно.

Идет в Глинищи.

Встреча. Она холодная.

— Нет, Василь.

— Почему?!

— Есть причина. Дитя у меня. Евхимово.

Помолчал. И тут Евхим. Век будет.

— Доглядим как-нибудь.

— Нет.

— Сама ж говорила.

— Говорила. Было время.

— Дак теперь что?

— Слышал же.

— Дак я ж сказал.

— Не одно ето...

— А что?

— Перегорело.

Не сразу.

— А, ну тогда... конечно...

Шел и думал. Тот городской все. Отбил. Понятно. Где ему с тем тягаться!

И так жаль. Так обидно стало, что потерял. Что все так нескладно вышло.

Доля насмеялась над ним.

Снова ожидание. Ожидание беды. Без надежд на просвет. Ненависть и страх.

Немило все. Зачем и жить.

Василь оставляет село. Идет на лесозаготовки. Чувство облегчения.
(Не так гнетет.)

Много таких.

Потом, после «Головокружения от успехов», как отрезвели; в Мозыре иное настроение. Будто виноватость.

У Башлыкова, отмечает в одном месте Иван Павлович, реакция на статью такая: «Растерян. Не понимает ничего. Или — тактика, подход, временное».

После постановления «Об искривлении...» приехала комиссия из окружкома. Три человека. Башлыков принял это как и надлежало — естественно.

Было все ж тревожно: комиссия — это комиссия. Работает, чтоб найти. Плохо, что приехала в такое время. Люди после статьи «Головокружение [от успехов]» нащупали лазейку.

Он предвидел это, когда читал статью. Льготы дали отсталым настроениям. Что ж, так надо. Раз Сталин сделал, значит, так нужно. Сталину и ЦК виднее, они учитывали положение страны в целом. А для его района это не на пользу.

Как нарочно, такое в районе — и на тебе, комиссия. Что ж, комиссия разберется, увидит, он делал все как следует, твердо вел большевистскую линию. Действовал соответственно указаниям высших органов. Не щадил себя. Сделал все, что можно.

Башлыков спокойно, с достоинством доложил комиссии о положении в районе, о том, что делали. Называл решения, сообщал о принятых мерах, подкреплял цифрами. По памяти. Они слушали, записывали. Его рассказ, было видно, вызывал у них одобрение.

Потом спрашивали других, в райисполкоме, говорили с Кудрявцом. Насколько Башлыков знал — Кудрявец передал, — тут также все было чисто. Хуже было, когда поехали по району. Дошло потом, что в Алешниках заинтересовались Гайлисом, говорили с ним. Что долгая беседа была в Глинищах. Заезжали в Курени. Об этом и о многом другом сообщил Дубодел. Говорил с недовольством, высокомерно.

По его тону Башлыков понял, не все идет гладко. Не сами факты беспокоили Башлыкова, а то, как преподнесены. То, насколько комиссия сумела подняться над всякими настроениями и наговорами. И смогла ли вообще подняться. Любой факт можно повернуть по-разному.

В таких условиях он работал. И все видели его неизменно ровным, уверенным. Обтянутая гимнастерка, по-военному подпоясанный, в начищенных сапогах. Стройный, с легкой походкой. Деловитый, как всегда.

Мало кто знал, что на душе у него мерзко. Те предчувствия, которые возникли, когда читал «Головокружение...», точат сильнее и со всех сторон. Вплотную подошла, кругом обступила беда. Беда, живые

проявления которой он чувствовал все острее. И которые множились.

Оглядывался, вспоминал и видел, как может все повернуться против него. Мысли не давали покоя, он заглушал их работой. Из-за них носился по району, пробовал развеять. Но они всюду преследовали его, особенно в районе, где выпирала неразбериха. Отдыхал в дороге. Но хуже было вечерами. Он потерял сон. В бессоннице вышагивал по кабинету. Сидел, сжав руками виски, что разламывались от боли.

Оставался еще день встречи с комиссией. Теперь спрашивали только они, а он ждал. Объяснял, скрывая беспокойство, про вред, про Гайлиса, про Глиници. Объяснял, выходило так, будто оправдывался. Видел, не одобряли за многое. Худо было, теперь и сам видел, что сплеховал, перегнул тут. Теперь и сам не поступил бы так. Теперь все виделось иначе. Тогда представлялось по-другому, как они не понимают.

Но ему тошно было оправдываться. И он старался отвечать коротко. Не терять достоинства.

Наконец, если и ошибся в чем, то честно. Ошибок нет у того, кто не делает ничего. Правда, успокоение не приходило. Он был строг не только к другим, прежде всего к себе.

Члены комиссии затронули историю с Евхимом Глушаком. Он рассказал, что знал со слов Харчева, Дубодела. Здесь все в порядке. И вдруг председатель комиссии — Башлыков уловил пронизательный взгляд.

— Вы знакомы с его женой?

Башлыков оцепенел на миг. Не мог скрыть тревогу. Что еще они знают?

— Вы встречались с нею?

— Как вас понимать?

— Ну, в школе и за ее пределами?

Взял себя в руки. Снова обрел выдержку.

— Встречался. Два раза.

— У вас были, простите, близкие отношения с ней?

— Близкие.

Больше не сказал ничего. Больше они не спрашивали. Все и так ясно им и понятно.

На этом разговор закончился. Из всего, что было, последнее особенно поразило.

Долго ходил. Не мог успокоиться. Не мог принять никого. Тут ударили особенно больно. В самое яблочко.

«Знают. И это знают. Откуда?» Но удивление отступило перед

большим, безысходным: как в их глазах, в глазах всех он скомпрометирован. В их глазах он человек, который путался, вел амуры с женой кулака, да еще такого бандита.

Для них он человек морально нечистоплотный, ненадежный. И как объяснишь все? Да и что тут объяснять? И ни к чему философствовать, оправдываться. Каждый оправдаться старается.

За всем этим Башлыков ощутил беду — реальную, неотступную.

Чувствует, ветер подул с другой стороны. В сторону дует. Сила поворота готова выкинуть его из седла.

Комиссия из округа, слушают в округе. Снимают с должности. Пленум райкома. Теперь, когда повернулось, все выглядит иначе.

Едет из Юровичей. Так кончилась карьера. Позорно.

Иван Павлович, напряженно обдумывая заключительные разделы романа «Декабрь, метели», не раз говорил, подчеркивал, и все с большой настойчивостью, возможно, это важно очень для него было: Башлыков со всем, что в нем было дрянного и доброго, — сын своего времени. Человек по-своему честный, преданный, принципиальный. И надо видеть, где его вина, а где беда...

И отсюда, видимо, эта запись о Башлыкове, который снят с должности и должен вернуться в свой Гомель с позором.

...Когда Башл[ыков] понимает, что рушится все, чувствует себя ничтожным, беспомощным. Плакать хочется. Зачем несправедливо наносить обиды.

Пробуждается, крепнет человеческое. Пощадите. И чувствует, пощады нет. Пропадает. Никто не хочет руки подать.

В одном из набросков читаем: «Трагедия Башл[ыкова] — трагедия человека честного».

В Жлобине Апейка увидел толпу вокруг газеты. Хлопец читал. Человек десять протиснулись, перебивали, спорили. Заинтересовался. Статья Сталина! «Головокружение [от успехов]...» Слушал. Читал и не верил, с души камень свалился! Значит, он был прав!..

В Бобруйске выбежал купить газету, почитать еще раз, вчитаться; не было — все распродали.

Радостно стучали колеса. Светилась надежда.

В Минске влажный ветер. На оттепель. Под ногами талый снег. На тротуарах следы.

На вокзальной площади купил наконец газету — перечитать еще раз все самому.

Заглянул в гостиницу, мест не было. Проходило то ли какое-то совещание, то ли пленум ЦК. Пошел в Дом колхозника, добился койки. Комната большая — на пять мест. За окном облезлая стена монастыря.

Всюду разговоры о статье. Сильное возбуждение и растерянность многих. Пошел к Белому. Не было.

Дождался.

— Придется подождать. Пленум завтра. После пленума.

...Вызвали только через два дня. Апейка прожил это время в беспомощном ожидании. Но все кончилось хорошо — в партии восстановили. А выговор все же вынесли. На всякий случай, подумал Апейка, еще не привыкли к новому повороту.

Ехал назад все же с настроением победителя. Бог с ним, с выговором, факт, что снято обвинение.

За окном веселое весеннее солнце. Синее широкое небо. На станциях слышно было, как кричали грачи. «Скоро сев...»

Представлял, как теперь держится Башлыков. Заехал в Мозырь. В окружком. (Бывший друг, который отвернулся.)

«Да, да, знаем. Звонили. Что ж... поздравляем... Н-да... Крепкая припарка... Сталинская!..»

«Принимаем меры. Решительные. Башлыкова вашего проверяем, факты тяжелые. Просто под постановление! Оргвыводы, видно, будем делать!»

Было что-то фальшивое между ними. И намек, что Башлыков полетит, не радовал. У Апейки было удивительное равнодушие к нему.

Работа пока не определена. Только ясно, что с Юровичами придется распрощаться. Там новый человек работает, не снимать же.

Но, как бы там ни было, в Юровичах пока его пристанище. На попутной подводе подался домой.

В Куренях (в селах) после статьи Сталина «Головокружение [от успехов]».

Как ее приняли.

Как хвалят Сталина, сов[етскую] власть. Ругают «своих» руководителей.

Успокоение.

Башлыков. Харчев. Растерянность.

Солнце. Ганна возвращается домой. Снег. Весна. Курени.

Свободно. Глушаков нет. Селище их пустое. Где столько страдала. (Собака Глушаков). Жаль Степана.

Дома. Со своими. Начинать заново. Отец. Мачеха. Федька. Володька приходит. Друзья.

Отец, мачеха — споры. Мачеха недовольна — уступили. Надо было держаться. Ганна заступает за отца. (Дать подробно.) Приглядывается к колхозу. К новым порядкам. Сама стала другой: «Отвыкла от грязной работы».

Василь. Как он живет?

Думает о Башл[ыкове].

Встретилась с Василем. Мельком. Несколько слов. «Как все переиначилось!»

Маня бросает взгляд на нее.

О себе Ганна. Как быть? Василь — отрезанный ломоть. Башл[ыков] — пустое. Подурнела.

О ребенке думает. Память Евхимова. На всю жизнь!

С Миканором.

Г[анна]:

— Взял бы к себе.

— А что? Вот и возьму.

— Нужна я теперь такая.

Василь вступает поздно. Только (в 1933 г.).

Линия Василя. После раскулачивания Глушака и др[угих] просится в к-з [колхоз]. *Миканор не принимает.* («Не принимать кулаков»).

(Тогда Василь уезжает из села).

Потом — после статьи Сталина — возвращается. (Не верить. Верить. Знает: покоя не будет).

Может, записаться? (Тут и Ганна имела влияние). Главное — тревога за судьбу свою. За сына. И материны страхи. И дедовы советы.

Двойственность настроения. Жаль своего нажитого. Коня. «А может, пронесло бы?» («Выпишусь, коли что такое»).

Весна бушует. (Через год? два?)

Вот она, Корчева полоса. О которой мечтал. Все поломалось. Ни

Ганны, ни земли. «Дурень».

Так, наверное, надо.

И надо жить как есть. Как доля предназначала.

Жить.

То, что вы прочитали, разумеется, не сам роман, а всего лишь материалы к заключительным главам романа «Метели, декабрь». Что-то угадывается больше, что-то меньше, но угадывается. Например, линия развития характеров и судеб Башлыкова, Апейки, Ганны, Василя...

Как вспоминает И. Я. Науменко, в разговорах с ним Иван Павлович высказывался примерно так, что хорошо было бы «посадить Василя в окоп». Возможно, что видел, какой это будет стойкий боец, когда перед ним окажется враг, что пришел отобрать у народа землю. И, по всей вероятности, обязательно послал бы Василя на фронт или в партизаны – туда направляются события в набросках, материалах, которые выходят за хронологические рамки последнего прижизненного романа «Метели, декабрь». Тем более что один из прототипов Василя – Павел Мотора как раз и был солдатом в Великую Отечественную войну, вместе с Иваном Павловичем служил в Карпатах.

От следующих после романа «Метели, декабрь» незавершенных книг «Хроники» в архиве Ивана Павловича остались фрагменты, главы, значительно раньше написанные. Больших две.

Самые интересные о том, как Евхим, скрывавшийся в лесах, возвращается в Курени, чтоб отомстить всем – Ганне, Василю, Миканору. Этот отрывок мы и даем в завершение публикации.

Евхим стреляет в Василя. Это в тексте и было разработано, как Ганна пытается уберечь Василя. Но имеется позднейшая авторская правка: вместо вычеркнутого Василя надписано имя Миканора. Возможно, все в этой сцене переработалось бы «под Миканора».

Но здесь мы даем текст первоначальный — действуют Василь и Ганна.

Милиционеры шли следом. Постреляв издали, поняли, что взять легко не удастся, отстали. А они все гнали и гнали. Увязая в глубоком снегу, ломались сквозь заросли кустарника, озираясь, сунулись через полянки. Чтоб сбить погоню со следу, торопливо, в тревоге бежали по чужим протоптанным тропинкам.

Только под утро, в каком-то глухом ельнике, свалились — отдышаться. Свалились прямо на снег, под низкий лапник, с которого сыпалась колкая, морозная пыль, молча остывали от бега. Все были понурые, все, должно быть, думали об одном. Это — конец, это гибель. (Банда разбита, берлога раскидана.) Им троим удалось спастись: Цацуре, Кандыбовичу и Евхиму. Они выбрались из беды, спаслись, но смерть еще как будто ласкала их,

была еще такая близкая в памяти. И не только в памяти, она, казалось, преследовала их, подстерегала каждый миг...

Вверху уныло прошумел ветер, низкая ветвь сыпанула на них снежной пылью. Где-то далеко протяжно проскулил волк, — от этого завывания еще плотнее охватила тревога и одиночество. Они были одни среди гущи, предательской чащобы и промозглой стужи.

— Кеб немного — каюк!.. — первый нарушил молчание Цацура.

Кандыбович, бережно державший перевязанную грязным лоскутом раненую руку, простонал:

— Донес кто-то...

— Зима... Следы небольшие... — заперечил Цацура.

Кандыбович скрипнул зубами:

— Треб найти, где согреться!..

— Аге, найдешь! Как раз на милицию и напорешься!..

— И назад, ядрёнь, нельзя... — не так рассудил, как поплакался Кандыбович.

— Аге, ждут там.

— Такой тайник был! Обогреть, теплый...

Кандыбович застонал. Евхим, которого уже давно злило нытье Кандыбовича и раздражали стоны, наконец не вытерпел:

— Заткнись, ты... зануда!

— Тебе бы так! — обиделся Кандыбович. — Кость, может, зацепило...

Горит...

— Терпеть надо!

— Попробовал бы сам!..

— Нашли время грызться, — вмешался рассудительный Цацура.

Евхим мысленно согласился, сдержал себя, сказал, как бы оправдываясь, примиренчески, мягко:

— Чего тут плакать... «Обогреть, теплый»... Было — да сплыло... Нечего жалеть. Теплее все равно не станет...

— Да и впрямь, — согласился Цацура. — Новый искать надо тайник, ды — обогревать! — Он добавил рассудительно — Пока бы хоть на ночь, кеб не околеть... Может, где на лугу? В стогу, а?

Евхим запротестовал:

— В стогу — плохо. Могут за сеном приехать.

Но другого выхода не было. Холод подбирался все сильнее, все злее, а потому, особо не рассуждая, вылезли из-под лапника, потянулись поискать, хоть на первую пору стожок. В густом сосняке, горбясь в глубоком снегу, внезапно набрали на выворотень — огромнейшая сосна, падая, зацепилась

за своих подруг и зависла, большущая шапка, вывернутая с корнями земли, легла над ямой, как стреха. С этой стрехи, обсыпанной снегом, будто жерди-лапы, торчали голые, побелевшие пальцы корневища, с двух сторон надорванные корни так и остались в земле: повиснув, сосна не оторвалась совсем от земли, а только с той стороны, где была шапка-крыша, чуть приподнялась. Получилось что-то вроде пещеры.

— Во, тут можно, — сказал Цацура. — Отгрести снег только.

Выгребли снег из пещеры ложами обреза. Когда кое-как добрались до земли, приклады залязгали железом, — мерзлый песок внизу был прихвачен ледяной коркой. Евхим пошарил руками в самом глубоком месте, — на их счастье, лужин не было, ледок лег, наверно от позднего дождя. Он вынул нож и стал бить, скалывать ледок.

Наломали лапнику, подстелили поднизом, сколько можно было, прикрыли ветвями дырку, залезли один за другим. Утомленные, голодные, лежали чужие друг другу, злые на все на свете, — молчали, сдерживали холодную дрожь. В этой берлоге было не теплей, чем снаружи. Кандыбович снова шипел, стонал, и Евхиму хотелось просто задушить его. Никогда не думал, что — такой слюнтяй, и без того тошно, а тут еще он, со своим нытьем!

Надо было Цацуре сказать, что у него есть табак! Есть табак и нет спичек! Такая злость на все, что, если б мог, пошел бы в первое, ближайшее село, поджег бы, кажется, чтоб согреться, но не мог, не мог снова встать, вылезти на мороз, на ветер, ноги, руки, голова, все тело были как чугунные.

Сон был тяжелый, дурной, также будто чугунный. И спал, и как будто не спал, бредил, как больной и, когда проснулся совсем, головы не мог поднять. В берлоге было сыро, мокро, тело было будто стиснуто бляхою, вставать, вылезать на свет не хотелось. Не спали уже и другие, также не шевелились, не вылезали.

Евхим заметил, что Цацура что-то лениво жует, повернул к нему голову.

— Что ешь?

— Колбасу. Теща зараз прислала, с сорокою... — глотнув, мрачно пошутил Цацура.

— Не плети, бугай! Правду говори!..

— По правде табак...

— Какой табак?

— Тот, что уцелел... какой курят, коли огонь есть...

Последние слова Цацура завершил бранью. Евхим попросил:

— Дай мне...

Вылезли из пещеры поздно, молчаливые и злые, как голодные волки. Горбясь, тяжело горбясь, засунув обрезы под поддевки и кожухи, сунулись в чащу. Скоро напали на след саней, не утерпели, пошли по легким санным колеинам, около которых кое-где желтели маленькие клочки сена. Санная извилина привела их на лесную дорожку. Дорожкой поплелись беспокойно, поодаль друг от друга, готовые в любой момент выхватить оружие. Когда впереди проглянула чистая ровнядь поля, темные хаты и гумны за изгородями, остановились, какое-то время молча наблюдали. Кое-где из труб заманчиво вились белые прядки дымков.

От вида этих хат, дымков еще больше заныло в желудках. Торопливо глотая слюну, Кандыбович предлагал идти в село тихо, милиции и на духу близко не слышно, можно подкрепиться, ядры его. Но как бы велико ни было искушение набить утробу, обогреться возле печки, Евхим не поддался, не согласился, очень уж запомнилось вчерашнее, чтоб подать просто так милиции вести о себе, самому полезть на рожон. Ему еще не наскучило жить.

После вчерашнего власть и сила Евхима перед другими заметно ослабла, — Кандыбович не только не послушался его, а готов был со злостью накинуться на него, и только слова Цацуря, который поддержал Евхима, остановили спор. Кандыбовичу осталось только недовольно поджать губы. Одно, что интересовало теперь Евхима, когда он смотрел на чужие, угрожающе притаившиеся хаты, было: что это за село, где, где, в каком они теперь месте. Но ни Кандыбович, ни Цацуря этого тоже хорошо не знали.

Когда обошли село, послушав, оглядевшись, снова выбрались на дорогу и потянулись дальше. Еще издали внимательным, настороженным ухом услышали скрип саней, ровный стук копыт, быстро свернули, грузнув в снегу, нырнули за кусты. Согнувшись, следили за дорогой: ничего особенного, ехал откуда-то старик в тулупе и валенках, уткнул голову в плечи, как будто дремал...

Как и вчера, ими руководило, вело одно желание — дальше от милиции, от облавы, от беды, от которой едва избавились, — но усталость и голод приглушали это желание. К полудню уже не то что по снежному насту, а и по дороге едва ноги волочили. От Цацурова табака, который жевали, чтоб отогнать голод, тошнило.

Кандыбович вдруг закачался и, ухватившись за ближайшую лозину, остановился.

— Ну, чего? — бросил ему Евхим, почти с ненавистью.

— Голова кружится...

— Голова!.. То голова, то рука, то — еще что...

Отошли от дороги, сели на пни, на снег. Кандыбович загребал ладонями снег и клал в рот, Цацура раз за разом плевал, харкал. Евхим старался не глядеть ни на кого, вперивши тяжелый взгляд перед собой, думал о том, что надо делать, где искать выход. Чем больше думал он над вчерашним, тем сильнее чувствовал, что это не просто беда, что петля затягивается все уже, ему только везение помогло вывернуться, а завтра удачи этой может и не быть. Мир населен негодьями, подлецами, даже те, кто не чужой был, отвернулись, продать в любой момент готовы, — если бы мог — передушил бы всех, как гадюк, как клопов, огнем и пеплом развеял бы поганые их гнезда, чтоб знали, дрожали чтоб, — но он один, Цацура только с ним, а их, гадов этих, тысячи. И он снова и снова возвращался к мысли, которая приходила уже не раз еще там, на Чертовых болотах: надо отступить, выйти из игры. До поры, до времени... Помощь найти, хорошую, надежную, силу... Подготовиться, выбрать момент — и ударить!

Кандыбович, оказалось, тоже думал о том, что делать:

— В Кобылеве — родня у меня... Тесть... Пересидеть можно было б, ядрит твою...

— Выдумал! — запротестовал Цацура. — Через неделю накроют... Как пить дать...

Погребок у них есть... тихий... И около лесу...

Цацура промолчал. Евхим подождал, сказал задумчиво:

— Лбом стену один не пробьешь... — И он открыл вдруг дорогое, заповедное: — За границу подаваться надо... В Польшу...

— В Польшу — плюхнул!

— Кто — плюхнул? — густо покраснел Евхим.

— Ждут там тебя...

— Ждут, не ждут. — Евхим добавил со злостью. — Один выход.

Кандыбович не сказал ничего, но, было видно, остался при своем мнении. Цацура, харкнув желтой слюной, сказал Евхиму:

— Може и твоя правда. Не отцепятся легавые, должно быть...

— Дыхнуть не дадут!

Кандыбович откликнулся не сразу.

— Вам хорошо говорить, — сказал он с раздражением. — А как я, с такой рукою!

— Полечат! — бросил Евхим.

— Охота им там возиться!.. И опять же — граница, черт знает, где! Пока доберешься! А тут — ноги гнутся! Не евши!..

— Дотянешь!

— Не век без харчей будем! — поддержал Евхима Цацура.

Долго молчали. Хоть сидели все вместе, однако почувствовали — Кандыбович — обособленный, чужой.

Евхим кипел от злости. Злость эта была вся на Кандыбовича, на которого Евхим теперь не мог спокойно смотреть. Евхима все раздражало, злило в нем: и то, как он сидел на пеньке, как держал руку, как глотал снег, и, разумеется, каждое его слово. Но если б Евхим умел заглядывать в себя, искать причины своего настроения, он не мог бы не заметить, что злость на Кандыбовича шла совсем не от Кандыбовича, не от того, что тот отказался идти. Кандыбович не меньше злил бы Евхима, если б делал обратное: просил-молил забрать с собою за границу, клялся, что, не обращая внимания на ранение, останавливаться не будет в дороге. Евхим тогда б злился на него, и, наверное, с большим правом, что придется еще возиться с ним лишний раз, когда и без того хлопот достаточно. Евхим злился на Кандыбовича потому, что в нем кипела злость — злость на неудачи, на несчастье, которое искало, на ком остановиться, — она нашла того, кто был близко, перед глазами, был доступный...

— Ну как? — бросил Кандыбовичу, коротко, жестко, Евхим.

— Что?

— Чего дурня гнешь? С нами — пойдешь?

— В Польшу?

— Не в Соловки. За границу, сказал уже.

— Не.

Евхим резко рванул сук ольхи, попробовал сломать; аж пальцы побелели.

— Куда же подашься?

— К своим. Перепрячут.

— К своим? — недоверчиво впился взглядом Евхим.

— К тестю.

— Не брешешь?

— Чего брешу?

— Не валяй дурака... не в милицию?

— Это чего?

— К Харчеву.

Кандыбович вяло засопровтивлялся.

— Что ты плетешь?

— Что плету, знаю.

— Ерунду ты знаешь, вот что.

— Не вилай! Вижу все! Духом чую... — он сверлил Кандыбовича глазами. — Грехи замаливать захотел?.. Других выдать. Навести на следы?

— Ну, плюхнул! Надо мне это.

— Знаю я тебя, падла!

Тут вдруг вмешался Цацура, — как будто приказал:

— С нами пойдешь!

— А коли — нет?

— Пойдешь. Нас — больше. Двое, а ты — один.

— Ну, так что — что один?

— Подчиняться должен... Акромя того, Евхим — старший.

— Нет теперь старших... Все равные...

— Все да не все!

Евхим, наконец, переломив, швырнул ольховый сук, голосом, в котором слышалась неприкрытая угроза, сказал Цацуре:

— Пускай идет! — И, посмотрев уже на Кандыбовича, добавил: — Иди!

— И пойду!

— Иди!

Кандыбович, держа под мышкой обрез, сгреб снег около себя, пососал и как сидел, так и остался сидеть.

— Иди! Чего не идешь?!

— А мне не к спеху... Управлюсь...

— Боишься? — Евхим едва сдержался, чтоб не бросить: «гад!»

— Чего?

Не глядя на Кандыбовича, Евхим чувствовал, видел, что тот следит настороженно, обрез, что дулом лежит на коленях, держит... уже наготове в руке. Раненая рука также наготове. Куда и усталость подевалась. Евхим поднялся, нарочно спокойно сказал Цацуре:

— Пойдем!

Цацура послушно встал. Кандыбович по-прежнему делал вид, что не следит, не интересуется ими.

— Мы — сюда, — бросил Евхим наперед. — А ты — туда. Одним разом. — Евхим сказал эти слова жестко, решительно, как неперемное условие. — Да гляди, чтоб без штучек каких! — предупредил он угрожающе.

— Нужны мне штучки эти! — согласно, примиренчески ответил Кандыбович.

Евхим заметил, что, услышав его предупреждение, Кандыбович как бы немного поспокойнел: видать, то, что Евхим сам предупреждал, чтоб

никаких «штучек», было ему знакомо, что штучек не надо опасаться. Напряженность у Кандыбовича, правда, пропала не совсем, Евхим это почувствовал, и все ж и внимательности прежней уже не было.

Евхим встал с таким видом, как будто сейчас же готов был отправиться в дорогу, — он не пошел сразу же, казалось только потому, что ждет, когда и Кандыбович выдержит условие, встанет. И Кандыбович шевельнулся, чтоб встать. Только на мгновение, подымаясь, выпустил он из внимания Евхима, ослабил руку, что держала обрез, но и этого было достаточно. Евхим только и ждал этого: улучив благоприятный момент, брошенный вспышкой ненависти, которую так долго сдерживал, мгновенно, как рысь, рванулся на Кандыбовича и со всей силой ложем обреза ударил того по руке, что держала оружие. Обрез Кандыбовича сразу отлетел в сторону, уткнулся в снег, кисть руки, перебитой ниже локтя, повисла, как сломанная ветвь. Еще, наверное, не дошла до Кандыбовича боль, не сообразил Кандыбович, что надо сделать, хоть первое время, только сгоряча, дико пошел на противника, как другой, страшной силы удар обрезом обрушился на его лицо, проломил щеку, нос, глаз. Кандыбович качнулся, как пьяный, едва устояв, — подняв к лицу раненую руку и обломок другой, глухо завыв от боли. Ослепленный болью, ошалелый, он ступил еще шаг к Евхиму, но тут его сбоку ударил Цацура, и Кандыбович, странно дернувшись, стал сползать на снег.

Уже когда он упал, Евхим, не имея силы сдержать себя, дав волю дикой злобе, разъяренно ударил его носком сапога по голове. Он бил и бил, не выбирая, где придется, бил и все не мог остановиться. Цацуре не сразу удалось оттянуть его.

— Хватит! Готов! — сказал Цацура, крепко держа Евхима за локоть.

Только здесь, под взглядом Цацуры, что сам следил за ним с боязнью, Евхим, наконец, как будто пришел в себя.

— Подлюга! — процедил он, еще возбужденный, замечая, что весь болезненно дрожит. Он почувствовал в себе непомерную усталость, оперся плечом об ольху.

Цацура, стараясь не глядеть на залитое кровью проломанное лицо Кандыбовича, обыскал его карманы, вынул все, что было: ножик, зажигалку, пустой портсигар, черный грязный носовой платок, отдал Евхиму, который молча сунул все за пазуху кобуха.

— Галифе у него хорошие, — сказал Евхим, и Цацура стал снимать с трупа продранные валенки.

Сняв с Кандыбовича то, что нелишне было прихватить, Цацура все вместе с галифе отдал Евхиму, осторожно заикнулся, не надо, мол,

засиживаться, место беспокойное. Евхим спохватился, молча кивнул, соглашаясь с ним, оттолкнулся от ольхи. Вскользь глянув на ободранный труп, сказал, поморщившись:

— Прибрать бы, падлу, надо... Подальше, чтоб не смердело...

Ухватив за грязные с желтизной ноги Кандыбовича, они оттянули его в кустарник неподалеку, присыпали снегом, бросили сверху сломанную ветку, вернувшись, утоптали в снег залитую кровью одежду, валенки, портянки. Только тогда Евхим сказал спокойно:

— Ну, теперь — баста...

Они, оглянувшись, побрели в сторону от дороги.

...К полночи Евхим с Цацурой выходили из темноты к молчаливым холодным гумнам Куреней.

Село, сдавленное мраком и глубокой тишиной, казалось, крепко спало. Хаты, что едва обозначались вдаль за деревьями, за хлевами и амбарами, были, как гумна, такими же безмолвными. И все же в тишине этой, в морозном безмолвии таилось что-то недоброе, угрожающее, и оба непроизвольно остановились, постояли.

Евхим двинулся первый. Идя, засунув руку за пазуху, под кожух, потянул из-под пояса обрез, сделал так, чтоб в любой момент было сподручно достать. Цацура плелся за ним покорно, но видно было, без охоты. Если б Евхима интересовали мысли его сообщника в это время, он мог бы догадаться, что Цацура считает их заход в Курени рискованным, даже нелепым: какой же умник сам полезет туда, где больше всего может подстергать опасность. Цацура шел к гумнам, к селу, как на казнь, только потому, что этого хотел Евхим, и потому, что боялся его.

В другое время — прежде — и Евхим навряд ли поступил бы так. Предосторожность, рассудительность, которую он при всей своей горячности, бывало, редко утрачивал, наверняка удержала бы его от лишнего рискованного поступка. Но теперь Евхим был уже иным: неудачи, что сыпались на него одна за другой, и особенно последняя, на Змеиных болотах, выбили из обычного равновесия. Он просто поражал неожиданностью, неровностью своего поведения — то был какой-то особенно настороженный, опасливый, то удивительно беспечный, неразумно отважный. И поступки его были часто непонятные, внезапные.

Цацуре запомнилось, как Евхим испуганно кинулся в кусты, заслышав близко на дороге скрип саней, как, неизвестно почему цеплялся к Кандыбовичу, кипел от злости, — немало неясного засело в памяти Цацуры. Но больше всего беспокоило последнее — этот их заход в Курени.

Нужны им эти Курени, если на каждом шагу можно наткнуться на милицию, на смерть, если еще так далеко граница — единственное спасение.

Евхим и сам хорошо знал, что идет на риск и что риск этот необязателен, однако при всем том поступить иначе, как диктовала осторожность, как советовал рассудок, не смог. Он не мог по-другому поступить, потому что у него как раз было великое желание, настойчивое, неперемное, именно так поступить, и он не мог, не имел силы такой в душе, чтоб утишить, одолеть это желание. В том и непохож был Евхим теперь на себя прежнего, что не хватило у него силы заставить себя отбросить это желание, хоть и ненужное, сделать так, как надлежало ему, как подсказывала трезвость. Над утомленной, ослабевшей волей его брали верх настроение, чувство.

Нет, он не мог уйти отсюда, от людской молвы, из людской памяти надолго, может быть, очень надолго, просто так, тихо, незаметно исчезнуть, будто трясинной затянуло — был Евхим и нет Евхима. Не мог спокойно обойти стороной Курени, которые видели его позор и где он не раз мечтал появиться снова в своей былой, страшной славе, не мог трусливо, покорно затаить в душе недоговоренное, недоделанное, неутоленное, а потом долгие дни где-то вдали жалеть о том, что упустил: можно было рассчитаться, хладнокровно получить удовлетворение, а он, мол, побоялся, прошел мимо.

Евхим должен был во что бы то ни стало расквитаться, расплатиться сполна, сказать последнее свое веское слово. Чтоб не забывали, чтоб запомнили, даже если слухи о нем перестанут доходить, если окажется он далеко.

Когда думал о Куренях, не было у него ни любви, ни сожаления о том, что расстается с ними, с родным углом. Куда больше горечи и ненависти. Чем другим мог откликнуться в Евхимовой душе угрюмый пустырь в родном когда-то селении с раскисшими комьями штукатурки и битым камнем на месте хаты, с сиротливыми яблонями и грушами на чужом теперь огороде, с уцелевшим амбаром, словно сторожка на кладбище. Если что и как-то интересовало его в Куренях, так это Ганна и дочка, которые не раз вспоминались ему долгими вечерами на болоте. Они также были тоской, болью, но болью еще близкой, еще живой. Как ни далеко ушло прошлое, связанное с ними, память упорно не гасла, тлела в нем, тянуло сюда.

Суждено ж было так, что мысли о Ганне, мрачные, злобные, перемежались мыслями о Василе. Воспоминания о нем шли, однако, не от давних отношений, хотя былая неприязнь камнем лежала на душе Евхима.

К старым, неоплаченным долгам жизнь добавила новый. Хоть и не было у него прямых доказательств, хоть обычно держался правила «не пойман — не вор», Евхим все же на этот раз считал, что в беде, которая приключилась с ним на Змеином болоте, виноват не иначе как этот, мысленно называл его Евхим, подлый Дятлик. Неважно, что Евхим не видел его, «не поймал», никто иной, кроме Дятлика, не мог выследить их, выдать милиции, навести ее. Это, конечно, его работа, и напрасно он думает, что Евхим не знает или, если и знает, ничего не сделает. Он поплатится, подлый Дятлик, увидит, что значит поднять руку на Евхима! Увидит не только Дятлик, все Курени, что рано петь отходную Евхиму, радоваться его гибели — он живой, живет и жить будет! Евхим — это Евхим!..

Подойдя к забору, за которым был их прежний огород, Евхим бросил взгляд туда, где за серыми деревцами дремал амбар, но ни на миг не остановился. Походка его даже стала тверже, будто и сам стал сильнее. Остановился только у подворья Дятлов, колеблясь, сейчас зайти вынести свой приговор или позднее, побывать сначала у Ганны, у дочки. А может, сразу: повернуть, перелезть через изгородь и через гумно подобраться запросто к хате...

На селе протяжно, тревожно завывала собака, за ней еще одна, другая. «Как на волков...» — мелькнуло в голове, Евхим качнулся, но решил пойти дальше.

— Пошли сперва в гости... — сипло, простуженно бросил Цацуре, что плелся следом.

Обойдя Чернушкино гумно, Евхим, как и Цацура, двигался уже осторожнее, держа винтовку наизготове. Раз за разом останавливался, недоверчиво прислушивался — в селе, как и раньше, было тихо, ничто не предсказывало опасности. Постоял около хлева, от которого тянуло домашним запахом молока, теплом, услышал сонное дыхание коровы.

Оторвавшись от хлева, по протоптанной, скрипящей под ногами стежке с той же твердостью, что и перед своим селищем, направился к хате. Тут около крыльца, прижавшись к стене, пропустил вперед Цацуру, прошептал:

— Постучи... в окно... Скажи, из Юровичей...

Цацура, спрятав обрез под свитку, приник к окну, тихо звякнул крючковатыми пальцами по стеклу. Постоял, подождал, забарабанил.

— Обогреться бы. Окоченел совсем... Продрог до печенки... Из Юровичей... — произнес он, когда кто-то подошел к окну.

В хате долго молчали, и Евхим с беспокойством подумал, что могут и не открыть. Как тогда быть? «Не откроют по своей охоте, так откроют по

приказу», — пригрозил в мыслях и вдруг почувствовал, как он голоден. Встрепенулся, услышал, как брякнула щеколда, как осторожно зашаркали в потемках шаги, Евхим узнал: Ганнины шаги. Взвизгнул засов.

Евхим порывисто, одним махом вскочил на крыльцо. Очутился на крыльце как раз в тот момент, когда открылась дверь и в темном проеме возникла молчаливая фигура. Он с ходу, весь подавшись вперед, остановился перед ней почти вплотную. Сразу узнал, она, Ганна, не ошибся, услышав шаги в сенях. Серый отблеск от снега высвечивал бледное спокойное лицо, которое казалось мраморным.

— Поздно как!.. — сказала, сдерживая зевоту.

Она почти не изменилась. Тот же под козырьком небрежно накинутаго на голову платка чистый открытый лоб, без единой — при этом свете — морщинки, те же яркие строгие глаза, которые в полумраке казались еще глубже. Эти глаза, которые когда-то сводили его с ума и которые он потом ненавидел, как ненавидел и все в ней, смотрели на него равнодушно, будто на чужого, незнакомого. Она или не разглядела его или не узнала.

Евхима спокойствие это разозлило.

— Что, не узнаешь? — просипел он.

Ганна испуганно отшатнулась, будто наткнулась на гадюку. Евхим сразу заметил, как лицо ее исказилось в страхе, в ужасе. Она невольно отступила на шаг, в сени, как бы остерегаясь удара. Евхиму показалось, что Ганна хочет спрятаться, закрыть побыстрее дверь. И он мгновенно ринулся вслед.

— Погоди!

Сильной рукой схватился за щеколду, стараясь удержать дверь, не дать ей закрыться. Но Ганна, видимо, и не думала закрывать — отпрянула от страха, от неожиданности.

— Веди в хату! — приказал строго. Нетерпеливо толкнул ее. Он держался нарочито грубо, подгонял, желая принудить слушаться во всем, и Ганна подчинилась, покорно, как обреченная, пошла в хату. Евхим следовал за ней, идя уже, велел Цацуре запереть дверь на засов. — Занавесь окна! — тем же властным голосом просипел он.

Он был тут не гость, хозяин был, муж, в праве и власти которого не могло возникнуть сомнений.

В темноте чей-то немолодой женский голос испуганно вскрикнул:

— Ой!.. Кто тут?!

Ему, этому голосу, никто не ответил, да и не было, наверное, необходимости, чувствовалось, что женщина, которая спрашивала, уже догадалась. И действительно в следующий момент мачеха, Евхим сразу

узнал ее, промолвила:

— Евхим?!

В голосе Евхим уловил теперь другую нотку: мачеха, как могла, старалась скрыть страх, пыталась показать если не радость, то дружелюбие, удовлетворение тем, что пришел. Засуетилась, зашуршала одеждой.

— Я зараз... Я зараз, Евхимко...

Евхим усмотрел корец на лавке возле дверей, зачерпнул из ведра воды, обливаясь, жадно припал к ней, утерев рукавом бороду, присел к столу. Сидел неподвижно, горбясь, пока Ганнина мачеха суетливо завешивала окна. Только когда старуха стала дрожащими руками зажигать коптилку, по-волчьи тяжело повел головой, в темном, колеблющемся свете увидел Ганну, что стояла у печи. Она еще вся горела, не могла никак успокоиться, тревожные глаза глядели на него, не скрывая ужаса.

Евхим хотел улыбнуться, вышла не улыбка — гримаса.

— Что, не ждала?

Она не сказала ничего.

— Думала, сгинул?.. А я нет! Живой!

Он будто мстил тем, что живет, будто угрожал тем, что жить будет. Но она снова промолчала. Евхим заметил, что Цацура неловко мнетя у порога.

— Садись! Будь как дома!

Цацура опустил на лавку. Евхим, положив обрез около себя, еще не очень послушными с холода пальцами расстегнул ватник.

— Дай поешь, старая! — бросил он.

Мачеха, которая уже доставала хлеб с полочки, засуетилась бодрей.

— Зараз... Зараз... Евхимко...

Она торопливо положила каравай хлеба на стол, сбегала в сени, принесла обливную миску с огурцами и капустой.

— Вот. А я тем временем яичню, — приговаривала она, усердствуя у печи. — Яичек сколько напаса. Будто знала... Вдруг, думаю, гость какой заявится. И на тебе, как в воду глядела... А за сало прости. Кабанчика годоватъ думали, да неудальй попался. Прирезали вот...

Евхим, жадно жуя отломанную грязными руками краюшку хлеба, перебил:

— А погреться нету?

— Ой! Забыла! Сдурела! — она кинулась к сундуку, достала черную, с широким горлом бутылку. — Слеза! Огонь!..

— Давай!

Он сам налил себе, наливая, заметил, что самогонки в бутылке мало, и укоризненно посмотрел на старую, но не сказал ничего, выпил одним махом, дал бутылку Цацуре. Под крепкими зубами жалобно треснул огурец. Евхим ел, хватая, точно боялся не успеть, не насытиться.

«Черный, грязный, до глаз зарос... — думала Ганна, следя за ним. — Как леший... Сел за стол и ватник не снял, а на ватнике пуд грязи. Обрез отставить в сторону боится, так с ним, верно, и спит, из рук не выпускает! А руки — сел есть и не подумал ополоснуть. Дай мыл их, может, еще когда в Куренях жил. Короста вон на пальцах, издалека видать!.. Изголодался как! Не сладко ему!.. Не ест, а рвет, как волк клыками! И взгляд какой-то дикий, звериный!.. Боже мой, отвратный какой он и страшный!»

Она следила за ним, разглядывала, не скрывая презрения и ненависти, нарочно выискивая омерзительное, уродливое в нем. Отмечала со злой радостью, с наслаждением, это приносило ей облегчение, возвращало чувство превосходства, силу свою. Полнясь все больше омерзением к нему, удивлялась, как могла когда-то послушаться уговоров, согласиться пойти за него, стать его женой, лежать с ним, этим нелюдем, на одной кровати, как она могла!

Евхим наконец заметил ее неприязненный взгляд, перестал жевать.

— Чего уставилась?! Зенки лопнут!..

— Давно не видела...

— Что, не нравлюсь? Не красивый? Не прибранный?

— Прибранный! Куда же еще!..

— «Прибранный!» — передразнил он. — Побыла бы ты на моем месте!

— Мне и мое нравится...

Лучше бы она не задевала его. Евхим, грубо выругавшись, злобно провел взглядом по кровати и вдруг резко изменился, заинтересованно, озабоченно поднял голову. Заметив его взгляд, Ганна побледнела — мигом поняла. Галька! Он увидел на постели дочку! Увидел и вспомнил!

Евхим встал, оттолкнул стол, направился к кровати. И сразу куда девалось ее, пусть внешнее, спокойствие. Бросилась наперерез ему, стала, заслоня собой кровать, ребенка.

— Не прикасайся!

Он, ничего не говоря, попробовал отстранить ее, но она не поддалась. Ганна в упор видела настырные, помутневшие от самогонки глаза, поняла, что не остановить его, и все же сказала:

— Отойди!

Евхим с силой оттолкнул ее. В отчаянии от своей слабости, от боязни

разбудить Гальку, еле удержавшись, чтобы не вцепиться в него, Ганна смотрела, как он склонился над дочкой. Возня около кровати уже почти разбудила ее, она чувствовала близкий внимательный взгляд, поморгала веками, вот-вот проснется! Но не проснулась — крепок сон ребенка за полночь! — сладко чмокнула влажными губками, отвернулась к стене.

Евхим стоял перед кроватью тихо, сгорбленный, неподвижный, со стороны можно подумать было, что дремлет. Но он не дремал, прищуренные глаза его на одичавшем лице смотрели как-то странно спокойно.

Ганна и мачеха следили за ним в тревоге — кто мог знать, что выкинет в следующий момент, особенно сейчас. А он все стоял, чтоб отвлечь его, мачеха быстрее подала на стол горячую сковороду с яичницей.

— Отведай вот, Евхимко!..

Он, покачнувшись, непривычным, неуверенным движением поправил одеяло, которое сползло с Гальки к ногам, и вернулся к столу. Задумчиво, неожиданно удовлетворенно проговорил:

— Моя кровь! Глушаковская!

Да, это была и его кровь, Галя была и его дочкой, что тут могла сказать Ганна! Он мог, имел право хвастаться! Прошрое, как кара, вернулось, подавило Ганну снова, наперекор ее воле словно заново связало с этим человеком. Ей хотелось кричать от обиды, от отчаяния. Доколе же он будет встывать в ее жизнь, стоять на ее дороге?

В этот момент она ненавидела его, как, может, никогда раньше: за все свое несчастье, за всю неудавшуюся, навек искалеченную жизнь!..

Евхим обвел вокруг мутным взглядом, грозно взглянул на мачеху.

— А где еще огонь?.. Горилка где?!

Мачеха неловко ответила:

— Нет больше. Оставалось немного, кот наплакал... Отдала всю...

Цацура пробовал удержать Евхима:

— Хватит и этого, Евхим! Понюхал, и довольно!.. Хватит покуда, не евши...

— Чего хватит?

— Как бы не разморило!..

— Ерунда!

Мачеха снова встретила с требовательным Евхимовым взглядом.

— «Кот наплакал»! Скупой твой кот, старая!.. Достань еще!

— Нету, Евхимко.

— Брешь!

Евхим, мачеха видела, не собирався миндальничать. Оценив всю

серьезность положения, она заколебалась:

— Ну, пойду поищу, может...

— Поищи!

Она для приличия покопалась в сундуке и достала еще бутылку.

— Ой, правда твоя!.. Совсем забыла!..

Евхим налил себе в корец, потом дал приятелю. Цацура, однако, думал еще, пить или не пить.

— Пей! — просипел Евхим. — Покуда дают!

Цацура взял корец послушно, без охоты.

Ганна сидела на кровати, как бы прикрывая собой ребенка, видела, что они уже порядком опьянели. Она невольно удивлялась, как быстро разморила самогонка Евхима, когда-то такого здорового, крепкого. Но он не сдерживался и пил еще, теперь один, на этот раз не стал неволить Цацуру.

Пьяными, осоловевшими глазами уставившись на Ганну, Евхим вдруг поднялся и снова подошел к кровати. Она подумала, что, как и первый раз, к Гальке, и встала, приготовившись защищать малышку. Однако Евхим, качнувшись, остановился перед Ганной так близко, что она вынуждена была отклониться назад.

Он просипел:

— Одна живешь...

Как ни странно, в голосе его Ганна уловила ревность, которую он трезвым, возможно, скрыл бы. Не равнодушен к ней, ревнует еще!.. Евхим сделал шаг, собираясь сесть на кровать рядом с ней, но Ганна отвела его к стене, подальше от дочки.

— А я думал, нашла кого-нибудь...

Ганна промолчала, с настороженностью ждала, что дальше.

— Неужто ж нет?.. Охотника не нашлось?.. Н-на такую бабу?

Он и издевался, и подбирался к ней. Ганна нарочно, чтоб уколоть его, солгала:

— А может, и нашла...

— Брешешь! — почувал он вранье. Евхим рванулся, сильно, уверенно обхватил ее за плечи, прижал к стене, потянулся губами. Ганна, задыхаясь, увидела перед собой, так близко, его лицо, дикие, с безжалостным, страшным блеском в расширенных зрачках красноватые глаза, которые просили, жаждали, требовали; чуть выше, на лбу, заметила густо налитую кровью тугую, вену, готовую вот-вот лопнуть. От едкого самогонного перегара, что ударил из его ощеренного рта, ей сделалось дурно. А Евхим все прижимал ее к стене, приближал горячее, бешеное лицо, колючие щеки, шею, колот намертво стиснутые, упрямые губы твердой щетиной. Ганна

почувствовала мокрое прикосновение — поцеловал!

Она попробовала вывернуться, вырваться, но не смогла и шевельнуться, застонала в бессильной злобе.

— Пусти! — прошептала, почти не разжимая рта.

— А если не пусти?.. — Он лез еще целовать ее.

— Пусти! — рвалась она, задыхаясь. — Отойди... Зверь... Пусти! — В ней все ширился, рос гнев, и, полная этого гнева, она пригрозила: — Пусти! Плюну!

Евхим не послушался. И Ганна в отчаянии, не сдаваясь, но без надежды вырваться, собрав все свое отвращение к нему, плюнула в ненавистное лицо. В дикие, страшные глаза.

Евхим от неожиданности на мгновение растерялся. Большого оскорбления для него, самолюбивого, гордого, и быть не могло. Руки его сразу ослабели, но он еще держал их на ее плечах. Ганне видно было, как мгновенно изменилось его лицо, стало угрожающим, жестоким. Она понимала, что оскорбления этого он не простит, и насторожилась.

Удар кулака угодил ей в щеку. Он был такой сильный и тяжелый, что ее, как малое дитя, отбросило наискось к стене, на лавку, но она устояла, удержалась на ногах только потому, что наткнулась бедром на лавку. Опираясь на нее, понурив голову, Ганна ждала, что вот-вот последует и другой удар, но Евхим выругался и пошел снова к столу.

Она проглотила кровь, села на край лавки. Ноги, руки ее дрожали, тело обмякло. Евхим налил в корец самогонки, со злостью выпил.

— Кто?.. С кем? С кем развлекаешься?!

За Ганну ответила мачеха:

— Нет... нет у нее никого, Евхимко... Вот, — она перекрестилась.

— При муже, как сука, бегала! А теперь, без мужа!..

— Нет, Евхимко. Правда...

— Бреешь, старая! — Пришла догадка, которая всколыхнула давнюю боль, вызвала ярость. — Или, может, все тот? Дятлик все?

— Нет, Евхимко...

Но Евхим не слушал старуху. Он смотрел на Ганну, от Ганны ждал ответа — пусть отопрется, скажет, что зря он большую рану берedit. Дятлик, ничтожество, сколько неприятностей он принес Евхиму... И во всем счастливее оказался... Нет, может, он и правда ни при чем, может, зря подозревает?

Но Ганна молчала, не оправдывалась. Глядя на нее, неподатливую, чужую, не сомневался — любит по-прежнему того. Евхим скрипнул зубами так, что все обернулись на него.

— Ничего! Отбегал уже, считай!.. — услышала Ганна.

Хоть слова эти и не совсем были ей ясны, Ганна больше по тому, как Евхим произнес их, угадала страшное. Нет, сказано не просто, не попугать, Ганна и минуты не тешила себя надеждой, она хорошо знала цену Евхимовым словам! И то, что страшные эти слова касались не кого иного, а Василя, враз насторожило ее. «Отбегал? Почему отбегал?! Она же еще днем видела его. Ехал на санях, крепкий, здоровый, видела из окна... Что они с Василем сделали? Убили его?! Нет, нет, не может этого быть! Не может!!! Но почему Евхим сказал — отбегал? — пыталась она разгадать страшную загадку. — Сказал не просто — отбегал, а — считай, отбегал! Значит... как же понимать, либо уже все сделано, либо все равно не минет? Боже, неужто Василя нет уже? Неужто?!» Полная тревожных мыслей, она неторопливо, внимательно следила за Евхимом, ждала, что какое-нибудь слово раскроет ей секрет, но Евхим уже, видимо, не думал ни о Василе, ни о ней. Опершись о стол грудью, тяжело сгорбившись, он то пил, то ел яичницу, то бормотал что-то, Ганна, наконец, разобрала:

...этот случай был в первом году...
как убил отец... свою доченьку...
доч-ченьку, за вторую красотку —
жену...

Он пел. И песня его была про убийство! Он бормотал с таким видом, будто и сам не знал, что поет, и не слышал своего пения, замолкал на полуслове, потом допевал. Повторял все одни и те же слова. Его, видимо, все больше размаривало — водка и тепло брали свое.

Цацура держался крепче, сидел нервно, недоверчиво поглядывал то на Ганну, то на мачеху, которая, пригорюнившись, стояла у печи, прислушивался к тишине на улице и, было заметно, ждал, не мог дожидаться, когда уйдут отсюда.

— Надо идти!.. — наконец не выдержал он. — Не ровен час...

— Ер-рунда!.. Никакого тут... ч-черта...

— Поздно будет!

— Управ-вимся!..

Голова его, нестриженная, всклокоченная, лежала уже на столе. Он бормотал песню, оборвал ее и, как бы объясняя, сказал:

— Кок — и готово!..

Еще мгновение, и он уже храпел.

«Боже мой, живой он или неживой? — думала Ганна о Василе. — А может, живой, спит и не знает, что смерть возле головы!.. Надо что-то сделать! Перехитрить как-нибудь!.. Как? Их двое, здоровые, с оружием... Побежать бы к Василю, предупредить... или хоть наведаться, может, помочь надо! Но как выйти? Не пустят! Или мачеху попросить, пусть, скажет, что капуста принести хочет. Нет, лучше самой попробовать. А может, и не спит, выйти из хаты нельзя?»

Она встала, прошлась по комнате, но, как только подошла к двери, Евхим грозно шевельнулся.

— Куда? Назад!

Он не стал ничего слушать. И Ганне пришлось вернуться, села на кровать, прикрыла Гальку. Делала вид, что зевает, что хочет спать, а сама все думала, гадала про Василя, едва сдерживала себя, чтоб не броситься сейчас же к нему. Следила, видела, что Евхим уже разморен, вот-вот заснет, а все же держится.

«Черт, сна на тебя нет, чтоб ты заснул навек!» — кляла его про себя.

Долгим-предолгим казалось это ожидание. И все же не зря терпела, одолел сон и его, склонил голову на плечо и мирно засопел. Сразу и не поверила, что спит, подождала, убедилась, осторожно, на цыпочках прошла мимо мачехи, которая слова не сказала, оглянувшись, тихонько подняла щеколду, открыла дверь. Только бы не брякнуть ничем, не скрипнуть, не разбудить. Закрыв дверь в сени, послушала, в хате, как и раньше тихо.

Ах, как заскрипел снег на крыльце, промерзшие доски! Быстро соскочила в небольшой сугробчик, бросилась за угол на ту сторону, где глухая стена хаты, чтоб не идти под окнами, у которых спали они! Соседским огородом, по колени в снегу, не чуя жгучего холода, не одевшись, без платка, с расплетенными косами, выбралась на пустую, словно вымерзшую улицу, побежала в ту сторону, где виднелась хата Василя. В его хате, как и во всех других, было темно и тихо, но что ожидает ее там, за этой тишиной?!

«Только бы... — колотилось, задыхалось сердце. — Только бы все хорошо! Только бы хорошо!» Добежав до хаты, Ганна оглянулась. Ни на улице, ни за ней никого, пусто, никто не гнался. Вскочив на крыльцо, забарабанила в окно так тревожно, что в сенях испуганно закудахтали куры.

— Кто там? — мелькнуло за стеклом окна лицо. Ганна по голосу узнала: мать.

— Василь... Василь дома?

Лицо за окном поглотила темнота. «Почему отошла, ничего не ответив? Неужто стряслось уже?! Но, если случилось что, в хате не было бы так тихо! И мать не была бы такой вялой, заспанной!.. Может, не знает ничего? Может, это случилось не дома? Может, подстерегли где? О боже, неужели дома нет? Если нет, значит, все кончено!..»

Снова застучала по стеклу нетерпеливо, настойчиво. Оглядываясь, не гонятся ли за ней, услышала в сенцах шаги, твердые, мужские, его шаги! Он дома, живой! Едва только дверь открылась, кинулась навстречу.

— Василь!

Он, в серой нижней сорочке, глядя на нее, удивленно отступил в сени. Не понимал ничего — ни этого необычного прихода ее, ни странного порыва, — и Ганна сразу опомнилась. Спал, не знает, какая беда подстерегает его!

— Василь, — выдохнула тревожно, — берегись!..

— Что? — Все было как во сне. Да когда ж он проснется!

— Евхим пришел!

— Евхим?!

Кажется, дошло до него, забеспокоился.

— Убить грозился!..

— А!..

— Отбегался, считай, сказал...

— Где он?..

Ганна неожиданно заметила на улице фигуры, которые быстро шли, почти бежали в ее сторону, кинулась к Василию.

— Идут!

Сама мигом закрыла дверь, испуганно придавила плечом на всякий случай! Крикнула ему:

— Засов задвинь!..

Он задвинул, вдруг рванулся, бросился из сеней в хату. Ганна побежала за ним.

— Что там? — сквозь сон спросила мать.

— Бандиты! Евхим!

— Ой! Боже!..

В свете, что проникал снаружи, Ганна увидела: Василь, стоя около кровати, надевал рубаху, спешил так, что не мог сразу попасть в рукав. Надев, наклонился, стал что-то искать на полу. Мать, перепуганная, в одной сорочке, соскочила с постели, засуежилась, запричитала.

— Где опорки? — не так спросил, как потребовал Василь. Ганна поразились, когда услышала его неожиданно холодный голос.

— А я знаю?..

В голосе матери были слезы отчаяния и страха.

— Ой, боже ж мой!.. Боже!

— Замолчи ты! — приказал он, нашел наконец опорки.

Писк калитки, торопливый скрип шагов заставили сразу всех замереть. В хате стало жутко тихо, в этой тревожной тишине только слышалось мерное, спокойное дыхание ребенка, который спал, как и раньше. Все стояли онемевшие, слушали, ждали.

Остановились, вслушивались, ждали и те, что на дворе.

— Проморгал! — раздался злобный голос Евхима.

Цацура ответил виновато:

— Я только на минуту и задремал...

— На минуту! Опередила, курва!

С минуту на дворе было тихо, будто решали там, что делать, потом рама окна застонала от ударов обреза.

— Выходи! Подобрю-поздорову!

В избе молчали, ждали. Маня не выдержала, бухнулась перед образами.

— Не выйдешь подобрю, силой вытянем!.. — Показывая, что это не пустая угроза, на дворе о чем-то посоветовались, затопали. Судя по шагам, один пошел, другой остался под окнами.

Пронзительно застонали ворота в хлеву. Василь обеспокоенно дернулся, схватил под лавкой топор — скотину перережет, гад, если не отогнать, — но на пороге стояла Ганна. Взяла за руку так, что почувствовал, не пустит, знал, боится его опрометчивости. Одумался, остановился.

Шаги на дворе снова приблизились, стихли, потом на стекле вдруг вскинулся, заколебался непонятный отблеск огня. Никто не сообразил еще, что это значит, когда по стеклу раздался сильный удар и осколки посыпались на подоконник, лавку, пол. Почти сразу же за ними в темноту избы влетел искристый ком огня. В хате сразу стало светло. Освещенный багряно-красным огнем, Василь бросился на комок, старался быстрее затоптать его, не дать разойтись, осветить хату тем, кто подстерегал за окном, и в ту же минуту Ганна увидела в проеме окна голову Евхима, его косматую шапку, кончик дула.

— Василь!!

Похолодевшая от страха за него, стремясь только к одному — уберечь, предупредить, спасти, — бросилась к Василию, загородила собою, хотела крикнуть, чтоб спрятался, и не смогла, не успела: что-то с громом и огнем

ударило, обожгло. Не понимая, не думая, что случилось — все, что было, представлялось ей, виделось теперь, как в бреду, — она ойкнула, покачнулась и, ослабевшая, стала медленно оседать на пол. Еще перед тем как упала, в хате снова стало темно — затоптанное сено погасло.

Уже в темноте громыхнул другой выстрел, третий. И сразу фигуры за окном исчезли, притаились, возможно, прислушивались. Заливался в плаче перепуганный, внезапно разбуженный ребенок, но никто его не успокаивал. Через выбитые стекла густо врывался морозный холод, студил хату. Василь, осторожно оглянувшись на окно, склонился над Ганной, она лежала неподвижно, как неживая...

— Пошли! Готов уже! — послышалось за окном. — Не промахнулся!

Евхим ответил не сразу.

— Подлезла, курва! Сама нарвалась!

Он, чувствовалось, злился, не хотел уходить. Оглядываясь и следя за ним, Василь услышал тихий, сдержанный стиснутыми зубами Ганнин стон. Значит, жива... Не насмерть... Но что делать?.. Цацура за окном снова нетерпеливо звал Евхима.

Тот подождал минуту, еще раз выругался и, хрустя снегом, пошел со двора. Они подались улицей к лесу.

— Боже мой... — наконец вымолвила, дрожа, Маня.

— Тихо ты! Ганна помирает!

Осторожно подняв Ганну, Василь положил ее на лавку около стола. Подсунув под голову ей подушку, спросил, куда ранило, но она словно и не слышала вопроса, не шевельнула губами. Он чиркнул спичкой, чтоб самому посмотреть, где та рана, но спичка от ветра из разбитого окна сразу погасла.

— Окно заткни! — приказал Мане и, не ожидая, когда сделает, стал сам закупоривать тряпьем дырку.

Еще до того, как жена по его приказанию зажгла лучину, впотьмах нащупал — левое плечо Ганны было мокрое от крови. Не думал никогда, что так пригодится то, чему обучали на военных занятиях — как помочь раненому солдату, — дрожащими руками, преодолевая неловкость, стал расстегивать Ганнину жакетку, порвал сверху сорочку. Рана кровоточила на белом-пребелом плече под самой ключицей.

Крикнул Мане, чтоб дала чистый рушник, как мог, вспоминая полузабытые наставления, перетянул вену, приостановил кровь. «Уйдет кровь все равно... В больницу бы, к доктору... Но пока до этого доктора!..»

— Бабку Андреиху надо!

Маня колебалась, боялась еще выходить: а может, те только и ждут. Он

взглянул на нее, не сказал ничего, вдруг, как стоял, без шапки, без одежды, выскочил на крыльцо. Маня хотела вернуть, крикнула, но он и не оглянулся.

В поле за селом дорога разветвлялась на две. Одна из них, более широкая, укатанная, вела к лесу или, вернее сказать, к лесам, что тянулись отсюда на многие версты, а другая, полузасыпанная снегом, круто сворачивала в сторону. Почти все, кто ехал из села, обычно брели напрямик, ездили и по дрова, и за сеном в Моклищи и в другие деревни за лесами, за болотами, в царство чащобы и топей. Но Евхим и Цацура круто сошли на боковую дорожку.

Они сошли сюда не случайно, Евхим предвидел это, еще когда сидели в Ганниной хате. Он был уверен, что весть о его приходе в село не пройдет так, и остерегался погони, которая, скорее всего, направится сюда, нарочно и подался к лесу, для людских глаз. Свернув же на стежку, они сбивали со следа.

Шли по этой дорожке Евхим и Цацура недолго, пока через заросли кустарника не добрались до другой дороги, которая тянулась в сторону Припяти, туда, куда им теперь и надо было. Дорога эта шла как раз в противоположном направлении, как бы обходила село.

Двигались Евхим и Цацура быстро, время от времени бодро труся рысцой. Хмель после самогонки, что бродил в их головах, на морозе быстро выветрился, а с ним выветрилась и слепая от бешенства смелость. Евхим уже не выхвалялся, не пытался продемонстрировать хладнокровие, не медлил, ступал быстро и широко, так что перепуганному Цацуре приходилось из кожи вон лезть, чтоб не отстать. Рысцой, поспешно они перешли кустарник и лес между Куренями и Глинищами, возле кладбища пересекли гать, выбрались на морозное пустое поле. Тут шли осторожней — недалеко был шлях, людная, хорошо знакомая милиции дорога. Когда сунулись туда, внимательно всматривались в строй старых, еще екатерининских берез, что шел вдоль обеих сторон шляха, ловили подозрительные звуки. Евхим держал руку на обресе.

На шляхе было тихо. Тишина эта не обманывала, перебрались без каких-либо происшествий. И все же, минуя его, то и дело недоверчиво оглядывались, пока не отошли на достаточное расстояние. Обойдя еще одно село, что перерезало дорогу за шляхом, они наконец с облегчением вышли в безопасное место, где аж до самой Припяти дорога шла меж кустарников, болот, дикого леса. Здесь уже поспокойней было, не так подгоняли себя.

Рассвет застал их далеко среди этих, казалось, безлюдных просторов. С наступлением его мороз заметно ослабел, неслышно падал мягкий, пушистый снег, наполнял округу еще большей тишиной. И дорога, и низкое небо, и земля, вся территория которой сузилась до полусотни шагов, были неопределенного серо-белого цвета. От этой тишины, от бессонной ночи, от длиннющей пройденной дороги неодолимо овладевала дремотная усталость; тянулись, заплетаясь ногами, засыпали на ходу, и, когда заметили в прогалине между кустов заснеженный стог, не рассуждая долго, свернули к нему. От этого стога в мерцающей серости виднелись очертания еще двух стожков, они, пересиливая усталость, добрались до одного из них, разгребли норы и укрылись с головой.

Вылезли лишь под вечер, окрепшие, в клочьях сена. Снег трусил, как и утром, затишья не было, беспокойными порывами шастал широкий, вольный ветер. Под ногами снег оседал, как бы кряхтя, не с морозным ядреным скрипом.

«Оттепель... Весна подступает», — подумали одновременно, отряхивая и обирая ошметки сена, подумали молча, говорить не хотелось. Молча вышли и на дорогу, которая тоже изменилась, потемнела, сделалась скользкой, идти стало тяжелей. Через несколько верст спустились из леса в низину, перерезанную широкими полузаметными ручейками, обветренными взгорками с купами лозняка, не сразу догадались, что это уже Припять, пойма. Река вынырнула после бесчисленных лощин и кустарников незаметно, привычной снежной полосой, почти ничем не отличаясь от таких же скованных льдом рукавов. Она была только шире и прямей, вдоль ее, вдоль берега наперерез двум пешеходам бежала гладкая санная дорога.

На Припяти ветер был сильнее, казался более мощным, просторным.

Выбравшись на подъем другого, высокого берега, Евхим почувствовал, будто перебрался через границу, за которой начинается иная, полная неопределенных еще надежд и загадок жизнь, черта, за которой позади, может, навсегда осталось минувшее со всеми его призрачными радостями и злыми неудачами. Не впервые, но теперь, отделенный перейденной границей, особенно четко, взволнованно вспомнил надежды прошлой ночи, и совесть, которая все время не давала покоя, кольнула остро: что же с Дятликом? Кокнул или нет?!

Снова вспомнилась Ганна: подскочила, курва, заслонить хотела, сама на обрез полезла!.. Что ж, получила то, чего давно искала, докрутилась!.. Все же на душе было тошно — не такой развязки он ждал. Не мог даже, может быть, мертвой простить ей нелюбовь к себе, готов был скрежетать

зубами, вспоминая, как кинулась спасать Василя. А самое главное — шел и не знал, что с Дятликом. Посчастливилось гаду, сокрушался Евхим, пришлось отступить до поры, народ мог опомниться, собраться, пришлось оставить Курени, не зная, осуществил ли великую месть свою! Цацура, трус поганый, тащил все — быстрее, быстрее, спутал только планы... Евхим, однако, старался не бередить себя излишне, успокаивал тем, что, может, Дятлик и похолодел давно, а еще более важно то, что он, Евхим, все же показал себя в Куренях, и не как-нибудь, долго помнить будут!..

За Припятью, глубже засунув под одежду обрезы, зашли в село. Было еще не поздно, и на улице встретились им несколько человек — ватага хлопцев, которые шли, смеясь, громко разговаривая, и пожилые крестьяне. Один из хлопцев подошел, пригляделся, приблизив лицо почти вплотную, быстро отступил, вернулся к остальным. Евхим, остро напрягая внимание, услышал: «Кто это?» — «А черт его знает, незнакомые какие-то... Думал, Свердлов...» — беззаботно ответил молодой веселый голос.

Надо было бы не задерживаться в селе, быстрее пробираться дальше, но очень хотелось есть. Убегая из Куреней, они не захватили никакой еды, проголодались за день, и голод нетерпеливо глушил осторожность и страх. От голода они были готовы на любой поступок.

Евхим все же держался, пока не дошли почти до конца села. Тут он выбрал хату, не очень-то казистую с виду, не хотел случайно напороться на какого-нибудь советчика или активиста, заглянул в светлый кружочек окна, расцвеченный морозом и отблеском лучины. Решительно поднялся на крыльцо.

Двери были низковатые, входя, пригнул голову.

— Добрый вечер! — из-под нависших бровей сразу мигом окинул хату: девушка с прялкой у окна, женщина что-то помешивает в ушате. Кто-то лежит на кровати, хлопчик...

— Добрый вечер...

Старуха и девушка также смерили их взглядами, не с подозрением, а с любопытством и удивлением: вид их, вероятно, поразил. «Надо бы постричься, бороды сбрить, — подумал Евхим. — Да почиститься немного, чтоб не выделяться очень...»

— Можно погреться немножко? — Он старался говорить мягко, как только мог. Добрый вроде, безобидный человек. — Окоченели прямо!.. Ветер аж прошивает...

— Входите, — пригласила старая. — Место не просидите.

— Спасибо на том...

Сели... Молодая была совсем рядом с Евхимом, но никакого интереса

к нему не проявила, будто сидела со стариком или калекой, и Евхима это невольно задело. Девка же была видная: здоровая, груди тугие, прямо натягивали кофту, кожа на шее, на руках чистая, молодая... Губы пухлые, влажные... «Горячая, должно быть, курва! В самом соку!.. В лесу бы такую!..»

Старая домесила тесто в ушате, выпрямилась, Евхим разглядел и ее: сухое лицо, щеки ввалились, губы плотно сжаты. «Злая, наверно, как ведьма, въедливая... охотница до чужого добра...»

— Издалека ли идете? — поинтересовалась старуха, стирая с рук налипшее месиво.

— Из Наровли тянемся...

— А... Домой, наверно?

— Домой. Куда же еще?.. Другие идут куда кто, а кулик — дак в свое болото... — Говоря это, думал, готовился к следующему вопросу, а где твой дом, если спросит.

Но старуха не поинтересовалась их домом.

— Работали там, в Наровле, или что купить ходили?

— Работали, грошей наковать думали... Словом, на заработки подались.

— Заработали что?

— Заработать не заработали, а нагоревались и ободрались через край...

— А что там делали? — спросила неожиданно девушка.

— Кому что, — наклонился к ней Евхим. — Кому дрова напилить, кому подладить что. В хате, в хлеву — крыльцо, оконце, ворота. По плотницкому делу...

Девушка не сказала ничего, старая в это время собралась нести ушат, и она встала.

— Дайте лучше я, мамо!

Она легко подняла ушат и, стукнув сильно дверью, скрылась в сенях. Хотя ушата в хате уже не было, запах теста, сладковатый, теплый, по-прежнему щекотал ноздри. Доносился и запах прелой размятой картошки. Евхим разозленно проглотил слюну: свиньям, чего доброго, позавидуешь!..

— А хозяин где? — он старался отвлечь свое внимание. — На сходе, может?

— На сходе, с какого не возвращаются... — ответила она и замолкла. Потом добавила: — На погосте... Бандиты забили шомполами.

Она говорила грустно, но спокойно, с той мудрой уравновешенностью, которая приходит, когда боль перекипит.

— Вот! — показала на фотографию в рамочке, что висела у окна. Евхим, а за ним и Цацура встали, подошли. Из-за стекла смотрел на них белокурый красноармеец с упрямыми, как у дочери, губами, с беспощадными глазами. Он стоял в полной форме, в высокой буденовке, держал руку на эфесе сабли. Евхим подумал: «За саблю, гад, держится», — для приличия поинтересовался:

— Буденновцем был?

— Буденновцем. Раненый был, приехал домой. А тут в Совет его выбрали. За власть дюже стоял, за справедливость, за это и свели со свету, нелюди!.. — Она вся кипела ненавистью к этим нелюдям.

— Гады! — просипел Евхим.

Девушка между тем вернулась, сполоснула руки, вытирая их об юбку, внезапно спросила:

— А где же инструмент ваш?

— Беда стряслась. Словом, проспали инструмент! Легли спать, положили возле себя, а проснулись — ничего!

— Смотрите, — посочувствовала старая. — Жуликов в городе развелось, как саранчи...

Евхим решил, что наконец настала пора перейти от пустой болтовни к главному, кашлянул, как бы ощущая неловкость.

— Проголодались мы, признаться. Целый день без еды...

Цацура неторопливо поддержал:

— Кишки марш играют, аж терпение лопается!..

— Небогатые мы, — проговорила старуха, как бы прося прощения. — Картошки вот разве в мундире. Да огурцов с рассолом...

Когда девушка принесла из сеней миску с огурцами, гости уже вовсю уминали картошку из чугунок, который стоял на столе, давились, торопливо глотали, не разжевывая. Старая сидела рядом, наблюдала с таким видом, будто голод испытывали ее бедные, несчастные братья.

— Ешьте, ешьте, — радушно сказала она, подавая две ложки. — Рассол у нас хороший, крепкий!..

Так и пробирались дальше, выдавая себя за обкраденных жуликами плотников. Старались, однако, держаться как можно тише, не бросаться лишней раз да глаза. Дороги выбирали малопроезжие, шли сначала ночами, а потом только вечерами и на заре — ночью также легко можно наткнуться на кого-нибудь. Когда надо было расспросить о дороге, выбирали людей с осторожностью, вопросы задавали как бы между прочим, среди разной болтовни. С осторожностью выбирали и хаты; большие деревни, тем более местечки вообще обходили — слава богу, их в этом болотном крае было

негусто...

Около одного села под вечер увидели неподалеку первых пограничников. Правда, пограничники эти ехали на возу, везли мешки, наверно, с мукою и не обратили никакого внимания на двух незнакомых. Но Евхима и Цацуру это насторожило. На них будто глянула опасность, которая одновременно с границей была уже так близко...

За этот вечер и утро они не прошли и десятка верст. Вечером следующего дня вышли к зарослям кустарника, где и мерзли до утра. Шли из леса по дороге, стараясь не привлекать внимания, и вскоре увидели тихое приграничное село. Тут остановились. Перед ними была тяжелая задача — как узнать, где граница, как подойти к ней. У кого, в чьей хате спросить, где меньше всего они рискуют?

Пройдя почти всю дорогу гумнами, заметили на отшибе хату, огляделись хорошенько, осторожно подошли. В хате была женщина да несколько малых крутились на печи, увлекшись какой-то своей игрой. Евхим и Цацура, осмелев, обнадежившись сразу, вошли. Женщина, что суетилась возле печи, встретила их радушно, но, когда, поговорив для приличия о том о сем, они намеревались уже завести речь о главном, во дворе внезапно послышался скрип саней, шаги. Женщина прилипла остроносым личиком к замерзшему стеклу, сказала:

— Муж приехал!..

Дети загомонили, обрадованные, отгадывая, какой гостинец привез отец, но ни один не слез с печи. Хозяин вошел в хату не сразу, наверно, возился с конем, выглянув из дверей, ведущих в сени, на миг остановился, недовольный, угрюмо, с подозрением, неприветливо осмотрел их.

Он снял вислоухую облезлую шапку, замызганный зипун, сел за стол. Дети следили за ним с печи молча, с тревогой.

— Есть давай! — коротко приказал он жене.

Та быстро забежала, подала хлеб, нож, вытащила из печи чугунок. Комнату наполнил запах наваристого борща. Хозяин, не подымая ни на кого глаз, стал часто, жадно хлебать прямо из чугунка — ел так, будто боялся, что отберут.

— Продай? — проронила неуверенно жена.

— Продай... За ничто...

Он ответил не сразу и с таким видом, что ясно было, не хочет говорить. И жена не стала домогаться, только объяснила Евхиму и Цацуре:

— Картофель возил в местечко продавать...

Наевшись, хозяин облизал ложку, отодвинул чугунок, вытер руки об волосы, отрыгнул сыто. Он собирался уже встать, когда жена кивнула на

Евхима и Цацуру, сказала несмело:

— Может, накормить бы? Голодные...

Они снова уловили на себе косой, недовольный взгляд хозяина.

— На всех голодных не напасешься!

— Беда у нас, — отозвался обиженно Цацура. — Обокрали...

— Мало кого обкрадут!.. — Хозяин резко, с грохотом отодвинул стул, встал. — Не столовка тут!

В Евхиме закипела злоба: «Попался бы ты мне, падла, где-нибудь в другом месте, попросил бы я тебя!.. Помнил бы долго просьбу эту!..» Цацура качнул торбочкой.

— Мы заплатим. Одежка есть хорошая...

Он развязал узелок, вытащил одежду, снятую с Кандыбовича. Хозяин взял, брезгливо оглядел.

— Нашел чем платить!.. Ну, ладно, — как бы уступил он, кинул жене: — Дай, пусть поедят!

Когда Евхим и Цацура набросились на чугунок с недоеденным борщом, он достал из-под лавки прутик лозы, бросил в ушат с водой отмокать.

В сельсовете были? — внезапно хлестнул вопрос.

Цацура едва скрыл страх.

— А чего?

— А того, что разрешение надо.

— Какое разрешение? Мы не жулики какие...

— Жулики, не жулики — на лице не написано. Разрешение всем нужно, чтоб при границе быть!

Цацура попробовал успокоить его:

— А что нам та граница!.. Мы... домой идем...

— Там разберутся, куда идете!

Евхим исподлобья, настороженно взглянул на него и встретился с недобрым, холодным взглядом. «Вот гад, утопит! Утопит, как пить дать!.. Надо было так наскочить — перед самой границей!»

— Ты не пугай нас, слышь! — холодно сказал Евхим. — Мы не такие, как думаешь! Не пугливые!..

— Я и чую!

— Вот и хорошо!.. Хорошо, когда друг друга видят. Легче договориться можно!

Твердый, почти угрожающий тон Евхима подействовал не только на женщину, что глядела на гостей уже со страхом, помягчел и муж ее.

— А ты не очень! — сказал он, стараясь отступить с достоинством.

— И ты не очень! — Евхим по-прежнему давал понять, что шутить с собой не позволит. — Дак что она, коли на то пошло, граница, далеко отсюда?

Хозяин посмотрел на них, как бы оценивая, помолчал, о чем-то сам с собою рассуждая, ответил тихо, многозначительно:

— Можно провести к ней... Показать... Только это, конечно, стоять будет...

Он дипломатично остановился, ожидая, вероятно, вопроса: сколько? Цацура обрадованно дернулся, нетерпеливо посмотрел на Евхима, но Корч остановил его сдержанным взглядом. «Подведешь ты, падла, под казарму красноармейскую!» — подумал, следя за хуторянином.

— Денег у нас нет, — отозвался тихо, выделяя каждый слог, будто ждал, чтобы тот не пропустил ничего, запомнил получше. — И переходить границу, запомни, мы не собираемся. Не забудь!.. А вот, где она, все же скажи! Чтоб, скажем, не... забрести часом туда...

Он говорил так, что за его словами ясно чувствовался другой, действительный смысл. Хуторянин некоторое время понуро молчал и, видно было, не мог скрыть разочарования ответом Евхима. Лицо его снова сделалось холодным, жестким.

— А коли нет ничего и переходить не собираетесь, — заговорил он со зловещим спокойствием, — то интересоваться особенно и не требуется. Граница, где она есть, там она есть. На месте...

Он с нарочито безразличным взглядом достал из кармана кисет, но не успел развязать, рука вдруг как бы застыла — лицо Евхима люто налилось кровью, угрожающе придвинулось впритык к нему.

— Я спрашиваю: да-ле-ко? — злобно повторил Корч.

— Ой, боже мой! — ужаснулась женщина и оцепенела на миг от косого, раздраженного взгляда Евхима. Испуганно выдавила: — Рыгор, скажи!

Хозяин с опаской отвел голову от Евхима, глянул на его руку, которая была уже за пазухой, где торчало что-то похожее на обрез.

— Не... недалеко.

— Сколько?

— Верст девять...

— В какой стороне? Точно!

Хозяин махнул головою: там.

— Какая она? Как узнать ее?

— Просека идет... Столбики... По болоту — столбики одни...

— Просека, столбики — и больше ничего?

— Вышки стоят еще... чтоб видеть далеко...
— Когда светло. А ночью как стерегут?
— Ночью ходят... Сидят где-нибудь в потайном месте... Глядят, слушают...

«Наткнуться можно внезапно, — мелькнуло в мыслях Евхима озабоченное, тревожное. — И снег скрипит, издалека слышать...»

— Дом или казарма, где живут?
— Застава по-ихнему...
— Пускай застава. Где?
— В березняке, близко от хутора. Хутор-то в стороне с полверсты... А застава сразу возле болота, слева будет...

— Болото кончается там?
— Слева, где застава, оно кончается, а так, напрямик, идет еще далеко. И на той стороне краю не видать... Большое болото...

— Как пройти отсюда к нему?
— Вот тут, за селом, скоро лес. Немалый, версты три, не меньше, если по дороге считать... Да на той стороне за лесом еще село...

— Далеко?
— Рукой подать. Видно... За ним сразу и болото...
— А дальше? По болоту как?
— Перед самым краем леса направо... К озеру... От самого леса, в начале болота... А оттуда по канаве...

— По какой? Где она?
— От болота тянется. Как обойдешь озеро, так сразу и упруешься в нее... Старая она, почти заросла, лозняк по ней рядами, как цугом... Да на эта канава тянется напрямик до самой речки...

— Других канав на дороге нет?
— Нет. Одна идет... Верст пять вдоль нее, не меньше, надо...
— А за речкой что?
— За речкой уже, можно считать, все. Граница...
— Застава оттуда далеко?
— Версты, наверно, три с гаком...

— А вышка близко? — спросил Цацура, который молча слушал и старался все получше запомнить.

— Полторы или две версты, не меньше... — Хуторянин посмотрел на Евхима. — Да вышка ночью, что слепая. Тут засады остерегаться надо...

Евхим вперил в него острый, пронизывающий взгляд.
— А где они сидят, ты же знаешь, конечно!
— Если б у них определенное место было!.. Сегодня они тут, а

завтра... угадай! Куда завтра спрячутся...

«Боится, падла», — подумал Евхим, как бы успокаивая себя, неизвестность с заставой его очень тревожила.

— Где у них слабинка, брешь?

— Места там все нехорошие для них. Трясина да кусты. Летом знаешь лазейки, как плюнуть, перейти. А теперь замерзло, дорога им везде, и снег, все видно... Вот если оттепель — не пройдут, тогда можно ловко...

Евхим встал.

— Что ж, спасибо, если не брешь, — он внимательно поглядел на хуторянина. Тот истово перекрестился.

— Правду. Истинную правду сказал...

Жена, которая по-прежнему испуганно следила, чем все кончится, заступилась: правда все, не обманул. Евхим холодно отвел от нее глаза, подумал: «Кокнуть бы, и конец! Спокойно — на след не наведут. Дак смердеть будут же. Заглянет кто из соседей — вопли, облава. А может, и не переберешься сразу, сидеть будешь близко... Лучше, когда язык за зубами придерживают...»

Евхим взглянул на хозяина, на жену его, как бы хотел убедиться: будут держать или нет?

— Если набрехали или ляпнете кому, кишки вымотаем! Из-под земли достанем!

Женщина, побелев, невольно с тревогой оглянулась на малых, которые притихли, будто понимали, что происходит.

— Никто слова не услышит! Не сойти мне с места!..

Взгляд Евхима упал на полбуханки хлеба на столе, подал знак Цацуре взять. Цацуря схватил, запихнул за пазуху — хозяин и не шелохнулся, как бы не заметил. Цацуря кинулся шнырять по полкам, женщина подбежала, сама достала желтый кусок сала, лук, быстро сунула ему.

Евхим застегнулся, грозно подступил к хозяину.

— Так вы ничего не слыхали, не видали!.. Ясно?

— Ясно...

— Если что такое, тут наши тоже есть!.. Не забывают!

Женщина поклялась:

— Не забудем! Никогда!..

— Смотрите!

Он последний раз окинул их взглядом, посмотрел на печку и как мог твердо, хозяином надо всем и всеми вышел из хаты.

На дворе было темно. Евхим молча открыл калитку, посмотрел туда,

где должен быть лес. Поодаль под серым сводом понурого неба действительно темнело что-то.

Евхим решительно зашагал к дороге. И впрямь черная скользкая извилина вскоре подвела их к лесу. Сразу, как нырнули в его желанный полумрак, их окружила плотная, будто набухшая от влаги земли, тишина. Она скоро словно еще отяжелела оттого, что сеялся дождик. Однако надежная, казалось, нерушимая тишина эта, что глушила тихий шум наверху, не приносила успокоения. Евхим, возможно, навсегда перестал верить тишине после происшествия на Змеином, когда она так предала, так обошлась с ними. И теперь тишина скрывала изменническую неизвестность — разговор в хате рисовал границу тревожно близкой, реальной. Она не была теперь просто желанной, она была рядом с болотом, на котором легко заблудиться, с речкой, которую надо половчее перейти, рядом с заставой в березняке, которая расставила на их пути пограничников. Она была уже не в мечтах, а на земле, ее надо было достичь.

Еще немного, и они смогут очутиться на другом берегу, смогут плевать на милицию, на суд, на все. Осталось совсем мало — лес, озеро, болото, просека со столбиками... Несколько верст всего, последних верст, после длинной дороги... Но какие эти версты! И болото, и озеро, и речка — не просто болото и речка; и просека — не просека, смертельная межа; все таит здесь в себе опасность, угрозу. Ее можно ждать отовсюду. Как из несметного количества деревьев и кустов отыскать те, среди которых можно пройти свободно, где смерть не подстерегает?

Евхим и Цацура были готовы ко всему. Жизнь, какой они знали ее до сих пор, была также полна опасности, волчьей слежки, им не надо было привыкать, перестраиваться. Близость опасности на пути к цели настораживала, делала слух более чутким, глаза более острыми, шаги мягче, пружинистее.

Уже немало прошли по молчаливому лесу, в котором тихо, тоскливо нудил дождь, когда вдруг услышали сзади отрывистые голоса, топот конских копыт и сразу свернули, притаились за деревьями. Вскоре на дороге появились три верховых, ехали мелкой рысью. Вблизи от деревьев, за которыми притаились бандиты, всадники перевели коней на шаг, а один остановился совсем. Евхим засунул руку за пазуху, потянул обрез. Не шевелясь, горбясь, закрываясь, должно быть, от дождя, от ветра, всадник прикурил. Лица его не было видно, но в отсвете огня на мгновение отчетливо вырисовался силуэт винтовки и шишкастая буденовка.

«Красноармеец!» — вмиг вспыхнула мысль. Не погоня ли, не продал

ли падла хуторянин.

Один из тех, что ехали впереди, также остановился.

— Половину нам с Ермольчиком! — услышал Евхим.

— По две затыжки! — захохотал тот, что закурил, и тронул коня.

Бандиты подались вслед за ними, основательно переждав. Сначала хотели было идти не по дороге, сбоку, но ноги грузли, снег скрипел, и они выбрались на утоптаный грунт. Шли теперь еще осторожнее, держались ближе к деревьям, приостанавливались, приглядывались, вслушивались. Оба жалели, что не спросили на всякий случай, нет ли другой дороги.

Но добрались до края леса благополучно. Из-под покрова деревьев оглядели серо-тусклый простор, что простирался впереди, где, с полверсты от леса, что-то чернело в ряд. Не столько разобрали, сколько догадались — хаты, гумна, деревья. Деревня, верно, больше скрывалась в ложине, впереди обозначалась только небольшая группа построек, которые с одной стороны словно выросли в землю. Оттого, что село тонуло во мраке, оно казалось затаенным, опасным.

На том месте, где они стояли, виднелись ровчики от полозьев саней, что шли как раз вправо, и они свернули на эту стежку. Шли по лесу, не оставляя следов, которые могли вызвать чье-нибудь подозрение. Это была нелишняя предосторожность. Сани, правда, быстро повернули в глубь леса, и им пришлось пробираться по целине, но тут следы, которые оставались после них, уже не были так видны, тут ходили редко.

Идти было тяжело, на каждом шагу до колен увязали в мокром снегу, часто останавливались — отдышаться, прислушаться. Было противно лицу, шее от пота, смешанного с дождем, что снова зарядил. Остановки делали коротенькие, едва передохнув, упорно лезли дальше, внимательно следя, чтоб не отходил край леса. Граница леса, поле, темные пятна хат поодаль были единственными признаками, которые показывали направление, не давали заблудиться, и все же сомнение не раз подступало, тревожило, и чем дальше, тем больше. Шли, шли, нетерпеливо высматривали озеро, а его все не было. Вот уже поглотила темнота пятна — хаты, кончилось поле, пополз луг с купами зарослей. Думали сначала, что здесь и есть озеро, вышли к нему, но нет, никаких признаков, одни темные лужи под ногами. И есть ли вообще это озеро? Не надули ли их?

Евхим уже не раз думал про себя, не бросить ли, не повернуть ли и наугад идти к границе, но все тянул и тянул. «Ну, падла, если набрехал, — думал о хозяине хутора, — не погляжу ни на что, вернусь и покажу!..»

Однако угроза эта была лишней — озеро нашлось, правда, дальше, чем думали, но все же нашлось. Окруженное кустарником, заросшее камышом,

оно встретило холодной тишиной, мрачной затаенностью, но и Цацура, и Корч почувствовали облегчение. Значит, не обманул, не сбились с пути, все пока идет как надо. Канаву, обросшую с обеих сторон лозняком, отыскивали быстро, ее серая от снега поверхность хорошо видна была в черном лозняке. Нашли по бережку скользкую тропинку, не удержались, осторожно ступили на нее, чувствовали, что каждый шаг приближает границу.

Тропинка, однако, вскоре отошла от канавы, потерялась за большой лужей в кустарнике, и им пришлось снова идти по целине. Они попробовали было двигаться по канаве, но ее пересекали мокрые сугробы, в которых грузли по пояс. Да и неудобно здесь, небезопасно, как-никак, все же видно из кустов, по открытому месту лезешь. Выбрались на берег, выставляя руки вперед, защищаясь от противных скользких веток, сплевывая воду, что попадала в рот, пробирались лозняком вдоль канавы.

Было уже, наверно, за полночь, мокро, ветрено, темно, неудобно для такого дела. Но от туч впереди, низких, черных, в сердце сгущалась тревога, они словно предсказывали недоброе... «Идешь, как слепой, — думал Евхим. — И не заметишь, как напорешься на красноармейца. Пикнуть не успеешь!.. Нарвешься, как пить дать, особенно у канавы этой...» Он подумал, что канава — очень удобное обозначение пути к границе, но разве ж те, что охраняют границу, не знают об этом. Если охраняют, то скорее всего в таких местах, тоже не дураки. Но и они с Цацурой не должны дураками быть...

Они лезли через кусты уже на ощупь, только догадкой держались направления. Евхим не очень беспокоился, что канавы не видно: не впервой шел ночью, нюхом, как зверь, чувствовал дорогу. Нюх этот никогда еще не обманывал.

Огибая большую лужину под кустом, Евхим услышал, вместе с треском что-то ухнуло, быстро окинул все вокруг взглядом.

— Ух, — выдохнул Цацура, стоя по пояс в воде.

Ломая ледок, он хватался, по-собачьи рвался из лужи, выбрался на кочки, стал отряхиваться.

— Лед, думал, как лед... А тут...

— Думал, — просипел Корч. — Ослеп!.. Растяпа!..

— Зрячий какой! — ощерился Цацура.

— Молчи, зануда!

Цацура промолчал. Но в мыслях дал себе волю: «Зануда! Если кто и зануда, так это ты!.. Корч проклятый, никакой жалости к человеку...» От души захотелось: пусть бы и он, Корч, провалился, знал бы, как сипеть! И, когда увидел, как Евхим скатился в трясину, обрадовался: «А! Чего ж не

хвалишься, зрячий!.. Сладко?!»

Но радость его была недолгой, не прошел и трех шагов, как провалился в грязь снова. Евхим попробовал обойти его, но провалился тоже второй раз. Они вернулись немного, поискали тропинку в другом месте. Но и здесь стали снова вязнуть...

— Надо было канавы держаться!.. — злобно упрекнул Цацура.

Евхим плюнул, но не сказал ничего. Пробовал пробиться еще в одном месте, осатанело пер напролом. Вода, грязь кое-где подступали до груди, но он все шел, не мог остановиться. «Надо было мне увязаться за ним, — смалодушничал Цацура. — Не мог осесть где-нибудь возле дома, переждать время...»

Скоро гнилая, разлезшаяся трясина кончилась, и они выбрались на сушу. Мокрые, грязные, заходясь от острого холода, что охватил тело, отплевываясь, шли дальше в темноту, в дождь. Шли, однако, недолго, не сговариваясь, свалились передохнуть.

Где они? Где та речка, которая давно должна остаться позади? Или прошли ее незаметно? Где граница, далеко или близко? Или, может, тоже позади, а вдруг случилось такое?.. Узенькую полоску земли легко могли перейти и не заметить... Им не хотелось верить, что заблудились, хотя беспокойная мысль об этом настойчиво стучалась в оупевшие головы...

Неожиданно порыв влажного ветра донес до них странный звук — очень близко, почти рядом что-то брякнуло, — и они мгновенно насторожились: похоже, что подняли щеколду. Услышали скрип ворот, тихий мужской голос. Сразу вскочили, стали всматриваться, но в темноте ничего не видно, никаких строений и звуков никаких больше не доходило.

И все же тревога не отступала. Как было им не тревожиться, — там, куда они шли, рукой подать, притаилась, не иначе, застава, там пограничники. Кто же другой мог выйти и разговаривать в такой поздний час! Едва не напоролась, сами чуть не влезли в пасть! Стараясь не хлюпнуть, не скрипнуть, замирая после каждого шага, вслушиваясь, стали удаляться от опасного места.

— Вот он, твой нюх! — упрекнул наконец Цацура, который все еще холодел при мысли, что могло произойти, если б не добрый случай.

— Нюх!.. В этой трясине, в прорве!.. Собака и та может...

— Человек набивался провести!.. Давно были бы уже...

— Замри!..

Так и шли дальше молча, скрывая ненависть друг к другу. Кто-то должен же быть виноват за все их собачьи муки, за лужи, за блуждание в темноте, за раскисшее болото, за озверевшую душу, которая выть хочет,

неистово жаждет крови, расплаты. Бреши, сдерживая, как на поводке собаку, злость друг на друга. Больше не на кого было злиться, вдвоем шли...

Теперь они знали, где находятся и куда лезть дальше. Нашли речку, огляделись — тихо, мертво, только дождь монотонно выводит свою унылую песню, — согнувшись, выставив обрезы, стали переходить друг за другом. Речка была — переплунуть можно, и все же легче стало, когда нырнули в лозняк, какое-никакое укрытие. Полезли дальше, уже не выпрямляясь, шаг, другой, и остановка, чтоб посмотреть, послушать. Как ни озирались, почти ничего не видели, кустарник сливался в одно черное, темнота нависла еще гуще, плотнее, наверно, близился рассвет. Тяжело было уловить что-нибудь на слух — все вокруг заполнял гулкий шум сырого ветра.

Что ж, хоть в этом им повезло — самое время переходить. А они уже где-то близко, где-то возле самой просеки. Корч, припадая почти к земле, нет-нет да и поглядывал, нет ли столбиков...



И вдруг случилось то, чего с тревогой ожидали и что показалось все же таким внезапным, неожиданным, — рядом, как потревоженная птичка, взметнулось тихое:

— Стой!..

Он, этот голос, был по-юношески слабый, птичий, и слышалась в нем растерянность — видно, тот, кто произнес, тоже не ждал, может, пробудился от дремоты, не верил себе, — но он принудил их мгновенно

замереть, похолодеть. Они так и застыли, как шли, согнутые, выставив руки с обрезами, не могли шевельнуться, взглянуть, ждали, что будет дальше... Голос, что остановил их, доносился из темноты откуда-то сбоку, они почти минули его... Еще бы чуть-чуть...

— Кто идет?! — послышалось из темноты.

Евхим вздрогнул, быстро направил на голос обрез, твердо нажал «собачку». Красный жадный блеск, тугой знакомый гром его выстрела враз словно вернули силу. Евхим, как волк, сделал прыжок в сторону, присел, пригнулся чуть ли не до земли и, не разбирая ничего перед собой, натываясь на кусты, ломая ветки, накаляваясь, убегая и не чуя этого — быстрее, быстрее! — ошалело ринулся в темноту, туда, где, горячее, как в лихорадке, догадкой, звериным нюхом чувствовал, надеялся, были еще избавление, спасение! Позади подряд ударили два выстрела пограничников, один — короткий — Цацур, но он этого почти не слышал, его полнил только горячий туман, в котором жило, билось одно дикое, животное — быстрее, быстрее. И он, ломая ветки, лез, лез, бежал...

Внезапно зацепился за что-то и, как бежал, со всего маху полетел кувыркком головою в снег, ударился о ложе обреза. Эта внезапность его, может, и спасла — сразу же вслед грохнуло еще два выстрела, раздалось отчаянное:

— Ой!!!

Это был крик Цацур. «Не промахнулись! — пронзила горячий туман в голове страшная догадка. Евхим про себя застонал, стал молиться: — Только бы не меня!! Не меня!..» Он судорожно перезарядил обрез, выстрелил, схватился и что есть духу кинулся дальше.

За ним сзади снова послышался крик — боли, отчаяния, просьбы. Евхим, поняв, что это Цацуров клич, только прибавил ходу. Быстрее, быстрее! Напуганный опасностью смерти, не сразу и поверил, что по нему уже не бьют, может быть, больше и не будут. Ослепленный, ошалевший, запыхавшийся, бежал и бежал. Упал, только вконец изнемогший, задыхающийся, как зверь, что, оскалившись, собирается вцепиться зубами в того, кто гонится за ним, испуганно оглянулся, перевернулся назад, как клыками, клацнул затвором. Живым не дастся!

Но к нему никто не бежал. Евхим ждал, следил, отдышался, услышал поодаль голоса, еще раз донесся острый стон-крик Цацур, но рядом было тихо. И тогда в сердце несмело, сладко шорохнулась надежда: может, уже там, куда стремился? Может, и перебежал, не сунутся же сюда!.. Но почему тогда нет поляков? У них ведь тоже тут охрана!.. Косо повел глазами. Во мраке, что редел, были кусты, голые кусты, ольшаник, лоза, сломанная его

сапогом мелкая крушина, скользкий ломаный хворост — все, как на Змеином... А может, снова не попал?.. Сбился, не туда бежал?! Но почему не идут пограничники? Не знают, где он, или не рискуют лезть, ждут, когда развиднеет?.. Перебежал или нет?!

Евхим почувствовал, бедро мерзнет сильнее и тягуче ноет, пощупал рукой, лицо исказилось от боли. На пальцах ощутил что-то липкое, поднес к глазам — рука была черная от грязи. «Кровь?! Ранен?.. Когда ж это было? Почему не заметил?.. Сгоряча... А что если теперь идти не смогу...» Он, однако, подумал про это без страха, тупо; все равно, зависит от того, где граница, перешел или нет...

Преодолевая боль, Евхим поднялся, сел — лежать больше не было мочи, мокрое тело дубенело на снегу. Под ним уже набралась лужица. Он посмотрел на рану, штаны были разорваны, над коленом, как собачье ухо, висела большая заплата. Все около раны запеклось в крови, но рана оказалась небольшой; может, на сук напоролся...

Он хотел было перевязать рану, когда вдруг услышал то страшное, что мигом заставило забыть обо всем другом, — шаги! Достал из кармана патроны, загнал в магазинную коробку, стал, сдерживая дрожь от холода, ждать. И вдруг еще до того, как увидел, кто шел, услышал незнакомые слова. Польский разговор!.. Поляки!

Скоро Евхим увидел, как они осторожно высунулись из-за недалеких кустов. Да, это были поляки, польские солдаты: ему была известна их форма, такие же когда-то стояли в Куренях. Солдаты, догадался Евхим, искали его. Он бросил обрез и, заляпанный весь до бороды грязью, с дикими глазами, скрежещущими от боли зубами, обливая кровью сапог, встал.

— Я тут... Я... сдаюсь...

Поднял руки в пятнах грязи, в крови, они мелко дрожали.

Наставив карабины, солдаты шли прямо на него.

Публикация Л. Я. Мележ-Петровой и А. М. Адамовича.

Послесловие

ХРОНИКА НАРОДНОЙ ЖИЗНИ



Народный писатель Белоруссии, лауреат Ленинской премии **Иван Павлович Мележ** (1921–1976) работал в литературе немногим более трех десятилетий. Работал очень напряженно, «не жалея сил, не щадя себя». В последний период своей творческой деятельности он получил широкую известность и заслуженное признание. Однако писал он почти всегда трудно, иногда мучительно и знал не только блистательные взлеты, но и поражения, неудачи или неполные удачи. Приходилось ему сталкиваться и с откровенной предвзятостью недалеких, самоуверенных критиков, и с ничем не обоснованной, явно перестраховочной подозрительностью чиновников от литературы, и с попытками завистливой посредственности

из числа «братьев писателей» ставить палки в колеса. Все это больно ранило Мележа, портило ему немало нервов и крови, ибо он был не только чутким художником, но и чрезвычайно впечатлительным человеком. Обладая крупным художественным талантом, он твердо верил в свою литературную судьбу, понимал писательское призвание как высокое, самоотверженное служение родной земле и родному народу, гуманистическим идеалам социалистического общества, человечеству и сумел создать произведения, с полным правом причисляемые к советской классике.

Как художник Мележ рос преимущественно на традициях Л. Толстого, А. Фадеева и М. Шолохова, Я. Колоса и К. Чорного, хотя имел очень широкий кругозор и с большим уважением говорил о многих писателях, в творчестве которых находил немало близкого, созвучного собственному писательскому опыту. «Каждый писатель, который не хочет замшеть в невежестве, обязан читать и знать по возможности всю литературу социалистических и капиталистических стран. Это неизбежная жизненная необходимость. Не зная в совершенстве современной мировой литературы, мы не можем работать по-современному, на современном уровне развития. Невежество, провинциальная замшелость будут отражаться в каждом нашем романе, в каждой повести, в каждом стихотворении. В каждой строке», — настаивал Мележ, подчеркивая вместе с тем, что художественный опыт других мастеров бывает полезным только тогда, когда у писателя есть собственное основательное знание жизни. «Книги рождает жизнь. То, что пережито, что взволновало. В литературе, может, самое важное — зная как можно больше, оставаться самим собой», — резонно отмечал писатель.

Собственный жизненный опыт, глубокое знание действительности он приобретал постоянно — и во время учебы в Московском институте философии, литературы и истории, и на армейской службе в предвоенные годы, и на фронтах Отечественной войны, участвуя в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Тогда Мележ получил тяжелое ранение, последствия которого чувствовал до конца своих дней. Потом была сложная, полная обычных по тем трудным временам лишений жизнь в заволжском городке Бугуруслане, куда попал «для поправки» молодой, но непригодный к дальнейшей военной службе лейтенант, выписанный из госпиталя. Позже судьба связала Мележа с Белгосуниверситетом, где он завершал высшее образование, был аспирантом, а затем преподавателем родной литературы. Приходилось ему работать и в ЦК Компартии Белоруссии, в республиканском журнале «Полымя». Почти десять лет

Мележ был одним из руководителей Союза писателей республики. Все это поворотные моменты в биографии Мележа того периода, когда он был зрелым человеком и гражданином или стоял на пороге этой зрелости. Сам же он считал не менее важными для своей писательской судьбы и более ранние, еще детские и юношеские годы в родном полесском крае. «Для меня самым важным влиянием, — отмечал Мележ в одном из последних интервью, — было влияние, которое оказывала на меня жизнь. В частности, та жизнь, которую я видел в детские годы в Глинищах и соседних деревнях, в городском поселке Хойники, где я позже учился и жил. Меня как писателя больше всего сформировала именно эта жизнь: Глинищи, Алексичи, Хойники, — сельская, колхозная жизнь, комсомольская жизнь, школьная жизнь».

Действительно, прежде всего из той жизни, из детских и юношеских впечатлений, полученных Мележем в родных Глинищах, во время учебы в Алексичах и Хойниках, на работе в Хойницком райкоме комсомола, из памяти о душевно близких ему людях Полесья, обогащенной художественным и человеческим, гражданским опытом всех последующих лет в жизни писателя, и родились романы, составившие «Полесскую хронику». Эти романы — главное творческое достижение прозаика, безусловная вершина его художественных завоеваний.

Да, сегодня совершенно очевидно, что «Полесская хроника» подготавливалась всем предшествующим творчеством Мележа. Но путь к ней оказался отнюдь не легким и не простым, хотя уже самые первые произведения Мележа показывают его яркую одаренность. Так, уже дневники военной поры, с которых фактически и начинался Мележ как писатель, представляют собой добротную документальную прозу. Тут очень правдиво и убедительно отражена и самоотверженная доблесть воинов, и исключительная стойкость советских людей, которые мужественно преодолевали огромные трудности тыловой жизни, все отдавая ради победы над фашизмом.

Как это обычно бывает с дневниковой прозой, военные дневники Мележа публиковались через продолжительное время после их создания, уже в конце жизни писателя. Но они, разумеется, были и остаются живым свидетельством своего времени, «незабываемого, непохожего ни на какое другое», и естественно включаются в общее русло советской мемуарно-документальной литературы, созданной в годы войны, и, более того, имеют родственные черты с самыми выдающимися образцами этой литературы. Такими, например, как «Разные дни войны» Симонова. Правда, у Мележа нет того событийного размаха, той широты охвата военной

действительности, которые отличают симоновские дневники. Зато дневниковая проза этих писателей сближается по таким принципиальным, внутренне существенным параметрам, как обнаженность авторской мысли, глубина пережитого, предельная искренность в передаче самых сложных, драматически напряженных моментов изменчивой фронтовой жизни, стремление и умение быть правдивым до конца, говорить без утайки все, что открывалось пытливому взору советского человека, озабоченного судьбами родной страны в самые трудные для нее времена.

Заметным вкладом в литературу военной поры стали ранние рассказы Мележа, датированные 1942–1945 годами. Лучшие из них показали Мележа как вдумчивого писателя-психолога, сумевшего в первые же военные дни увидеть главное — внешне непритязательный, но чрезвычайно важный своей массовостью ежедневный героизм обычных людей. Перспективность этой тенденции убедительно доказывается тем, что позже, начиная со второго десятилетия после войны и в последующие годы, вплоть до наших дней, изображение такого героизма стало главным аспектом в показе человека на войне и военной действительности вообще.

Большим художественным совершенством отличаются рассказы писателя, созданные в середине 50-х годов («На перекрестке», «В горах дожди», «Свидание за городом»). Два последних рассказа принадлежат не только к самым глубоким и содержательным произведениям Мележа, но и входят в число наиболее крупных, вершинных достижений белорусской новеллистики. Они написаны рукой уже вполне зрелого мастера слова, художника преимущественно эпического склада, у которого пронцательный и точный психологический анализ обычно подсвечивался мягко-спокойным, глубинным по своим истокам лиризмом, полностью лишенным нарочитой экзальтированности и искусственного украшения. Так рождался емкий в своей пластике, очень гармоничный мележевский стиль, который за изобразительную многогранность получил в нашей критике название синтетического.

Свое место в творческой биографии Мележа занимал и очерк. Он привлекал писателя оперативностью, тем, что позволял в необходимых случаях быстро и непосредственно откликаться на те или иные события текущей жизни, хотя в общем-то художник не считал быстроту отклика главным качеством и задачей литературы. «Литература — поскольку она литература, искусство, которое питается жизнью, — чаще всего не может угнаться за стремительным, изменчивым потоком жизни. Жизнь богата событиями пестрыми, часто противоречивыми, нередко как будто хаотичными. Писателю нужно присмотреться к жизни, разобраться в ее

течениях, поворотах, завихрениях — нужно осмыслить ее. Наконец, требуется — часто немало! — времени на то, чтобы написать, создать совершенное художественное произведение», — справедливо рассуждал Мележ.

Очерк же давал писателю возможность по свежим следам рассказать о впечатлениях от зарубежных поездок («Июль в дороге», «Поездка в Прагу») или благодарным словом вспомнить внимание, доброжелательность и дружескую поддержку К. Чорного, которые так много значили в самом начале его писательской дороги («Чуткое сердце»). В художественной практике Мележа очерк был своеобразным разведчиком новых тем, подступом к новым, более масштабным произведениям (документальный очерк «Дороги на восток и на запад», который в определенном смысле подготавливал роман «Минское направление»).

Случалось и так, что очерк под пером вдумчивого писателя в значительной мере утрачивал свою жанровую специфичность и фактически перерастал в повесть. Об этом свидетельствует небольшая повесть с элементами очерка «Дом под солнцем» — о восстановлении белорусской столицы в послевоенные годы. Городские мотивы звучат и в повести «Близкое и неблизкое», где писатель отдал дань уважения рабочему человеку, заводскому труду. Но особенно дорогой была Мележу его более ранняя, самая первая повесть — «Горячий август». Тут автор много правдивого сказал о сложных проблемах послевоенной деревни, показал самоотверженность в труде белорусских женщин, на плечи которых легла основная тяжесть восстановления сельского хозяйства республики, разоренного войною, фашистским нашествием. В «Горячем августе» тогда еще молодой художник писал о своих земляках из Полесья, впервые приблизившись к тому большому миру народной жизни, глубинное изображение которого, правда, на другом хронологическом срезе, составило основное содержание «Полесской хроники».

Немалый интерес представляет драматургия Мележа, особенно очень оригинальная и до сих пор не замеченная, по достоинству не оцененная деятелями нашего профессионального театра пьеса «В новом доме». Это социально-философское произведение, рожденное заботой писателя о чистоте коммунистических идеалов, духовном здоровье советских людей. В нем остро поставлены актуальные и сегодня морально-этические проблемы современного общества, в частности проблемы любви, семьи, ответственности родителей за судьбы детей. Близкая проблематика разрабатывалась и в пьесе «Пока молодые», которая имела довольно благоприятную сценическую судьбу. В историко-революционной драме

«Дни рождения» показана победа Октябрьской революции в Минске, рождение Советской власти в Белоруссии.

Этапным для писательской биографии Мележа стал роман «Минское направление», посвященный изображению исторической битвы за освобождение Белоруссии от фашистских захватчиков летом 1944 года. Автор ставил перед собой задачу создать масштабное произведение о народном подвиге в Отечественной войне. Это обусловило многоплановость, многогеройность романа, его панорамность, характерную для советской эпической прозы 40-х — начала 50-х годов. В «Минском направлении», как и в других крупных произведениях тех лет, есть свои издержки, слабости, в частности, заметны элементы иллюстративности, недостаточное внимание к моральной проблематике, связанной с общественно-социальной дифференциацией в лагере тех, кто противостоял фашизму. Однако и при всех этих недостатках «Минское направление» принадлежит к самым значительным не только в белорусской, но и во всей советской литературе произведениям о героизме народа в борьбе с фашизмом.

И давался этот роман Мележу с большим трудом. Только первая редакция заняла более пяти лет очень напряженной работы. Первая книга романа подверглась несправедливому критическому разному. В защиту «Минского направления» выступили белорусский прозаик Я. Мавр и русские коллеги: А. Фадеев, которому Мележ остался благодарен на всю жизнь, С. Смирнов, К. Симонов, В. Ажаев. Казалось бы, можно было уже в основном и удовлетвориться, потому что и серьезные критики заговорили о романе благосклонно, и читатели свидетельствовали свое уважение к писателю многочисленными письмами. Однако прозаик очень внимательно отнесся к фадеевскому совету доработать «Минское направление», чтобы «его мог читать и любить **многомиллионный** читатель, а не десятки тысяч». Приняв этот совет близко к сердцу, ибо он совпадал с собственным авторским желанием, Мележ еще несколько раз возвращался к «Минскому направлению» и дважды основательно правил, фактически переписывал, многое вычеркивая и добавляя сотни новых страниц, этот очень объемный роман в трех книгах.

Мне в свое время приходилось сопоставлять разные редакции «Минского направления». Работа, конечно же, была интересной, необходимой, но требовала терпения. Однако я только перечитывал написанное художником. А у писателя хватало решимости, душевной силы и человеческого упорства, чтобы еще и еще раз скрупулезно вдумываться в каждое слово уже отданной на суд читателя книги и с полешуцкой

настойчивостью искать все новые и новые варианты там, где прежний текст казался недостаточно выразительным. «Вижу в этом личную авторскую ответственность за литературную судьбу своего романа», — замечал Мележ. Так же настойчиво шлифовал он свои ранние рассказы, готовя их для новых публикаций.

Принципиальность писателя в жизни и литературных оценках, его требовательность к себе с годами все возрастала. Она основывалась на том незыблемом, хотя у нас в республике часто все еще оспариваемом соображении, что художественные достижения каждого писателя должны рассматриваться по большому счету, оцениваться «уровнем и меркой лучших достижений советской и мировой культуры». «Читатель, — рассуждал Мележ, — только что читал Бальзака, а теперь берет твою книгу. И нет тебе заступки, нет оправдания. Он, читатель, судья, мерит все строго, одной меркой. Конечно же, меркой большей. Меркой Толстого и Бальзака, Шолохова и Фадеева. Не считаясь ни с чем».

На волне такой требовательности возникла «Полесская хроника». Рождалась она, эта главная книга писателя, не только в радостях напряженного труда, но и в муках сомнений, раздумий и поисков. Да иначе вряд ли и могут появиться сколько-нибудь значительные произведения.

Непосредственная работа над «Полесской хроникой» началась в 1956 году. Однако замысел создать произведение о родном Полесье жил в душе Мележа давно. И еще в 1946 году автор в рабочем блокноте сделал пометку: «Написать повесть о Полесье». Имелось в виду, что это будет книга о мелиораторах, «о борьбе полешуков с природой» в послевоенное время. Приступая через десять лет к осуществлению давнего замысла, писатель уже видел в своем воображении не повесть, а «роман о простых людях белорусского Полесья». Однако и тогда он еще собирался писать о мелиораторах, но более ранней, предвоенной поры. Об этом свидетельствуют сохранившиеся отрывки из романа «Время надежд», который и был первым реальным подступом к «Полесской хронике». «Я начал писать с предвоенного времени, но, едва закончил главку, вынужден был остановиться. Мучительная неуверенность в том, что вещь задумана хорошо, наилучшим образом, еще долго сдерживала меня. Наконец, я вынужден был отказаться и от этого замысла и пойти далее, к истокам жизни, о которой хотелось рассказать. Так, наконец, определился характер романа „Люди на болоте“, его содержание, его смысл», — отмечал писатель, рассказывая, как постепенно выкристаллизовывался и приобретал свою масштабность замысел «Полесской хроники».

В 1960 году «Люди на болоте», начавшие цикл полесских романов,

были завершены. Но автору уже стало ясно, что его замысел, который в процессе работы все более усложнялся, далеко не исчерпывается этим романом. «Логика развития событий и характеров требовала продолжения», — подчеркивал прозаик. И он начал писать роман «Дыхание грозы», оконченный через пять лет — в 1965 году.

Большой читательский, общественный успех романов «Люди на болоте» и «Дыхание грозы», отмеченных Ленинской премией, оказался для Мележа приятной и самой крупной неожиданностью за все годы его писательской работы. Но в этом успехе не было ничего случайного, ибо мележевская диалогия о Полесье стала действительно выдающимся произведением. И писалась она на самых высоких взлетах вдохновения, с такой страстью, полнотой самоотдачи, на какую способен только крупный художник, когда он говорит о своем кровном, родном и близком, о том, что затрагивает самые заветные струны его души, вынашивается всей его жизнью.

«Я широко видел поле, по которому шел, чувствовал в нем себя и работником, и хозяином. Но, что особенно важно, поле это я не только знал, я любил его. Потому что поле, по которому я шел, это было мое поле. Это была жизнь близких мне людей и моя жизнь. Я писал о них и одновременно о себе. Это было, думается, хорошее взаимное единение героев, времени и автора», — говорил писатель, рассказывая об истории возникновения «Полесской хроники».

Прочно опираясь на факты самой действительности, Мележ щедро наделял своих героев собственными переживаниями, использовал реальные биографии знакомых с детства людей, которые становились прототипами вымышленных персонажей, а в отдельных случаях приходили в роман не только со своими невыдуманными характерами, но и с подлинными именами и фамилиями. Писатель рисовал пейзажи родных мест, которые также нередко оживают под своими собственными названиями и, когда это нужно автору, воссоздаются с высокой фактической точностью.

В полесских романах, отмечал прозаик, «выдуманные, литературные образы. И все же — может, это и покажется странным — я и сам, зная все, как-то не хочу согласиться, что герои мои — только литература. Просто литературные образы. Созданные моим вымыслом, они неожиданно стали жить своей независимой жизнью и для меня сделались живыми, как и для наивных читателей. Я думаю, что это случилось потому, что они „выдуманы“ из живой жизни, той жизни, которая — я хорошо помню — была на самом деле. Была такой, какой я хотел снова оживить ее в моей

книге...»

Что ж, в этом своем убеждении Мележ не ошибся. Ему уже в двух первых романах «Полесской хроники» действительно удалось создать масштабные человеческие характеры Василя Дятла и Ганны Чернушки, Апейки и Миканора, старого Глушака и его сына Евхима и других героев, выписанных настолько пластично, рельефно и ярко, с таким глубоким проникновением в их внутренний мир, что литературные персонажи кажутся живыми людьми. Эти характеры имеют яркое национальное своеобразие и в то же время отличаются глубокой общечеловеческой содержательностью. Своими корнями они восходят к глубинам народной жизни, истории белорусского края и вместе с тем концентрируют в себе важнейшие черты своего времени, особенности целой исторической полосы в развитии нового общества — тех напряженных, наполненных обостренным социальным драматизмом и огромной созидательной работой лет, когда происходило становление Советской власти, государственности, а потом осуществлялся тот «великий перелом» в сельской жизни (да и в жизни всей страны), которым закладывались основы социалистического хозяйствования в деревне.

На целое десятилетие растянулась работа над последним романом «Полесской хроники» — «Метели, декабрь». Сказывалась опять-таки высокая требовательность Мележа. Получив широкое признание, он уже никак не мог позволить себе хоть в чем-либо отступить от того уровня, который был достигнут в дилогии.

Подводило и подорванное войной здоровье. Оно с годами катастрофически ухудшалось. И может быть, самая главная трудность для автора состояла в том, что в этом романе ему предстояло писать о самом сложном и самом драматичном периоде коллективизации. Это налагало особую ответственность на художника, который ставил перед собой задачу быть исторически точным, стремился показать через личное **«страсть эпохи»**, глубоко осмыслить философию **поведения** героев, **времени**, осветить роман взглядом автора.

Впервые роман «Метели, декабрь» был напечатан в белорусском журнале «Полымя» (№№ 3–5 за 1976 год). Отдельное издание книги вышло в 1978 году, уже посмертно. Книга эта считается неоконченной. Однако она имеет свою целостную внутреннюю структуру и даже отчетливую сюжетную завершенность.

Так сначала считал и сам автор. В своем последнем интервью он отмечал: «Только что окончил новый роман „Метели, декабрь“, который продолжает полесскую дилогию. И в то же время это самостоятельное и по

сюжету, и по проблематике произведение».

Как показывают материалы из архива Мележа, в дальнейшем писатель собирался написать еще два романа («За осокою берег» и «Правда весны»), которые должны были исчерпать тему коллективизации и завершить весь полесский цикл.

Такое решение (ограничиться хронологическими рамками коллективизации) уже было вынужденным. Более ранние замыслы шли намного дальше, автор намеревался провести героев «Полесской хроники» и через тридцатые годы, и через войну, и через послевоенный период, вплоть до наших дней. За двадцать лет работы над «Полесской хроникой» писатель много раз корректировал первоначальные и последующие замыслы, прикидывал разные варианты, настойчиво искал наиболее убедительные решения.

Торопиться с окончанием «Полесской хроники» и, значит, суживать масштабы замысла теперь вынуждало предчувствие неумолимо приближающейся трагической развязки. К тому времени, когда завершался и готовился к журнальной публикации роман «Метели, декабрь», Мележ уже ясно понимал, что написать «Полесскую хронику» так, как она виделась в разгар работы, со всем тем огромным событийным и временным разговором, который манил тогда, уже не удастся.

«Видимо, так и останется недописанной моя обещанная „Полесская хроника“, — писал он в дневнике за год до смерти. — Этот роман я, может быть, как-нибудь со скрипом дотяну...» «Этот роман» — конечно, «Метели, декабрь». Его писатель и на самом деле «дотянул», сообразуясь с теми прикидками, которые были у него, когда он рассчитывал написать после «Метелей, декабря» еще два романа о коллективизации. А материалы, которые, по мнению прозаика, могли дать «Полесской хронике» «вид хоть какой-то завершенности», оказались собранными не в одной, а в двух папках с надписями: «„Полесская хроника“, роман четвертый» и «„Полесская хроника“, роман пятый». Среди этих материалов есть записи о героях, движении их характеров и судеб и другие авторские пометки, наброски различных эпизодов и сцен, уже написанные монологи и диалоги, беседы и споры, готовые зарисовки, в той или иной мере завершенные отрывки и отдельные главы. И все это подобрано, расположено Мележем так, что в итоге просматривается в своих главных очертаниях основной сюжетный каркас, событийный ряд дальнейшего повествования (до коллективизации включительно), а также писательская концепция в этом повествовании, по крайней мере в ее определяющих контурах, узловых моментах.

В основном по этим материалам А. М. Адамович и Л. Я. Мележ-Петрова (вдова писателя) подготовили специальную публикацию. Она, по замыслу ее авторов, должна дать «более полное представление о романе „Метели, декабрь“ (и о всей „Полесской хронике“»), иначе говоря, «хоть отдаленно напоминать» те произведения полесского цикла, которые были уже глубоко, во многих конкретных деталях продуманы и частично (в набросках, эпизодах и т. д.) подготовлены, но так и не написаны. Эта публикация (своеобразный монтаж подлинного мележевского текста, сопровождаемого краткими, но очень содержательными комментариями) делает свое полезное дело. Печаталась она в периодике, вошла в посмертное десяти томное собрание сочинений писателя.

«То, что вы прочитали, — разумеется, не сам роман, а всего лишь материалы к заключительным главам романа „Метели, декабрь“», — отмечается в публикации. Таким образом, в ней все материалы, связанные с темой коллективизации, которой, повторю, по последним авторским прикидкам должна была завершаться «Полесская хроника», отнесены к роману «Метели, декабрь». Так сделано на том основании, что Мележ, хотя раньше он считал этот роман законченным, уже в процессе публикации решил продолжить его, ибо почувствовал, что надо спешить — ни сил, ни времени не только на вывод героев к современности, но и на два еще предполагавшихся новых романа о коллективизации («За осокою берег» и «Правда весны») явно не хватит.

Бесспорно, что в романе «Метели, декабрь» Мележ остался таким же выдающимся художником, каким он показал себя в дилогии. Глубинный народный взгляд на события времени, умение с полной исторической точностью передать исключительную сложность эпохи, гуманистическая обостренность пытливой мысли писателя, мастерство психологического анализа, широкая типизация и блестящая языковая индивидуализация персонажей, убедительность и надежная выверенность сюжетно-композиционных решений — все эти и многие другие достижения Мележа-художника, хорошо знакомые по его дилогии, отчетливо чувствуются, а то и поднимаются на более высокий качественный уровень в «Метелях, декабре». В этом романе усиливается то, что отличало уже «Дыхание грозы» от «Людей на болоте». Речь идет о возрастании накала мысли, усилении интеллектуально-философского начала и дальнейшей драматизации общественно-социальных страстей, которая обуславливает и относительно большую динамичность сюжетного движения в книге. Не менее важно, что писатель смог открыть новые грани человеческой и социальной содержательности в людских характерах, через которые

наиболее наглядно «материализуются» общественные движения эпохи.

Среди героев, характеры которых в «Метелях, декабре» заметно углубляются, обогащаются, и Авдотья Даметиха — мать Миканора, все чаще высказывающая народную точку зрения, и Дубодел с его мстительной жестокостью, порожденной самыми низменными мотивами — властолюбием и напористым карьеризмом, только слегка замаскированным спекуляцией на благородных революционных представлениях, и, конечно же, секретарь Юровичского райкома партии Алексей Иванович Башлыков, изображенный в романе, как отмечал критик Л. В. Новиченко, «чрезвычайно метко и многогранно, с тончайшей подчас аналитичностью».

Башлыков в новом романе оказался в центре авторского внимания. Он вышел на первый план отнюдь не случайно. Подняла Башлыкова волна времени, «напор» исследуемых писателем событий, которые тогда были благоприятными для таких людей, делали их, пусть временно, хозяевами положения. Закономерным является и то, что в книге главным стал конфликт между Башлыковым и другим руководителем в Юровичах — председателем райисполкома Апейкой. Этот конфликт отчетливо намечался и заметно обострялся еще в «Дыхании грозы». Теперь же он стал драматическим стержнем, тем центром, который притягивает к себе и бурное кипение общественных страстей, и самые существенные силовые линии философско-интеллектуального напряжения.

Писатель был далек от того, чтобы рисовать Башлыкова только черными красками, но ясно видел пороки в его практической деятельности, в его жизненной позиции, в его понимании людей и времени. Об этом автор сказал в своем последнем интервью, подчеркнув, что лежащий в основе романа конфликт между Башлыковым и Апейкой — это «конфликт двух взглядов на жизнь, на события, на людей». Тогда же прозаик обращал внимание и на добрые намерения Башлыкова, на его субъективное желание быть полезным новому обществу и фактическое неумение выбрать для этого правильный путь. «Башлыков, — продолжает автор, — также „положительный“. Он хочет и добивается того же, чего хочет и добивается Апейка. Но он стремится к однозначной ясности в оценках сложных жизненных явлений и человеческих поступков. А жизнь очень сложна и противоречива, так же как сложны и противоречивы поступки людей. Одно „измерение“, одна мерка никогда не может быть всеобъемлющей и правильной. Каждый раз нужно несколько измерений. К пониманию этой диалектической истины Башлыков приходит мучительным, драматическим путем».

В авторских записках к «Полесской хронике» также отмечается личная

честность Башлыкова, его сложность, противоречивость: «Башлыков не должен быть плоским. Сложный, противоречивый. У него есть своя человечность. Своя беда, и не одна. Рядом с черствостью... Вообще, он потрясен сложностью ситуации, в которую попал. Мучительно мечется. Только показывает себя каменным... Часто лезет на стену. Чтобы не показать слабость свою». «Трагедия Башлыкова — трагедия человека честного. Который хочет соответствовать идеалу времени. Его „подводит“ время, идеалы времени».

Писатель, разумеется, имел в виду неглубокое, поверхностно-однолинейное понимание Башлыковым времени и его идеалов. В процессе работы над «Метелями, декабрем» он уже делал упор не на изображении сложности и по-своему понятой человечности Башлыкова, а на его прямолинейности, подозрительности и недоверии к людям, неумении проникнуться подлинной любовью к ним.

Поверхностность и прямолинейность Башлыкова проявляются в том, что юровичский секретарь путает принципиальность с жестокостью, а разумный подход к делу объявляет либерализмом и ненужной жалостливостью. Башлыкову, при всей его внешней «положительности» и безусловной субъективной преданности новому, не дано по-настоящему постигнуть душу сельских тружеников, сложность крестьянской жизни, которая остается для него непонятной, далекой и чуждой. И нет у него не только глубокого знания крестьянства, которое он должен был вести к новой жизни, но и подлинной доброты, той широкой гуманистической концепции, руководствуясь которой коммунисты ленинской закалки совершали Октябрьскую революцию, создавали новый общественный строй.

Большой психологической глубиной отличается показ взаимоотношений Башлыкова с Ганной Чернушкой. Эта сюжетная линия позволяет открыть некоторые новые черты в характере Ганны и вместе с тем глубже, разностороннее изобразить Башлыкова, который в любви и предстает более привлекательным, естественным, не таким холодно-рационалистичным и жестким, как в деловой сфере. Однако вся его естественность, человечность исчезает, как только Башлыков узнает, что Ганна была замужем за кулаком. Боязнь за свою карьеру в конечном счете оказалась для него решающей. Она победила, перечеркнула любовь Башлыкова.

Разрыв с Ганной свидетельствует о моральном крахе Башлыкова, его человеческой несостоятельности. Так реализовался авторский замысел провести отчетливую параллель между Башлыковым и Василем Дятлом.

«Дать хорошо линию — Ганна — Башлыков. Это линия любви — как аналогия любви Василь — Ганна. Там искалечила, погубила любовь нужда, бедность, крестьянская философия, тут — **философия аскетизма, подозрительности, недоверия человеку**. И та, и эта причины — одинаково бесчеловечны», рассуждал писатель в дневниковых записях. В дальнейшем Мележ хотел показать и политический крах Башлыкова. Но соответствующие сцены остались в набросках, правда, иногда разработанных довольно основательно.

Настоящую партийную принципиальность и гуманистический пафос строителей нового общества в романе «Метели, декабрь», как и в предыдущих книгах «Полесской хроники», с наибольшей полнотой и яркостью воплощает Иван Анисимович Апейка, коммунист ленинского склада, который, по словам автора, «стремится глубоко постигать смысл времени, понимать его сердцем и умом». Писатель показывает человечность Апейки и заботы о будущем народа, деловитость и богатство практического опыта, умение думать самостоятельно и серьезно разбираться в сложных жизненных вопросах. Так, Апейка не может согласиться с тем, что, дескать, на Западе крестьянин привязан к своему клочку земли, а у нас он легко готов отказаться от нее, поскольку в нашей стране нет частной собственности на землю. Наш крестьянин, рассуждает Иван Анисимович, в отличие от крестьян в западных странах, не покупал свой «кочок земли», «он завоевал ее, земельку свою, штыком, огнем, кровью! Разве ж меньшей ценой?!» А в период коллективизации, что ни говори, надо было отказываться от этого так трудно добытого «своего клочка, поделиться им с другими». Решиться на такое крестьянину было очень не просто. Этого никак не могли понять люди типа Башлыкова, но очень хорошо, своей крестьянской душой и сердцем коммуниста чувствовал Апейка.

В набросках глав, которые должны были завершить тему коллективизации в «Полесской хронике», Апейка по-прежнему держится своего трезвого, реалистического подхода к организации колхозов, настойчиво и бескомпромиссно защищает его. Однако тогда, когда стали набирать силу так называемые левацкие перегибы, для Апейки наступает время жестоких испытаний. «Дни бесприютности и бездеятельности. Страшные дни. Самые страшные в жизни». «Он был ничем. Без работы. Без партии...» «Переживания, отчаяние». «Пустота» — снова и снова расставлял автор в своих набросках основные ориентиры для того, чтобы потом показать всю глубину душевных мук Ивана Анисимовича.

Но и в таких обстоятельствах Апейка не может поступиться своей

человеческой и партийной совестью. Понимая всю несправедливость Башлыкова, секретаря окружкома Галенчика и других воинственных догматиков, лишивших его партийного билета, Иван Анисимович и теперь чувствует себя солдатом партии, ее сознательным и вдумчивым бойцом, сила которого в том, что правда нового общества, правда партии стала его собственной правдой, его глубоким личным убеждением. «Хочется все понять! До всего дойти умом и сердцем! Есть любители считать доблесть в том, что не умеют рассуждать. Партия сказала, партия решила!.. Нечего рассуждать!.. А я хочу думать, хочу понять все, ощутить, как свою правду. Я должен убедиться во всем, а для этого я должен понять все, почувствовать! Умом и сердцем! Подлинный большевизм и есть убежденность! Мы большевики от убежденности. В этом наша особенность и наша сила! Сила! Ибо нет ничего сильнее, чем твердость убеждений!» — взволнованно говорит герой Мележа. Это мужественный голос борца, голос человека, не способного на нравственный компромисс, на сделки с совестью.

Размышляя о судьбе Апейки, писатель намеревался показать, что Иван Анисимович не мирится с постигшей его бедой и открыто добивается справедливости. Апейку восстанавливают в партии, правда, с выговором. И работать ему придется на новом месте. Все это многозначительные намеки на то, что и в дальнейшем Апейке вряд ли будет легко. Но он чувствует себя победителем. В главном он действительно победил безусловно. Более того. Есть полная уверенность, что такой человек никогда не согнетса, не изменит своей партийной совести и той великой народной правде, которая выстрадана всем опытом его жизни, стала важной частью его человеческой сути.

В материалах, которые сначала предназначались для ненаписанных романов «За осокою берег» и «Правда весны», а потом, по самой последней и также неосуществленной, нереализованной прикидке, должны были стать продолжением «Метелей, декабря», намечено очень реалистическое сюжетное завершение и судеб других героев. Так, Ганна Чернушка, перегорев сердцем к Василию и разочаровавшись в Башлыкове («Василь — отрезанный ломоть. Башлыков — пустое»), должна была вернуться в Курени, ожидая ребенка от ненавистного ей Евхима. Прежние, более ранние варианты, в которых Ганна становилась женой Миканора и находила с ним свое женское счастье, Мележ отбросил.

На пронзительной драматической ноте предполагалось завершить и сюжетную линию Василя. В соответствии с последними вариантами Василь поздно, с большими сомнениями, главным образом боясь

раскулачивания и высылки («Только бы тут, что бы ни было») вступает в колхоз. Вспахивая бывшую полосу Корча, Василь с болью душевной и упрямой мужицкой решимостью выстоять в любых жизненных испытаниях думает: «Ни Ганны, ни земли... Так, наверное, надо. И надо жить как есть. Как доля предназначала. Жить».

Такой эпилог представлялся автору приемлемым не только для «закругления» сюжетной линии, связанной с Василем, но и для завершения всей «Полесской хроники». Прозаик пометил его двумя жирными вертикальными отчерками карандаша и написал: «Хороший конец».

Наша критика (А. Адамович) резонно увидела в таком финале явную переключку с трагедийной концовкой «Тихого Дона», обусловленную не только шолоховским влиянием, но и воздействием самой жизни, мощное дыхание которой Мележ улавливал с чуткостью большого художника.

Он писал свои полесские романы, опираясь на исторический опыт, накопленный социалистическим обществом, мечтая создать произведение, согретое гуманистической мыслью о человеке и его будущности, «книгу в полном смысле народную, прославляющую народ, его подвиг, проникнутую великим уважением к нему и заботой о нем». «Полесская хроника» при всей ее незавершенности такой книгой стала. Она представляет собой масштабную (не столько в событийном плане, сколько по глубине явленного в ней понимания человека) современную эпопею толстовско-шолоховского типа, в которой изображенная действительность оценивается прежде всего с народной точки зрения. Мысль народная определяет и художественную концепцию, и весь образный, даже языково-стилевой строй, облик «Полесской хроники», ее глубинный патриотический пафос, рожденный любовью к отчему краю и в широком смысле этого слова, и непосредственно к тем местам белорусского Полесья, где родился и вырос художник, где начал формироваться его взгляд на жизнь, его душевный, эмоциональный мир. Вся эстетическая система, каждый художественный образ, каждая строка и слово главной мележевской книги проникнуты этой трепетной любовью, направлены на то, чтобы во всей подлинности перед миром предстало безгранично богатое, диалектически противоречивое и сложное море полесской жизни, вздыбленное революцией и ее последствиями, чтобы во всю мощь прозвучала великая правда о родном народе.

Д. БУГАЕВ

notes

Примечания

1

Грубка — печь типа голландки.

Цагельня — место, откуда берут глину для кирпича.

3

Сверло.

Здесь кончается перевод Дм. Ковалева. Далее перевод Т. Золотухиной.